

СИБИРСКИЕ ОГНИ

**Литературно-художественный
и общественно-политический
ежемесячный журнал**

ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА

Главный редактор:
М. Н. ЩУКИН

Редакционная коллегия:

Н. М. Ахпашева (Абакан)
А. Г. Байбородин (Иркутск)
П. В. Басинский (Москва)
А. В. Кирилин (Барнаул)
В. М. Костин (Томск)
А. К. Лаптев (Иркутск)
Г. М. Прашкевич (Новосибирск)
Р. В. Сенчин (Екатеринбург)
М. А. Тарковский (Красноярск)
А. Н. Тимофеев (Москва)
М. В. Хлебников (Новосибирск)
А. Б. Шалин (Новосибирск)

Владимир Титов
ответственный секретарь

Михаил Косарев
начальник отдела художественной литературы

Марина Акимова
редактор отдела художественной литературы

Лариса Подистова
редактор отдела художественной литературы

Дмитрий Рябов
начальник отдела общественно-политической жизни

Елена Богданова
редактор отдела общественно-политической жизни

Евгения Акимова
редактор отдела общественно-политической жизни

Корректурa: Т. Л. Седлецкая
Верстка: О. Н. Вялкова

3/2022

Содержание

ПРОЗА

- Александр ПОПОВ. Храм на Богоне. Повесть-быль.** 4
Дмитрий ИВАНОВ. Отпуск не по плану. Рассказ. 84
Лейла МАМЕДОВА. Между Иштваном и миром. Рассказ. 98

ПОЭЗИЯ

- Дмитрий МЕЛЬНИКОВ. «Просто музыка в итоге...» Стихи.** 78
**Светлана КЕКОВА. «Все, что было родиной, стало небом...»
Стихи.** 94
Станислав ЛИВИНСКИЙ. Сердечко из скрепки. Стихи. 120

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ

- Пятилетие «Сибирских огней». Торжественное заседание,
посвященное пятилетию журнала «Сибирские огни»,
21 марта 1927 г. в Новосибирске. Стенограмма.** 125
Вениамин ВЕГМАН. Сибирские огни. 146

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

К 85-летию Новосибирской области

- Татьяна СВИРИДОВА. Новые истории старого Бердска.** 153

Литературная премия «Иду на грозу»

- Валерий КОПНИНОВ. Человек — человеку.** 162

КРИТИКА. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

- Валентина СЕМЕНОВА. «Я всегда боготворил книгу...»
В. П. Трушкин и Восточно-Сибирское книжное издательство.** 179

КНИЖНАЯ ПОЛКА

- Лариса ПОДИСТОВА. Новинки «Библиотеки сибирской
литературы» и не только.** 187

Авторы номера 191

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Ранее опубликованные (в том числе в газетах и сети Интернет) произведения не рассматриваются. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Главный редактор, директор ГБУК НСО «Редакция журнала «Сибирские огни»» М. Н. Щукин.

ВЕК «СИБИРСКИХ ОГНЕЙ»

И какой век!

Все суровые ветры эпохи не миновали ни сам журнал, ни сотрудников редакции, ни авторов.

Но, вопреки всем трагедиям и сложностям, журнал выжил и встречает свое славное столетие. И всякий раз, когда озвучиваешь эту цифру — 100 лет! — невольно думаешь: какой же крепкий фундамент заложили отцы-основатели, если он выдержал так много испытаний. Произошло это, наверное, потому, что в основу фундамента была заложена искренняя, деятельная любовь к Слову и отечественной литературе.

Поклонимся в первую очередь отцам-основателям, которые в метельном, холодном и голодном Новониколаевске осуществили, казалось бы, несбыточную мечту — выпускать литературно-художественный журнал. Они его не только выпустили, они смогли дать ему долгую жизнь. Свет «Сибирских огней» горел и продолжает гореть над нашими великими просторами.

Готовясь к славному юбилею, мы много работали и продолжаем работать с архивом «Сибирских огней», часть которого будет опубликована на страницах журнала, и эти архивные документы красноречиво свидетельствуют, что у наших предшественников, а значит, и у нас, нынешних, есть славное прошлое, которым можно и должно гордиться.

Но прошлое лишь тогда является живым и осязаемым, когда оно имеет продолжение в современности. Мы многое сделали для этого продолжения, но сделать предстоит значительно больше. Всем причастным к «Сибирским огням» желаю успеха в этой благородной работе, верю, что новый век в истории нашего журнала будет отмечен новыми свершениями.

С праздником, «огнелюбы»!

С юбилеем!

Михаил Щукин,
главный редактор журнала «Сибирские огни»

Александр ПОПОВ

ХРАМ НА БОГОНЕ

П о в е с т ь - б ы л ь

Странный и смешной вы народ!
Жили весь век свой нищими
И строили храмы Божие...
Да я б их давным-давно
Перестроил в места отхожие.

*С. А. Есенин. Страна негодяев
(из монолога Чекистова)*

Обрушение колокольни

Что-то заставило меня взглянуть в это мгновение на церковь. Я увидел, как по колокольне пробежали судороги, как она, словно цепляясь за невидимую вертикаль жизни, как бы вытянулась в струнку, став на доли секунды еще выше, затрепетала золоченым крестом в небе... соскользнула с незримой крепости, повелась.

Был теплый, парной июльский вечер. Только что зашло солнце. Уже невидимое, оно еще подсвечивало часть неба снизу, за границами тверди изливалось отраженным в облаках рассеянным лимонным светом на землю. Над Богоной, делавшей петлю перед деревней, кольцом Сатурна завивался туман, со свистом резали воздух ласточки, ныряли вниз, прорезывая роящуюся темными фонтанчиками мошкар у воды. Люди встречали стадо с пастбища, стояли, переговариваясь с соседями, на лужайках у домов.

...Колокольня шла к земле медленно, неохотно, как-то видимо сопротивляясь всем своим длинным белым торсом падению. Но вот она, пройдя точку невозврата, начала стремительно заваливаться. Через минуту округа дрогнула от удара, и в воздух поднялось известковое облако пыли. Все — и стар и млад — в деревне, словно подброшенные сотрясением земли, не сговариваясь, побросав дела, бросились к церкви.

Колокольня при падении поломалась по границам четырех ярусов, как ломается по клеткам при нажмем шоколад в упаковке. Крест лежал отдельно от разорванного каменного тела — цел и невредим, — сиял в траве, замирая на глазах, последним вздохом золотисто-лимонного небес-

ного света. Мужики, бабы, дети Покрова и Четверти молча выстроились по обеим сторонам поверженной колокольной плоти. Стояли запыхавшиеся, немые, в какой-то растерянной обезволенности. Прибежали — и что? Просто поглазеть? Но что-то в их чувствах проглядывало и другое, скрытое, затаенное. То, что вот так сразу не достанешь и не выпустишь из себя. Я эту странную паузу, сконфуженность и виноватость на лицах людей хорошо запомнил тогда. Мне было семь лет, и детская впечатлительность ярче любого магния запечатлела образы на «фотокарточках» памяти.

Подъехал отец на газике со снятым брезентовым верхом, подуставший, строгий, пропитанный зноем и пылью, в клетчатой рубашке навыпуск, с кирпичным, «среднерусским» загаром до локтей. Люди расступились, дали дорогу председателю, он подошел ближе к кресту. Зачем-то снял соломенную шляпу, а затем, словно опомнившись, снова водрузил ее на голову.

— Все целы? — Тоже как-то виновато поглядел на людей. — Две недели на чем только держалась... — И добавил коротко: — Завтра начнем на кирпичи разбирать.

— А с крестом что делать, Владимир Васильич? — спросил покровский бригадир Анатолий Гаврилович Иудин, машинально сбивавший ладонью известковую пыль с рукавов «неубиваемого» армейского кителя, который Гаврилыч, как все звали Иудина, донашивал после войны долго и старательно. Гаврилыч, с особым подчеркиванием говорили в деревне, «был участником Сталинградской битвы»; как фронтовики, они с отцом дружили и доверяли друг другу.

— В утильсырье, куда еще! — бойко встрял шофер отца, кудрявый низкорослый парень по прозвищу Коля-маленький, и дернулся было шевельнуть крест ногой. Но почему-то на полдвижении остановился, вернул ногу в привычное положение.

— Нет, — недовольно глянул на него отец, — завтра отвезешь в Александров... в музей.

Отец отвел глаза в сторону, сделал вид, что внимательно рассматривает растерзанные останки колокольни. Подошел к белой глыбе верхнего яруса.

— Как думаешь, Гаврилыч, много кирпича будет?

— На яичном желтке клали... Брестская крепость, — как-то без энтузиазма ответил Гаврилыч, — но если зубилами попробовать, может, и наковыряем маленько...

— Попробуйте... — прицелился взглядом на что-то под ногами отец, наклонился и с силой выдернул из проржавевшего купола какую-то палку с остатками истлевшей ткани серо-розового цвета. — А это что? Почти под самым крестом было... — повертел палку в руках. Гаврилыч перенял палку у отца, хмыкнул:

— Это флаг, его еще в тридцатом повесил на колокольне Колов, когда закрывали церковь и скидывали колокола. Колов — враг колоколов... — как-то некстати добавил он и поправился: — Так тогда кто-то сочинил...

— Он что... из купола так и торчал... ну, то есть висел? — неловко спросил отец.

— Именно так, — усмехнулся Гаврилыч, — тогда Колов в кумполе ломом дырку пробил и флаг туда просунул. Висел, пока не обломился... дождь, снег, ну и все такое.

— Интересное соединение — крест и красный флаг... — вдруг как-то помимо воли сказал отец и, смутившись, бросил быстрый взгляд на Гаврилыча.

Мне показалось тогда, что Гаврилыч по-особенному заулыбался. Отец приосанился и придал лицу строгое выражение.

— И это отвезешь в музей, — взял он остатки флага из рук Гаврилыча и тычком, недовольно передал Коле-маленькому, — скажешь там, — нарочито громко добавил, — что это революционная реликвия. Я им потом позвоню.

...Колокольню валили методично и упорно. Подвели подкоп, кувалдами, ломами и стальными клиньями стали подрубать основание. По мере продвижения в глубину, под колокольню, ставили, как в шахте, крепеж — толстый еловый кругляк. Работали два сумрачных, злых, не местных (говорили, из Александрова) мужика. Они нас, мальчишек из Покрова и Четверти, периодически гоняли от церкви какими-то изощренными матюгами. Мы же чуть ли не ежедневно приходили смотреть, как «рушат колокольню». Нам интересно было... Кончилось тем, что вокруг церкви расставили красные флажки и фанерные таблички с надписью химическим карандашом: «Не подходить! Опасная зона!» Но мы подходили, украдкой подбирались к церкви, обычно после того, как перемазанные в известке «подкопщики», с красными от кирпичной крошки рожами и сверкающими, аспидными от напряжения и пыли глазами, как черти из преисподней, выныривали в сумерках из подкопа, подхватывали свой немудреный инструментарий и, опасливо оглядываясь, споро трусили на ночевку к бобылю — густо, по-лешачьи заросшему диким волосом, никогда не бритому и не стриженному мужичку по прозвищу Вася-корешок, жившему в крайнем доме по церковной сторонке Покрова. Тогда мы подкрадывались, заглядывали в исцербленный, искромсанный железом каменный зев. Смертельной жутью веяло оттуда.

Однажды днем из штольни повалил дым. Работники, что подрубали колокольню, шустро выпрыгивали со своими железяками на поверхность и, гоня прочь нас, отскочили на безопасное расстояние. Они, как потом мы узнали, облили подпорки бензином, подожгли и стали ждать обрушения колокольни. Крепеж сгорел, но колокольня продолжала стоять невредимой.

— Неахтец получается, — сказал один из «подкопщиков», с проваленными, как у покойника, щеками и темно поблескивающими во весь рот стальными зубами, — там меньше метра кладки осталось, должна бы и амбануться!

— Кто-то молится, видно, сильно... Тут их, говорят, много, богомольных, — сумрачно отозвался другой, вытирая подкладкой кепки лицо



и совершенно лысую голову. — Аж в пот бросило... Я туда больше хренушки... мне еще жить хочется.

— Хоть вышку с попкой* ставь... В любой момент навернется. Придавит кого, нас на цугундер потащат, — сверкнул зубами худой. — Эй, пацаны! — крикнул он нам. — Сгоняйте за бригадиром, он тут на складе где-то с утра топчется!

Мы всей ватагой, понимая важность момента, сбегали на центральный зерновой склад, метрах в трехстах от церкви.

Гаврилыч вместе с женщинами по наряду наводил порядок на складе. Подметали гумно, двигали сортировки и чистили решета у зерносушилки, пересчитывали, латали мешки. Подходил август, и все чаще произносилось с какой-то особой, строгой многозначительностью слово «уборочная».

— Как? Уже подпорки сожгли?! — занервничал Гаврилыч. — Я же говорил этим архаровцам, что прежде, чем поджигать, надо оповещение сделать. Ну что за народ — зэчье племя! Так и норовят напакостить везде! Вот что, ребятки, берите колышки, — подвел он нас к штабелю заостренных деревянных брусков для наращивания бортов у машин под зерно, — несите к церкви, а я проволоку захвачу. — Гаврилыч накинул на плечо толстый моток алюминиевого провода, подхватил топор.

К вечеру, помимо флажков и предупреждающих об опасности табличек, колокольню на почтительном расстоянии от основания огородили проволокой. Наутро поставили самую крикливую бабу из Четверти — Нюшку Титову — отгонять все живое. Нюшка сторожила день или два, а потом куда-то исчезла. У всех в деревне летом достает куда более важных забот.

А колокольня, словно заговоренная, стояла. Стояла неделю, вторую... Страх, что, не дай бог, рухнет, задавит — прошел. И однажды, окончательно осмелев, мы со старшим братом Валеркой и нашим деревенским другом Колькой Субботиным перешагнули через оградительную проволоку и подкрались к колокольне. С бездумной детской отвагой зашли через свисающие на одних верхних петлях окованные железом, массивные створки дверей внутрь первого яруса колокольни. С проломленными межъярусными перекрытиями, обрубленной каменной лестницей наверх, разоренная и лишаемая жизни, колокольня что-то слабо отвечала невнятными шорохами и подергиваниями ветру, по-воровски шарящему в верхних карманах слуховых ниш, слезилась каплями утреннего дождя, звонко, как в глубоком колодце, падавшими вниз с еще не просохшего дырявого купола и железных нитей связующих балок. Она умирала и едва держалась. Я почувствовал, как она дрожит всем телом и из последних сил удерживается, чтобы ненароком не обрушиться на нас.

— Качается! — сказал шепотом брат, задрав голову вверх и обводя каменную верхотуру глазами. И тихо скомандовал, срываясь с места: — Атаа! Бежим!

Вечером, когда жизнь в деревне поутихла, колокольня сдалась. Упала, никого и ничего не повредив. Случилось это летом 1960 года.

* С часовым.



Школа и церковь

В сентябре того же года я пошел в школу. Школа располагалась рядом с церковью и, как я сейчас понимаю, изначально была церковно-приходской, открытой, как и множество подобных ей на Руси, при Царе-освободителе. Это была основательная, грузно просевшая, потянувшаяся к земле, во всем своем корпусе в чем-то уже устало-надломленная, но тем не менее еще крепкая, внушительная, добротнo сработанная из мощных лиственничных бревен постройка на невысоком холме, парадным крыльцом, как и рядом стоящая церковь алтарем, выходившая на тихо пробирающуюся у подножия холма между заболоченными осокистыми бережками речку Богону. Над двухстворчатой резной дверью, к которой вело крутое крыльцо с фигурно выгоченными балясинами, висела вывеска — белым по синему полю — «Покровская начальная школа». Потянув за медную, надраенную детскими ладошками до чистого солнечного блеска ручку, ты попадад в длинный просторный, с крашенными суриком полами коридор с еще одной дверью в конце, всегда закрытой на железный крюк. По правую сторону — две классные комнаты. Вместительные, с высокими, под самый потолок, арочными окнами. В каждой комнате размещалось по два класса. В одной — первый и третий. В другой — второй и четвертый. В простенках и над классной доской — портреты. Моя первая учительница — звали ее Зоя Федоровна Иудина (она доводилась племянницей Гаврильчу) — была без специального образования, взяли ее в школу после десятилетки — за отсутствием профессионального педагога. На уроках она страшно волновалась и смущалась. Помню частый румянец на ее круглом, сероглазом личике, нервное перебрасывание белых тонких косичек за плечи. И я ее сейчас понимаю: сама еще ребенок — и вдруг учительница! Тогда это было серьезно. Особая роль в деревне. И такая ответственность. Тут заволнуешься. Половину урока она занималась с нами, первоклашками, потом давала задание и в остальное время переключалась на третьеклассников. Она научила нас с правильным наклоном чертить палочки и обводить квадратики в тетрадях в клеточку, а затем выводить в прописях первые буквы. Научила читать по слогам: «Ма-ма мы-ла ра-мы». И еще с первых же дней занятий она рассказала нам, кто на портретах по стенам. Мы узнали, что в нашем классе висят два великих русских поэта — Пушкин и Некрасов, великие писатели Толстой и Чехов, а над доской, прямо перед партами, портрет «вождя мирового пролетариата» Владимира Ильича Ленина. С правой стороны от двери был еще один плакат, прикрепленный к стене кнопками. На нем была нарисована страшная горбатая старуха, настоящая Баба-яга, вся в черном, с раздвоенным подбородком, в траурном кружевном платке, цепко ухватившая костлявой рукой за косы красивую русоволосую девочку-школьницу в красном фартучке. Девочка тянула руку к прекрасному, устремленному ввысь светлому зданию школы, с летящим над школой самолетом, трубящим в горн со школьного балкона пионером.

Но злобная старуха упрямо тащила ребенка, указывая скрюченным пальцем в сторону ветхой, покосившейся церквушки с пугливо выглядывающим из-за церковной дверцы тщедушным попиком. Внушительными черными буквами сверху плакат предупреждающе гласил: «Религия — яд», ниже красными, помельче, призывал: «Береги ребят!»

Безотчетное, странное волнение — пугающее и настораживающее — вселял этот плакат в душу. Церковь, без колокольни как-то потерявшая свою завершенность, урезанная, стояла в каких-нибудь ста метрах от школы. Но по-прежнему она была высока и громадна. Казалось, белой скалой нависала над школой. Тень от нее в ясные, погожие дни начала сентября холодноватыми, темными кубами ложилась на школьный двор. На большой перемене мы находили между теневыми нагромождениями солнечные поляны, играли — девочки в классики и штандер, мальчики — в салочки, лапту. По моим сегодняшним представлениям, было нас около сотни. В школу сходилась и съезжалась детвора из пяти деревень (получалось, по-прежнему — со всего церковного прихода): Покрова, Четверти, Куликовки, Числавля, Березников и из добавившегося поселка Шушково, в просторечии — Колонии, образовавшегося в начале пятидесятых после закрытия небольшого лагеря, заключенные которого в послевоенные годы добывали для подмосковных электростанций торф в окрестных болотах. Наиболее хулиганисто-смелые и вожатистые мальчишки пытались проникнуть в церковь. И проникали, правда, только в церковный подвал. Створки дверей, захлестнутые кованым железным навесом, люфтовали, при усилении разжимались — и самые ловкие и гибкие из нас протискивались через образовавшуюся щель в подземелье. Там местным молокозаводом был устроен ледник, где, как я сейчас понимаю, хранились до отправки в город масло, сметана, сливки и выдерживался сыр. Мальчишки выкатывали через щель залитые парафином сырные кругляши из подвала и, резвясь, пускали их желтыми тяжелыми, приминающими траву колесами под уклон с холма в речку. Что это съедобное — мы не понимали. Ни на вид, ни на вкус сыра мы, деревенские дети, тогда не знали. А за «разбазаривание народного добра» нас тогда только пожурили (в школу приходил директор молокозавода), лазейку в подвал заделали, нашив на створки дверей толстые деревянные брусья.

Сама же церковь стояла запертой на увесистые амбарные замки, и нам оставалось только дергать за них, бухать для острастки в железо дверей и заглядывать внутрь, подпрыгнув и подтянувшись на руках, сквозь витые ажурные решетки на окнах. Разглядеть в деталях что-то внутри было почти невозможно, стекла, еще целые, были матово-мутные от пыли, да и долго ли провисишь на руках, когда тебе семь лет? И тем не менее взгляд выхватывал в такие короткие мгновения снопы света, идущие сизыми косыми дорожками от купола, высвечивающие не виданное нами доселе узорочье бежево-коричневой плитки на полах, выцветающе-золотистые отливы алтарной резьбы с непроглядными рядами икон, силуэты ангелов с белыми крыльями и задумчивых, полных строго-



го достоинства и затаенной мысли бородатых лобастых людей на стенах и сводах. Там был какой-то особый, другой мир — нигде больше не встречающийся, увлекающий своей неповторимостью, тайностью, красотой, но и пугающе-отталкивающий одновременно. Плакат со школьной стены отторгал, не давал впустить его в себя. Ведь он вселял в душу, что там, в церкви — что-то враждебное и опасное для тебя.

А потом, перед самыми октябрьскими праздниками, были два культурпохода всей школой в клуб, который располагался в избе напротив школы, через речку, на просмотр двух фильмов, шедших через день, специально для школьников. Один назывался «Чудотворная», другой — «Тучи над Борском». Мальчика Родьку в «Чудотворной» родная бабка, словно перенесенная в кино с плаката «Религия — яд. Береги ребят!», да и все остальные верующие в деревне, затравила до того, что он захотел утопиться, спасибо, учительница спасла. А в «Тучах над Борском» доверчивую девушку-старшеклассницу Ольгу сектанты и вовсе хотели распять. Сколько страху нагнали на нас эти фильмы! Верующие, сектанты — страшные, злые, кровожадные — все смешалось в наших головах. Зубы, можно сказать, стучали от ужаса, когда мы потом темными туманными утрами поздней осени пробегали в школу мимо массивных, облупившейся известкой полукружией церковных апсид. Тропинка от реки к школе поднималась вверх, вилась по склону холма и огибала с фасада церковь, которая теперь почему-то стала давить и угрожать всей своей каменной машиной. Стала пугающей и враждебной. Скорее проскочить, скорее спрятаться в школе, где ты в безопасности и защищен от чего-то страшного и коварного, что может не позволить тебе ходить в школу, что может разлучить тебя со всем добрым и хорошим на свете... Защищен чем-то правильным и надежным, чего ты не можешь еще понять и облечь в мысль, но чувствуешь, как оно, это правильное и надежное, сильное и решительное, говорит словами учительницы, дышит с плаката, смотрит с экрана в клубе.

И в обыденной жизни оно вдруг вывернулось и обнаружилось наяву.

Государство и церковь

Где-то в середине ноября, сырым, метельным вечером, отец пришел с работы не один. С ним был гость — «уполномоченный из области», шепнул матери отец, попросивший собратъ «что-нибудь посытнее — не обедали» на стол. Это был высокий, худой, до странности подростково-узкоплечий человек, весь настолько плоский и суженный, что казался выпиленным из фанеры. На нем все казалось великоватым, ерзающим, как на ребенке, одетом на вырост: и серая фетровая шляпа, сползающая на одно ухо, и теплое пальто, провисающее на плечах, и хромовые сапоги, хлопающие по икрам при движении, без труда сброшенные с тонких ног у порога, как-то по-мальчишески с приплясыванием и смешно... Но вот взгляд черненьких глазок, уменьшенных в горошину за выпуклыми стеклами круглых очков

на крупном, утином носу, был не по образу устойчивый и завершённый. Куда-то он несбивчиво, с вызовом и отстраненно, над головами, смотрел, в какую-то одну только сторону, ведомую исключительно ему. И становилось почему-то совсем не смешно. Придирчиво оглядев меня, он назвался Леонидом Григорьевичем, расспросил, как меня зовут, как учусь, кем хочу стать, и, сделав попытку улыбнуться (улыбка не расправилась на лице, получилась угрюмовато-расщепленной), пощелкал замками портфеля, пошарил в нем и подарил мне блокнот в красной, пахуче-клеенчатой обложке и старую авторучку. «Отец говорил, стихи сочиняешь? Молодец... Научись писать — не ленись, записывай все. Кто знает, может, новым Евтушенко станешь...»

Мать разожгла припасенными на особый случай сухими поленьями (они не так дымили) подтопок с вмазанной чугушной плитой, сдвинула конфорки и на бьющем из печи оранжевыми искрами пламени стала жарить мясо. Незадолго до этого резали свинью. Мясо дало обильный жир, который сердился и стрелял раскаленными каплями. И в таком, должно быть, дикарском виде, прямо с пылу с жару, было подано на стол. Темные глазки гостя блеснули удовольствием, когда он аккуратно вилок положил несколько кусочков на тарелку и попробовал. «В Москве, в ресторане Дома журналистов, подают фирменное блюдо “Мясо по-суворовски” в сковороде на горящих углях... До вашего ему далеко, хозяйюшка», — сказал он с неожиданно простецким восхищением, обращаясь к матери. «А вы попробуйте хлебом в жир, чудо закуска...» — подхватил польщенный отец и достал из-за занавески на полке бутылку. Гость поощрительно-неопределенно повертел в воздухе руками, взял и разломил для пробы ломоть хлеба с разделочной доски. «О-о! — только и сказал, отправляя, предварительно понюхав, хлеб в рот. — Сами печете?» Мать сказала, что да, сама, в деревню, увы, хлеб не возят. «И не надо... привозной — он и есть привозной, — уже глубоко понюхал хлеб гость. — С вашего разрешения, я возьму завтра немного своим в город, угощу — это же деликатес. Они такого и не пробовали. Это же надо уметь! — с каким-то новым интересом оглядел он кухню и все вокруг себя. — Неправ эмигрант-классик, что и хлеб в деревне печь не умеют. Его деревня не умела, наша, советская, умеет». «В жир макайте, в жир!» — смахнул с лица непонимание об «эмигранте-классике» отец и с облегчением разлил водку по граненым, узко приталенным у ножки рюмкам.

— ...Да, именно так, к концу семилетки, в шестьдесят пятом, получается, Хрущев обещает показать последнего попа по телевизору, — продолжил гость, видимо, начатый еще раньше разговор с отцом. Выпив и закусив мясом, он, не чинясь, нанизывал, по совету отца, на вилку мякиш, напайвал его растопленным жиром на сковороде, в меру причмокивая, вкушал, нахваливал, часто аккуратно вытирая руки и насаленные губы чистым полотенчиком, предусмотрительно подсунутым ему под локоток матерью. — За пять оставшихся лет идеологическое поле должно быть под корень, да, под корень очищено от религиозных сорняков. В головах

людей должны произрастать только наши, коммунистические культуры, если так можно выразиться, — снова сделал неудачную попытку улыбнуться, видимо, своей «фигуре речи» гость. — Бой будет дан последний и решительный! Это надо четко осознать, как в Гражданскую: или мы, или они! Над душами людей должен быть только один хозяин! Так ставится вопрос партией и ее руководителем. — Гость сердито постучал черенком вилки по столу и взглянул строго на отца: — А у вас опять заканючили об открытии церкви. Умом, что ли, тронулись, недобитые богоносцы? Не чувят, какие вновь задули ветры?!

— В войну и после войны церкви открывали. Вот они по инерции и продолжают... Тут, я слышал, и раньше пытались, — осторожно сказал отец.

— Усатый в войну начал заигрывать с церковью, заелозил, когда немцы на оккупированных территориях стали приходы открывать, подло заюлил, чтобы не потерять влияния в народе, — помрачнел гость, утираясь и с силой скручивая жгутом полотенце. — Впрочем, его всегда тянуло к имперскости, на реакцию, к черносотенцам. Мечтал сделать Москву мировым центром православия. Если бы в пятьдесят третьем не убрался, кончилось бы венчанием на царство, что-то сродни объявлению себя красным императором... под знаменем союза серпа, молота и православного креста.

Отец, опустив глаза в пол, усмехнулся. Я сидел рядом, прижавшись к теплому боку отца, и, заглядывая ему снизу в лицо, уловил желание что-то сказать. Но почувствовал, как он зажался и остановился. Думаю, ему захотелось вернуть про колокольню, крест и красный флаг под ним. Но удержался, от греха подальше...

— Нисколько не преувеличиваю! — по-своему расценил усмешку отца гость. — Уверен, к концу войны он окончательно выбрал модель страны с огромной религиозной составляющей, идеократическую империю, говоря языком философии... Тут все сказалося — и семинаристское прошлое, и вербовка царской охранкой с последующей обработкой идеологами великорусского шовинизма, и ненависть к ленинской гвардии, точнее, к носителям великого большевистского проекта, диаметрально антиимперского, антитрадиционалистского, антинационального... Поэтому он и начал их уничтожать с людоедской страстью в тридцать седьмом. Неразвитое, тупое, малообразованное голенище с усами! Он не понимал, с какой он силой схлестнулся! И эта сила сейчас после временного поражения восстанавливается. Мы никогда не позволим поднять голову всей этой реакционной патриархальщине! — Гость порывисто закрутил полотенце жгутом, повертел в руках, словно к чему-то примериваясь, и внезапно остро и пристально посмотрел на отца. — Но вы что-то, я смотрю, приуныли, дорогой мой председатель, наливайте!.. В бараний рог их надо, вот так! — И отбросил перекрученное винтом полотенце в сторону.

Отец бесстрастно, не поднимая на гостя глаз, вновь наполнил рюмки.

— От колокольни — я уже информировал, что летом мы ее снесли, — проку мало вышло... кирпич практически неразъемный. Клади на яичном желтке старые мастера... крепче бетона. Легче новый купить, — сказал он неожиданно, передумывая, видимо, еще раз мысль о колокольне и флаге.

— Знаем такое... «старые мастера», — иронично протянул гость, насмешливо оглядывая отца.

— Что было, то было, — твердо сказал отец, — строить умели. Почему не признать?!

— Умели, умели... — с легким раздражением, ошутимо сдерживаясь, отозвался гость. — Вопрос только в том, что умели. Дворцы для знати, церкви, монастыри... духовные узилища, так сказать, — это да, умели, а вот по части, скажем, жилья для народа, как сейчас, тут пас, все умение куда-то исчезало... все больше избушки лубяные да вонючие казармы при заводах.

— Кто спорит... — пожал плечами отец.

— Вот поэтому, коли кирпича на выходе с таких объектов с гулькин нос, мы и не призываем больше взрывать, подкопы там разные ковырять... в лишние расходы входить, — быстро взглядывая на отца, с внятной, наступательной энергией заговорил гость. — Тактика сейчас такая — приспособьте церковь под какие-нибудь хозяйственные нужды, не ремонтируйте, эксплуатируйте по полной... сама по себе рухнет и в землю уйдет. И как не бывало! Главное, — с нажимом сказал он и поднял рюмку, — главное, чтоб туда никогда больше не приходили на беседу с боженькой и с его, как утверждают святоши, проводником на земле — толстобрюхим лицедеем батюшкой. Люди должны приходиться на исповедь к нам, наследникам большевиков-ленинцев. Вот за это и выпьем.

— А с точки зрения старины... памятника архитектуры, так сказать? — глухо, в сторону сказал отец, прячась за гримасу горечи от выпитого.

— Что значит «с точки зрения памятника архитектуры»? — с ехидцей посмотрел гость, слегка пригубив стопку.

— Не представляет ли она ценность с этой точки зрения? Я был недавно в Суздале, там сплошные церкви и все в надлежащем состоянии.

— Ну, там другое дело, — стал придирчиво ковыряться вилкой на сковородке гость. — Пожалуй, все, больше не осилю... — капризно отложил вилку в сторону. — Ну, там другое дело, — продолжил, нашаривая рядом жгут полотенца. — Там действительно памятники старины — двенадцатый-семнадцатый века. Туда будут скоро утверждены туристические маршруты, поедут иностранцы... валюту будем зарабатывать, как это делают на Западе... Зря, что ли, Никита по миру болтается, чему-то и учиться надо. Не все же с кукурузой, как дураку с писаной торбой...

Отец с острым любопытством встрепенулся. Гость раздраженно развернул полотенце, чистым уголком, занавешивая глаза, вытер лоб.

— Ленин завещал не стесняться учиться работать у капиталистов, — выровнялся он. — А вашей церквушке всего сто с небольшим, типичный



никалаевский амбир, ничего особенного, таких по центральной России сотни. Ну а потом, я, кажется, доходчиво объяснил суть проблемы, повторю еще раз, — напористо заговорил гость. — В Суздале, подчеркиваю, нет ни одной действующей церкви, там теперь только красивенькие, а-ля рюс, в затейливом орнаменте каменные коробочки стоят. Они нам не опасны, так себе — сарафанно-кокошниковая мишура с плясками-хоровами ряженных в лапоточках, — махнул он легонькой ручкой. — В вашу же люди рвутся молиться, письма в высокие инстанции пишут, требуют снова открыть. Действующий храм! Разницу улавливаете?! — Я почувствовал, как у отца словно подскочила температура. — Уже много лет пишут, между прочим. Вы знаете, кто это? Всех, поименно, кто воду мутит вот уже тридцать лет?! Тридцать лет нудят, шляются по инстанциям, в Москву ездили, к Карпову! Чуют своих!

Отец, незаметно выдохнув, с нарочитой откровенностью вопросительно взглянул на гостя.

— Да, к самому Карпову... Вижу, не знаете, кто таков? — сбавил обороты, приметливо усмехнувшись, гость. — Известная в поповских делах персона, Георгий Григорьевич Карпов... До недавнего времени — председатель Совета по делам церкви при Совмине. Генерал, сталинский выкормыш, костолом-энкавэдэшник... Рассказывают, в тридцать седьмом собственноручно душил ремнем подследственных, много погубил честных, преданных партии людей... Как недавно выяснилось, — сузил глаза он и часто-часто заморгал, — этот Карпов окончил духовную семинарию, отец у него краснодеревщиком был, украшал резьбой Морской собор в Кронштадте... В Кронштадте, где витийствовал вдохновитель «черной сотни» Иоанн Кронштадтский! Вот они откуда, черносотенцы во власти. Пришло время безжалостно вычищать эту реакционную плесень! Понимаете, о чем речь? — И снова напряжился, затемпературил отец. — Недавно его с треском наконец-то вышибли... С сорок третьего, как усасть вернул патриаршество, сидел на теплом местечке. Вредил большевистскому делу, двурушничал, попов покрывал, защищал длинногривых. Никита Сергеич его быстренько раскусил, пинка под зад дал мерзавцу! А надо бы судить! И за решетку!.. Контра! Тайный враг и осознанный извратитель ленинизма, ждущий момента ударить исподтишка. Вот такие и у вас тут живут! — вскинулся вдруг гость на отца.

— Я здесь с пятидесятого председателем... воевал... — аккуратно подбирая слова, медленно заговорил отец. Я услышал, прильнув к нему, как часто заработало у него сердце. — Бдительности, как говорится, не теряем... Откровенных таких не знаю... Все работают, задачи по выполнению семилетнего плана выполняют. Трудятся, могу заявить ответственно, с энтузиазмом. Урожайность в прошлом году выросла на...

— Знаем, знаем, — нетерпеливо замахал руками гость, — показатели у вас неплохие, даже перекрывают кое в чем областные... И про вас, Владимир Васильич, уважаемый, все знаем, — многозначительным доверком как бы вскользь обронил он. Мне показалось, рубашка на спине

отца повлажнела. — Знаем, что ваш родитель попал в жернова тридцать седьмого, пошел по пятьдесят восьмой... увлекался, так сказать, религиозным поиском...

— А я на войну пошел... добровольцем, между прочим, — нахмурившись, решительно и зло сказал отец. — И в партию вступил в сорок втором, когда враг был в Сталинграде... — Запнулся и добавил: — На Волге...
 Гость оценил поправку, одобрительно хмыкнул.

— И это знаем, все знаем, Владимир Васильич, не обижайтесь, — неожиданной скороговоркой зачастил он, — знаем и... ценим. Но поймите правильно, у кого-то — не у меня! нет! что вы! — могут появиться разного рода сомнительные мыслишки, нет ли здесь симпатии определенной, своего рода покровительства, наследственного, так сказать.

— Какого такого «покровительства наследственного»?! Вы о чем?! — бешено вскипел отец, подсакивая на месте.

— Да вы не волнуйтесь, зачем же так, поберегите нервы! — чуть-ко взглядываясь в отца, мелким бесом завертелся гость, узкой, прозрачной ладошкой отталкивая что-то перед собой. — Я о том, точнее, о тех, кто вот уже три десятка лет не жалеет чернил и бумаги и доводит нас до исступления своим скулением открыть им церковь. Вот они, все тут! — нашарил портфель рядом гость, защелкал замками и, извлеки на свет какую-то бумагу, стал размахивать ею в воздухе. — Я сравнивал первые письма и вот это последнее. Практически одни и те же люди, одни и те же фамилии. Да у вас тут религиозно-змеиный клубок под ногами, а вы не замечаете! Как это понимать? Вы уже десять лет председателем! И еще спрашиваете, какое покровительство! А? Что скажете?

Отец затряс, освежаясь, рубашку на груди.

— Разрешите, еще раз взгляну? — Нетерпеливо потянул у гостя бумагу, встряхнул, стал дергано вчитываться. — Так... вот этот отличный плотник, топором кружева на наличниках режет, — нервно ткнул пальцем в бумагу, — этот тракторист, технику знает лучше любого механика... Вот конюх, лошади у него хоть завтра на парад, и шорник заодно каких поискать... Этот погоду предсказывает, целую метеослужбу наладил, сорок лет за небесной канцелярией наблюдает...

— Вот-вот! И что он там видит — боженьку?! — с видимым удовольствием ухватился гость и бесцеремонно выхватил листок у отца. — Метеослужбу наладил? Разуьте глаза. О другой они тут службе мечтают! В религиозном угаре челобитные как под копирку строчат! А вы зеваете! Да их всех к ногтю надо! По-большевистски! Будут пиццать — приусадебных участков лишить, землю по самые углы обрезать... А наиболее ретивых и под статью можно. Что вы тут с ними нянчитесь?!

— Под статью?! — оторопело подался вперед отец.

— Да, именно так! А вы как думали?! — с вызовом дернулся встречно гость. — Если с уговорами не получается, можно прибегнуть и к более действенным мерам. По-ленински, со всей беспощадностью к идейному врагу! Этих безумных богомольцев следовало бы пугануть так, чтоб на сто лет языки прикусили! Так учил Ленин!

Резким движением руки отец сдвинул в сторону посуду.

— Со статьей в этом деле было бы слишком. Это уже перебор! Только-только начало все разглаживаться... Я против!

— А вы молодец, председатель! Это уже позиция! Ах вы чуткая народная душа! — Гость фанерными ладошками дробью прошелся по краешку стола. — Скажут еще — рецидивы тридцать седьмого... Я ведь тоже говорю, заметьте, «можно», «следовало бы», а не «нужно»... есть разница! — Гость фыркнул подобием смеха, сощурился. — Другого ответа я и не ждал... — Неожиданно цапнул своей сухонькой ручкой недопитую стопку со стола и в одиночку, неловко, выцедил через силу, с гримасой «не так пошло», при этом неприязненно-криво посматривал, загораживаясь рюмкой, на отца.

— Закусите, — хмуро сказал отец и придвинул гостю миску с солеными огурцами.

Гость, пряча глаза, старательно выцелил вилок самый маленький огурчик, положил на тарелку, отрезал неловко длинным кухонным ножом дольку, запоздало, без удовольствия заел.

— И все же, — механически прожевывая огурец, выдавил, — миндальничать с ними не стоит... нагледят, снова зашевелились... Всю картину по антирелигиозной работе портят.

— Да кто тут миндальничает, — пожал плечами отец, — колокольню вот уже того...

— Потому и зашевелились, что с колокольней разобрались, — живо подхватил гость, — боятся, что завтра за саму церквушку возьмемся. Но я уже сказал! — поднял он голос. — Взрывать такой массив из камня слишком дорого и хлопотно. Много чести будет!.. В церкви, в самом здании, что сейчас? Они что, действительно за ней присматривают?

— В церкви? — переспросил отец. — Да так... используем как склад... по мелочи кое-что храним. Никто особо не присматривает, крыша, стекла целы... сама по себе стоит. Хотя доходило до меня, — нехотя прибавил, — что у кого-то из бывшей двадцатки... церковной этой есть ключ от главного входа, там врезной замок... у боковых дверей навесные мы поменяли... Может, кто и заглядывает потихоньку.

— Вот видите, «может, кто и заглядывает потихоньку»! — насмешливо повторил гость. — Не знаем!.. А так быть не должно... Где ваша фронтальная бдительность?!

Отец насутился и стал катать хлебные шарики на столе.

— А они при встречах с начальством утверждают, что следят за храмом, собирают деньги на ремонт, якобы даже утварь сохранили. А мы ничего не знаем! — картинно развел руками гость.

— Что предлагаете? — сдерживая раздражение, бросил отец.

— Вот это уже по-фронтальному! — заиграл глазами гость. — Что предлагаем? То, что уже сказал!.. — выдержал он паузу. — Вы лен культивируете, так?

— Так, — не скрывая иронии, усмешливо кивнул отец.

— Становится все веселее, — чутко пробросил гость. — Сдаете государству сырцом? — продолжил напористо он.

— В снопах в заготконтору отвозим, — скупое уточнил отец, придавая лицу привычно озабоченное выражение.

— Невыгодно?

— Да, культура трудоемкая, затрат много... отдача низкая, — механически согласился отец, соображая, видимо, куда клонит гость.

— Выход?

— Сдавать хотя бы полуфабрикат... кудель.

— Правильно! А для этого надо — что? Организовать производство по первичной обработке льна — сушка тресты, мятье и трепание... на выходе кудель! — Гость торжествующе посмотрел на отца.

— Льнозавод, словом... — потускнел отец. — Помещение, значит, оборудование разное... а с финансами у нас не шибко. Только начали понемногу деньгами за трудодни давать... Потратим на обустройство, технику, снова люди за палочки...

— А вот с палочками не надо! Слышали эти кулацкие придумки, — раздраженно заговорил гость. — Работать надо лучше, производительнее, и тогда на «палочки» хорошо выходить будет. — Отец равнодушно пропустил реплику гостя мимо ушей. Он был явно увлечен продолжением разговора и ждал услышать для себя что-то важное. — Но я хочу сказать главное, — не заставил себя ждать гость, поглядывая с некоторым недоумением на отца, — решение по вам принято перед моим отъездом сюда на бюро обкома... Чтобы раз и навсегда закрыть тему с этой вашей церковью. В ней будет льнозавод — это к вопросу о помещении, а на оборудование государство выделит безвозмездную ссуду. Скоро вас ознакомят с постановлением, и, как говорится, за дело, товарищи.

— На бюро обкома... по нашей церкви? — с осторожным удивлением посмотрел отец.

— А почему бы и нет? У партии есть дело до всего и каждого, — выдвинул голосом «каждого» гость. — Для нее важна любая деталь общественно-политической жизни... Я уже говорил, что ваши просители-кляузники потеряли чувство меры, перешли все границы. Это уже черт знает что — в разгар антирелигиозной кампании просить открыть церкви! У них с головой все в порядке?! — снова завелся он. — Ну конечно же, — с важностью тут же сбавил он обороты, — ваш вопрос решался в порядке выработки общей стратегии борьбы с религией, но, — приосанился гость, — по деталям, в частности в отношении вашей церкви, проблема прорабатывалась тщательно и с указанием персонально ответственных! — Отец подобрался. Гость выдержал паузу и деловито, протокольно добавил: — Так, конкретное предложение по устройству льнозавода в церкви поступило уже от вашего райкома. Там фигурируете и вы в числе исполнителей... — Отец машинально нашарил на столе бутылку. — Дельное предложение. Можно только представить, что станет с церквушкой через пару-тройку лет ударной работы там льнозавода. Сушка, мятье и трепание! — вдруг

не в меру разволновался, разгорелся гость. — Огонь, тряска и вибрация! Через два года взрывать уже будет нечего! — рассмеялся-раскашлялся он с утробным надрывом застарелого легочника.

— Выпейте, смягчит, — страдальчески скислился отец и, глядя в сторону, косо прицеливаясь, разлил остатки бутылки по рюмкам. Чокнувшись с гостем, залпом махнул.

— Сроки? — выдохнул, занюхивая отработанным рукавом. И, опомнившись, оправдался: — Как говорит у нас один бывалый человек, закуска градус убивает.

— Любопытное выражение, — исподлобья взглядывая на отца и затаенно сдерживая кашель, отозвался гость, — еще раз подтверждает, что русский народ не любит полутонов и всякого смешения... Тут всегда конкретика — пить или есть? Плакать или смеяться? В обнимку на всю жизнь или до смерти враги? Всегда — кто кого... или-или, — повертел он своей бледно-прозрачной, как лягушачья лапка в спиртовой банке, ладошкой в воздухе. — Потому и большевизм в России победил... Строгое, внятное, предельно очищенное, так сказать, от буржуазно-демократической сивухи учение легло на душу народа, образно говоря, чистой водкой без закуски. — Гость не выдержал, снова рассмеялся-раскашлялся и мелко застучал кулачком в грудь: — Это все Север... На диком морозе, на общих работах промерзали до костей... — Потупившись, нашарил рюмку на столе и старательно, глуша кашель, выпил. Пьянея, набыченно-мутно посмотрел на отца, перекладывая с плечика на плечико большую, в густых волнах голову. И с неожиданным торжеством вдруг дернулся в сторону отца: — Сроку — три месяца! Так решили на бюро. В феврале льнозавод должен заработать!

Этот разговор со всеми подробностями пересказывал мне потом по жизни отец не один раз. Что-то заставляло его вновь и вновь возвращаться к нему.

Бытие и церковь

В декабре в алтарной части храма начали класть печи и сколачивать двухъярусные полаты для сушки льна. Иконостас вместе с царскими вратами выломали, вместо них навесили для герметичности «сушильной камеры» сварные железные листы с плотно закрывающейся на засов дверью. В стене церкви со стороны школы пробили рваную, неровную дыру, к ней подогнали колесный трактор, от которого через приводной шкив завели в храм длинные черные ремни. Они должны были приводить в движение механизмы для мятья и трепания льняной тресты.

В январе подтащили на неуклюжих, кособоко вспарывающих глубокий снег тракторных санях, едва не своротив угол школы, сами агрегаты. Огромные, рыхло-неподъемные железные монстры не проходили ни в одну церковную дверь. Дверные проемы, самые широкие и высокие, там,

где церковь с северной стороны украшали круглые колонны портика, расширили с помощью кувалд и ломов, заодно свалив для беспрепятственного затягивания железяк в церковь пару центральных колонн. Порттик, как ни странно, не обвалился, удержался. Грустно взирал Он всевидящим оком с фронтона на копошащихся внизу прытких людей.

В начале февраля стали подтягивать к церкви тракторами волоком, на тросах, разлапистые скирды перевязанного в снопы льна в снежных шапках. Недели через две весь правый берег Богоны у подножия церковного холма вплоть до школы был густо уставлен темно-серыми, пахнущими откуда-то из утробы летней цветочной пылью горами льняных стогов. Приходили женщины с вилами, расковыривали и сбрасывали снег с верхушек, нанизывая снопы на вилы, таскали лен в церковь. Вскоре из железных труб, перископами поднявшихся над алтарной частью храма, заиграли на ветру сигнальными флажками синие дымки. Заскрежетали, залязгали, резонируя в еще чистых, не тронутых чадным трудом стенах церкви, непритертые, необкатанные, жадные в заглатывании сырца внутренности стальных агрегатов. Шум станков вырывался из церкви, пробивался сквозь стены школы, нарушал тишину, заставляя нашу юную учительницу недовольно хмурить свои неявные, белые бровки.

По мере наполнения чрева машин пищей-сырцом железные звуки стихали, становились мягче, тупее, превратившись однажды в ровные, ритмичные шорохи неустанного бега на месте хорошо отлаженных механизмов. Алтарь, где на полотах над печками доходили до кондиции льняные снопы, вкусно и нежно задышал через окна на улице жареными семечками и пересушенной кострой. Костра теперь была везде. Она завивалась ветром в воронки на каменных плитах церковных крылец, лежала темным слоем на снегу и тропинках пришкольного участка, заносилась на валенках в школу, клубилась серым облаком у трепальных станков в храме, куда мы теперь часто забегали после школы поглазеть на работу диковинных машин. Забегали без бывшего страха и трепета перед церковью, когда она была под замком, стояла таинственной и непознанной, тревожащей. С нее словно была снята печать неприкосновенности, и она стала очередным, пусть и необычным, объектом детского любопытства, тем, чего не встретишь в поле, в лесу, у речки, в повседневной деревенской обыденности, таким, как волшебная борьба огня и железа в кузнице, как опасно ослепляющий трассер сварки в мастерской... И только невнятные, все больше затемняемые копотью и пылью таинственные фигуры и лица, взирающие на нас со стен и купола храма, по-прежнему тревожили душу, заставляли вглядываться в их истаивающие, надмирные лики, не позволяя разыгрываться до полного восторга и забвения, катаясь с разбега на валенках и портфелях по скользко-глянцевой, мягкой от костры плитке церковных полов. Казалось, они ничем не грозили и не пугали со стен, но, затираемые временем, исчезая бесследно, они словно говорили что-то такое, что одергивало вдруг и рождало понятие о каком-то правильном, подобающем месту поведении. Странное это



было ощущение — тормозящей стыдливости от нечаянной вовлеченности в общее неправильное, негодное дело. Нечто подобное я ощутил потом в юности, студентом, на картошке, когда однажды забежал с приятелями после немереной дозы пива за полуобвалившиеся стены заброшенного деревенского храма. Я почувствовал тогда, как и в детстве, что делаю что-то не то. Пусть даже и оскверненное, но святое — не оскверный.

Зато вовсю теперь можно было разгуляться на улице у церкви. Льняные скирды с туго перевязанными, увесисто-слежавшимися снопами, из которых можно было строить крепости, башни, стены, возводить защитные валы, прокладывать в них ходы-траншеи и которые можно было метать, сшибая с ног «неприятеля», стали после школы для покровских и четвертских мальчишек местом буйной катавасии, безумного веселия, сшибок, ора, драк, выпускания из себя всего дикарского и первобытного, чем переполнена еще не скованная запретами воспитания восторженная и чистая детская душа. Игры с битвами «русских и татаро-монголов» на Куликовом поле, «наших и турков» при взятии Измаила, «защитников Брестской крепости с немцами» продолжались без обеда, пока не начинало садиться солнце. Тогда мы складывали «оружие», пряча деревянные винтовки, мечи и сабли в потаенных местах — в корневищах ивняка на Богоне, разбирали портфели, побросанные в общую кучу, и, гремя пеналами, расходились по домам, еще подолгу горячо и обидчиво выясняя по дороге, кто кого победил. Мы уходили, и, занимая пространство перед церковью, в хрустальных сферах закатного зимнего солнца взвивались лохмато-неровными языками пламени над скирдами тысячи оранжево-грудых снегирей, собирающихся стаями из окрестных лесов полакомиться сладкими льняными семечками из осыпающихся снопов.

Символическим оказалось «пламенное» кипение птиц у храма. В марте в церкви случился настоящий пожар. Полностью выгорела сушильная камера в алтаре. Железная перегородка спасла от огня тонны кудели, приготовленной для отправки в город. Страшно подумать, что было бы, если б загорелось и здесь. Отец на вопрос матери о последствиях каменно сдвинул брови: «Под суд бы загремел!» Мать перекрестилась: «Спаси и сохрани!»

Сушилка загорелась ночью, все спали, и огонь вольно хозяйничал в алтаре до утра. А представить, как горит сухой лен, большого воображения не надо. Не случайно сейчас из него порох делают... В то утро, проходя в школу мимо церкви и уже зная, что случилось, мы вслед за взрослыми отмечали, что «алтарь разорвало», спорили, «станет шире или нет», замеряя прутиками глубину трещины, располозовавшей от карниза до фундамента каменное полукружье апсиды. Спорили, повторяя чью-то мысль: «Огонь сильнее всех!» Дивились выгнутым, как железные паруса, в нитки истончившимся решеткам на алтарных окнах. Сами окна, с высокими черными выбросами копоты на белой кладке, казались забранными

в траурные ленты. А когда сушилку «для верности» обильно пролили водой, сиротливой гарью нежити, погорельским разором и заброшенностью повеяло вдруг от церкви.

И хотя через неделю-другую все отремонтировали и восстановили, что-то в соборной механике нарушилось навсегда. Огонь изменил не только внешний вид церкви, искалечив и обезобразив ее фасад, но, разорвав алтарь, расщепив каменное единство, подорвал в целом храмовое архитектурное равновесие. Трещина на церкви стала быстро разрастаться и уходить куда-то в землю. Храм повело, неожиданно он просел и «клюнул» алтарной частью в сторону речки. Люди заволновались, что «церковь спереди вот-вот рухнет». Апсиду срочно перепоясали, стянули тросами, на время все успокоились, льнозавод продолжал работать.

Но уже через год отец как-то после ужина, помешивая ложечкой чай в стакане, задумчиво сказал:

— А он оказался прав...

— Кто «он»? — переспросила мать от печки, где, гремя ухватами и чугунами, готовилась управляться.

— Да уполномоченный этот по религии, из области, помнишь, еще хлеб твой нахваливал? — отхлебнул крупным глотком слишком горячий чай отец и поморщился. Мать, помешкав, вытирая руки о фартук, бочком присела на лавку, с раздраженным вниманием посмотрела на отца. Отец редко говорил с ней о работе, а если говорил, то всегда не о самом приятном. Ей это, похоже, не нравилось.

— Сыпется церковь, — приглядываясь к матери и прикидывая что-то, неопределенно протянул отец, — после пожара на глазах разваливается. А потом машины эти, вибрация, тряска... Точно все предсказал тогда... товарищ! Тут как бы крыша не рухнула, придавит кого, не дай бог... — пристально и опять с каким-то своим интересом посмотрел он на мать.

— Вот такие вы все, безбожники-коммунисты, прижмет, сразу Бога вспоминаете! — запальчиво и вроде бы не по делу сказала вдруг мать. Она всегда так делала, когда в ней что-то долго накапливалось.

— Ну, ладно, ладно, давай без нервов... и без этого только! — показал глазами отец в мою сторону. — Это я так, поделиться, в общем... Разберемся!

— Разберетесь, наобещаете, как всегда... Обещаниями кормить вы умеете! А тут как бы узелок с бельишком собирать не пришлось. Бабы говорят, сверху чуть ли не кирпичи уже летят, пока будете разбираться, убьет кого. А отвечать ты будешь! Дети сиротами при живом отце останутся! — снова загорячилась мать.

Отец нахмурился и привычно, как на собрании, постучал ложечкой по стакану:

— Да уймись ты! Я только начал...

Мать стала нервно перевязывать платок.

— В апреле льнозавод будем останавливать, — плавно и размеренно закрутил ложкой в стакане отец, — всё, шабаш, за месяц остатки снопов

подработаем — и последний гудок... Можешь смело объявлять на всю деревню, — стрельнул он вдруг повеселевшим глазком в сторону матери.

— Не удержался, подъялдыкнул. Вот на это ты горазд! — обиделась мать и ловким, воздушным движением снялась с лавки. — Сам объявляй! Сам заварил, сам и хлебай! Мне детей жалко, наплодил, и куда я с ними, если что?!

Отец опустил крупную, с наметившейся плешью на затылке голову, глубоко вздохнул, помотав удрученно чему-то головой.

— Ну пошутил я, чего тут. Хотя мысль есть... — через силу миролюбиво поднял он глаза на мать. Мать промолчала, отошла к печке, примериваясь продолжить возню с чугунами и ведрами, вечернюю работу по хозяйству никто не отменял. — Неспokoйно как-то на душе... — стараясь придать голосу доверительность, но выходило сухо, продолжил отец. — Заранее объявлять мне — неправильно, неизвестно еще, как все может обернуться... Другое, если ты по-свойски женщинам подпустишь... Люди все поймут, осторожнее на работе будут, настроятся на концовку... Нам бы месяц всего без происшествий продержаться. И все — стоп машина!

Мать, взявшись что-то передвигать ухватом на шестке, развернулась к отцу, пристукнув в сердцах черенком в пол:

— Это ладно, про это, может, ты и прав, заранее сказать людям надо, — скороговоркой пробросила она. — Но я вот про что все время думаю: кому она мешала, церковь-то, стояла бы и стояла. А там бы, глядишь, может, снова открыли бы. Люди за нее столько лет бились, уполномоченный твой рассказывал... Тут же в округе, кроме как в городе, ни одной церкви нет. Вот и была бы наша. За нее и сейчас тут все подписи поставят.

Отец насторожился.

— Нет, колокольню разрушили, в церкви завод устроили... и все не впрок. Много вы набрали кирпича из колокольни? Шиш один. А с завода озолотились, что ли? Говорят, одни убытки. И церковь того гляди рухнет, задавит кого... Все без толку у вас. Потому что, как старые люди говорят, против Бога идете. А кто вы такие против Бога?! Так, мошकारа одна...

— Ну хватит! Понимала бы чего! — грубо оборвал отец, внимательно поглядывая на меня.

— Мошकारа — она и есть мошकारа, — уже вовсю разошлась мать, — Богу только дунуть, ничего от вас не останется. Говорят, так и будет!

— Прикуси язык! Далеко заходишь! — вскочил с лавки отец, машинально ероша мне на голове волосы и подталкивая к выходу: — Иди, погуляй!

Я попытался к двери, но продолжал стоять и слушать. Мать возбужденно скользнула по мне глазами и внутренне осеклась.

— Ладно, чего уж там, накуролесили, сами не знаете, что теперь делать, — гася чувства, размашисто и решительно задвигала она ведра у печки. Наталкивая вареную картошку в бадейке для коровы, глянула цепко, не смирившись, из пахучего парового облака на отца: — А льнозавод закрыть сам додумался?

— Как просто все у тебя, — переминаясь с пятки на носок, покачиваясь и механически пощелкивая подтяжками, сумрачно отозвался отец, думая о чем-то своем, — открыл-закрыл... А тут знаешь как!.. Ты вот что мне лучше скажи, — тяжело посмотрел он на мать, — от кого набралась этой ереси? Ты хоть думаешь, что несешь? Тут уж точно останутся дети и сиротами... и... чего уж тут говорить! — сокрушенно махнул он рукой. — Понимаешь ты это?!

Мать с грохотом отбросила толкушку с налипшими по бокам сахарно поблескивающими бело-крахмальными остатками размешанной картошки в пустую бадью, резко выпрямилась.

— Ну что ты меня все учишь! От кого набралась? Понятно, непонятно!.. Понятно мне все уже... давно уже все понятно и без твоих антимоний! — в захлебе выкрикнула она.

— Но если тебе все понятно, тогда зачем такую чушь несешь, — бросив быстрый взгляд на мать, заговорил неожиданно мирным, убаюкивающим голосом отец. — Хочешь сломать жизнь детям, давай и дальше болтай. Про себя я уже не говорю... И тогда не плачь, не горюй, когда рано или поздно придут. Скажешь, сейчас не сажают? Сажают — только потише и пореже. Ты просто не знаешь. У нас вон пол-Александрова политических, отсидевших и высланных за сто первый километр. За длинный язык у нас сажали и будут сажать. Так уж повелось... Понимаешь? — мягко повторил он.

— Понимаю! — недовольно и сухо отрезала на этот раз мать.

— А что касается льнозавода, то вышла тут одна директива... — повеселел отец. — Интересная директива, — заулыбался он глазами, — но для нас как никогда вовремя. — И посмотрел на меня: — Всё стоим, ушки на макушке? — Я развернулся к двери и уже на пороге услышал: — Директива очень конкретная — вывести из севооборота лен, читай — и льнозавод прикрыть... Что перерабатывать будем?! — сделал выразительную паузу отец. — А за счет посевов льна предписано расширить площади под кукурузу... Царица полей любит разма-а-ах! — насмешливо, как мне показалось, протянул он.

К маю, подработав последние снопы, льнозавод остановили. Как выяснилось, навсегда. Новый лен по весне сеять не стали, и в планах его уже не было, завод сняли с баланса. Трепальные агрегаты и разные механизмы, те, что помещались на тракторные тележки, частично вывезли в Райсельхозтехнику. Частично разобрали на нужды колхоза. Остальное растащили по дворам («пригодится») окрестные хозяйственные мужики. В церкви осталось брошенным неразбираемое гаечным ключом и неразбиваемое кувалдой, какое-то остервенело выпотрошенное, изуродованное до неузнаваемости, перекоруженное железное лохматье.

Как только церковь окончательно забросили, местами провалилась крыша. Потом как-то тихо и без «последствий» ночью сложился купол вместе с крестом. Крест под завалами не нашли. «Сведущие люди» (по словам матери) говорили, что он ушел в землю, чтобы быть явленным

на своем месте, когда вера будет возвращаться и начнут восстанавливать храмы.

Звучало это даже не как сказка, а как что-то в высшей степени наивное и лишенное всякого смысла. «Чистый Ваня-полай!» — посмеивались некоторые, когда речь заходила о таких прорицаниях. Ваня-полай был покровский дурачок, несчастный, мычащей беззлой тенью мыкающий по деревням, где его добрые люди кормили и отогревали, а злые, особенно взрослые парни, учили на потеху толпе рукоблудствовать, кричать петухом и лаять... Словом, поговорили и забыли.

Прошел еще год. К лету 1963-го дичающие стены церкви начали валить бульдозером. Пролитые без кровли до основания дождями, расплеленные морозами, растрескавшиеся, они не сразу, но все же поддавались напору бульдозерного щитка. Все, что упиралось, не падало, драли тросами в два-три трактора. Ревели в напряге машины, буксовали, сдирая кожу с земли, дергались и перестраивались на холмиках старого церковного кладбища, крошили мрамор, подминая стальными гусеницами могильные плиты, выскребывали с них имена и даты, прах оставляя на прахе.

И снова, как и с поверженной колокольни, попытались разжиться кирпичом. Какое-то время в руинах бывшего храма стучали молотками, загоняя высекающие искры зубила в белые нитки кладки, жилистые, пропахшие потом и махоркой мужики из строительной бригады. Стучали с прохладцей, особо не усердствуя. Потому что каждому давно уже стало понятно, что дело это глупое и бесполезное. Какой тут может быть кирпич, когда так клали предки, что и взрывчаткой не возьмешь? Конечно, кое-что наковыряли, больше для отчета начальству, понимая, что дело-то особое, можно сказать политическое. Несколько телег с церковным кирпичом все же отправили для опорных столбов нового телятника. Но это так, для отвода глаз... Больше сидели на прогретых солнцем каменных глыбах, крутили «козьи ножки» из газет, дымили табачком. И начинали смущенно покашливать, пересаживаться подальше, если случайно оказывались под суровыми, пронзающими взглядами праведников, проступающих неожиданно на обмахнутых ветром и омытых дождем закопченных обломках храмовых стен.

Минуло еще несколько лет. Церковные руины цепко схватил и оплел корнями хищный кустарник. Высокие, дерзкие травы подступили и взяли в кольцо холм из бесформенных красно-белых глыб спекшегося, изгрызенного металлом кирпича и перевитого крепежными балками железного хлама. Стали забираться по схваченным легким дерном склонам вслед за кустарником все выше и выше. Пока не зашевелились под ветрами буйными, нечесаными гривами вместе с ивняком и березками на самой макушке. Затем земля начала оседать. И скоро осталась на поверхности заросшая непролазным дикоросом неприметная возвышенность, ничего уже не говорящая о том, что здесь когда-то было.

...Сто десять лет простоял на земле каменный храм Покрова Пресвятой Богородицы, что на реке Богоне в селе Покров Александровского

района Владимирской области. И мог бы еще веками стоять при должной заботе людей. Как выясняется теперь, многим, очень многим он был нужен. И они, понимая, на что идут, упорно и последовательно за него боролись. Для власти, как выговаривал в разговоре с моим отцом уполномоченный из области, — упертые, опасные религиозные фанатики. Для нас сейчас — смелые, твердые в духе, по-настоящему верующие люди. Удивительные подробности этой борьбы открываются в документах, опубликованных недавно на сайте Александровского Успенского женского монастыря. Сразу же спешу выразить сердечную благодарность его современному летописцам.

История и церковь

Первая, деревянная церковь Покрова Пресвятой Богородицы на реке Богоне была построена во второй половине пятнадцатого века одновременно с возникновением села Покров близ мужского Покровского Мирзина монастыря. Под таким именем был впервые упомянут монастырь в церковных документах в 1465 году, когда Филипп, митрополит Московский, дал монастырю жалованную грамоту.

Являясь владением Московской митрополии, монастырь входил в ее Переславскую десятину — глухой, до сих пор закупоренно-заповедный край, углом врезающийся в земли нынешней Ярославской области. Примерно сорок километров, если напрямую, от села Покров до Переславля-Залесского. Но прямых дорог до него из наших краев и по сей день нет. А те, что торились в сторону Переславля как бог на душу положит, упирались на севере в обширные пространства Берендеева болота, которое приходилось либо огибать с востока, делая немалый крюк в десятки верст, либо переходить, рискуя заблудиться и сгинуть в топях, по неясным, пунктирно выставленным вешкам (отсюда существующие до сих пор деревни Большие и Малые Вески), тропами, ведомыми только местным.

В детстве мне довелось пересекать это болото. Через него мы пробирались в начале июня 1964 года с нашим учителем Николаем Владимировичем Каретиным на экскурсию в Переславль-Залесский. Походом в Переславский музей и на Плещеево озеро придумал отметить окончание Покровской начальной школы наш креативный, как сказали бы сейчас, учитель. Человек он был, действительно, нестандартный, с выдумкой, полностью отдающийся школе. Уже то, что он ходил каждый день в непогоду, дожди, пургу и морозы учить нас из села Долгополье за семь километров и ни разу не опоздал, говорило о его исключительной преданности делу. Учил он нас в третьем-четвертом классе не только арифметике и таблице умножения, грамотному письму и чтению стихов «с выражением», но и ладить забор вокруг пришкольного участка новой школы, построенной колхозом на просторной луговине между Покровом и Четвертью, сажать квадратно-гнездовым способом картошку, ходить с компасом, вырезать ножницами елочные игрушки из цветной бумаги, от-



личать полевой шпат от гранита, стрелять из мелкокалиберной винтовки, бегать на лыжах и чинить лыжные крепления, читать книги и следы зверей в лесу, вести дневник юного натуралиста... Правильно и правильному он нас учил. Спасибо ему за все. Может быть, ему будет теплее где-то там, в мире ином, от светлых и благодарных воспоминаний о нем...

И вот, когда мы окончили начальную школу, он повел нас, с десяток покровско-четвертско-шушковских детей, в таинственный, «за долами, за горами» город с названием, прямо отвечающим сказочному запеву, звучащим нежной, волшебной мелодией, — Переславль-Залесский. В дороге выяснилось, что город этот не только за «лесами», но и за болотами. И что у Николая Владимировича на другой стороне болота, на железнодорожной станции Берендеево, жили родственники, в юности он к ним часто ходил в гости и потому хорошо знал потаенные стежки-дорожки Берендеева царства.

Около двух часов кружили мы по зыбким, мягкой силиконовой упругостью отдающим под ногами тропкам, огибая по предусмотрительно вбитым кем-то колышкам пузырящиеся, страшно шевелящиеся, словно чьи-то вывернутые чрева, черные окна-провалы на лохматых темно-зеленых мшаниках; переходили по ольховым и березовым мосткам в две-три слеги, переброшенным заботливыми людьми над глубокими, блестящими, как змейки обновленной кожей, сизо-хрустальной водой ручьями среди чистых, по-весеннему еще влажно-прохладных лугов, птичьего рая вертикально встающих из ниоткуда сосновых и еловых гряд, порханья разноцветных бабочек на цветущих солнечных полянах и резко очерченных немим бездвиженьем пространств над неожиданно открывающимися перед глазами темными торфяными озерами. Николай Владимирович объяснял нам, что много лет назад Берендеево болото было огромным озером, остатки зеркала которого мы и видим, и что озеро это, по мнению ученых, было связано подземными реками с Плещеевым озером в Переславле. И что, как только стали добывать здесь торф и осушать болото, заметно обмелело и Плещеево озеро. Вот как все взаимосвязано в природе. Мы слушали жадно, для нас это было откровением. А он нам рассказывал вдогонку о таинственной Синей Бабе, языческом идоле, которому поклонялись древние насельники Берендеева царства и который, опираясь на свидетельства старейших жителей окрестных деревень, до сих пор разыскивают археологи. Рассказывал Николай Владимирович о загадочном народе торков, или черных клобуках, людях в высоких черных шапках, которых переселили сюда из южнорусских степей Юрий Долгорукий и Андрей Боголюбский, растворившихся без следа среди местных племен; об обнаруженных здесь стоянках древнего человека, которым шесть тысяч лет; о Поганой луже на окраине болота, в которой опричники Ивана Грозного топили «изменников-бояр»; о сказке про Снегурочку и Леля, которую знают теперь во всем мире, написанной известным писателем после того, как почти сто лет назад он побывал в здешних краях и наслушался местных преданий и легенд.

Так мы и шли тогда по Берендееву болоту, как по волшебному царству, среди запахов и блеска июньского цветения, тепла и раздолья, в сиянии яркого летнего дня и разгоряченного детского воображения. Рассказы учителя пробирали до самого сердца. Восторгом и счастьем были полны наши души.

Не так ли возрадовался и тот первый отшельник, чернец, что пришел в наши края и завил на высокой горе над рекой монастырское гнездо. Красивейшее, укрытое за болотами и лесами, заповедное место. Лучшего для уединенной, сокровенной молитвы не найти. Не случайно и назвал он нашу речку Богана (это затем в просторечии переходная «а» второго слога сменилась на «о» — у нас «окают» — и утвердилось «Богона»). Но на старых, дореволюционных картах она писалась «Богана» и (что особо хочется подчеркнуть) через дефис — Бога-на. То есть вот он, Бог, кругом, в земной красе, тиши, благолепии. Бога — на! Прими,пусти в сердце, растворишься в Его всеблагой любви!

Место, где стоял монастырь, до сих пор называется Поповой горой. Излюбленная площадка наших зимних забав и утех. Здесь делались трамплины, «прыжок», как мы называли сооружение из веток и твердого наста у подножия горы, с которого, разогнавшись на лыжах по крутому спуску, и надо было совершить прыжок, пролететь в воздухе несколько метров и не упасть, приземлившись. Редко кто не зарывался носом в снег после такого полета. А сколько лыж здесь было поломано! И сколько горячих детских слез на морозе было пролито от такого огорчения. Лыжи тогда берегли как особую ценность. Хорошие лыжи были предметом престижа и мальчишеской гордости. Ценились с круто загнутыми носами, крашенные, покрытые лаком и с кожаными креплениями. Тех, кто катался на самодельных (тогда еще немало было умельцев, кто и лыжи делал), — дразнили. Здесь прокладывались «повороты» с воткнутыми в снег прутьями, и нужно было промчатся с верха горы на лыжах, не задев ни одной разметки. За зиму Попова гора, особенно ее макушка («монастырская» часть), укатывалась лыжами, санками, фанерками, картонками, полами одежды так, что снег на ней отливал гляncем и днем, на солнце, и ночью, под луной. Дневной глянец был чистый, бриллиантовый, ночной — мерцающий, изумрудный. Так и осталась Попова гора в памяти — сияющей вершиной. Стояла как святой с нимбом.

В начале шестидесятых отец облюбовал ее южный теплый склон под колхозный яблоневый сад. Когда нарезали гряды для саженцев (начали с макушки и вниз к реке), плуг с широкими лемехами, налаженный на глубокую борозду, стал выворачивать на поверхность обтесанные камни-валуны, фрагменты могильных плит, битые, со следами пожара, древней формовки кирпичи. Мальчиком я их видел, сгруженные бульдозером с горы в прибрежные кусты.

Это были, как я сейчас понимаю, остатки захоронений, фундамента и каменных строений Покровского Мирзина монастыря. По ряду исторических свидетельств, монастырь был разорен в Смутное время. Ско-

рее всего, летом 1609 года. В период осады Троице-Сергиевой лавры польско-литовскими формированиями гетмана Сапеги, когда часть его отрядов была отправлена к Переславлю-Залесскому, чтобы перекрыть дороги и не пропустить помощь осажденным из Калязина, где готовилось продолжить освободительный поход на Москву войско молодого и подающего большие надежды полководца Михаила Скопина-Шуйского. Рыская по окрестностям Переславля-Залесского и Александровской слободы, занимаясь уничтожением потенциальных очагов сопротивления и грабежом, польские разъезды предали «огню и мечу» и наш монастырь.

Последняя запись о Покровской обители в писцовых книгах Переславской епархии сообщает, что в 1627—1629 годах «монастырь был пуст». «Стояла пустая, — читаем там же, — без образов Покровская церковь, и расположенное вблизи село было тоже пусто».

«Стояла пустая, без образов...» Ключевые слова здесь — «без образов». Те, кто обирал церковь, не пощадили прежде всего иконы, как зримые символы божественной природы православного храма. Иного от интернациональной шайки врагов исторической России, которая засядет со временем в Кремле, ждать не приходилось. Полное подчинение начинается с замены (или подмены) веры. Но тогда устояли...

Деревянный храм Покрова Пресвятой Богородицы в селе Покров заново отстроили в 1696 году. В конце восемнадцатого века вместо обветшавшей к тому времени церкви сладили новую, опять же деревянную. Но уже в 1831 году начали возводить на средства прихожан каменный храм. И в 1853 году его строительство было закончено. Так появилась церковь, о которой мы и ведем наш рассказ.

Люди и церковь

В 1922 году, когда в Кремле воцарилась другая интернациональная группировка ненавистников тысячелетней России, храм был подвергнут очередному разграблению. На этот раз в церковь нагрянули поживиться новые «ляхи» с мандатом комиссии по изъятию церковных ценностей, якобы «в пользу голодающих Поволжья». Сказочных богатств, правда, обнаружить не удалось. Но изъяли все серебро — «три креста серебряных, две чаши с приборами серебряные, дарохранильницу одну серебряную», прихватили зачем-то медный сосуд для благословения хлебов и бронзовое паникадило (видимо, приняли за золотые), содрали латунные (тоже с золотым блеском) ризы с икон. Раздосадованные, по всей вероятности, небогатым уловом (по инструкции искали прежде всего изделия из драгметаллов и драгоценные камни), решили «пугануть» и лишили гражданских прав священнослужителей и их семьи, а храм, точнее прихожан, обложили высокими налогами, поскольку, отделяя церковь от государства, большевики предусмотрительно оставили сами церковные здания в собственности государства, и верующим теперь приходилось заключать с государством договор «о пользовании» храмами, то есть брать их в аренду.

Так начиналось (по выражению большевистского вождя) «самое решительное и беспощадное сражение с черносотенным духовенством», читай — с Церковью. Как известно, автор этой цитаты призывал подавить вероятное сопротивление «церковников» «с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий». История Покровской церкви умалчивает о репрессиях и расправах над местными священнослужителями, но тогда куда они исчезли, если к 1929 году церковь осталась без священника?! Службу вели от раза к разу наезжающие батюшки из Александрова. Возможно, запуганные и затравленные, лишённые гражданских прав, покровские священнослужители разъехались. Но в это слабо верится. Скорее всего, были по-тихому арестованы и «разъехались» в места не столь отдалённые. «Сражение с черносотенным духовенством» для «решительного искоренения очагов религиозного дурмана» продолжалось все двадцатые годы с нарастающей жестокостью и бескомпромиссностью.

В декабре 1929 года, когда в стране завершалась сплошная коллективизация и было объявлено о «коренном переломе» в жизни деревни, включая её духовную составляющую, церковный совет Покровского храма получил извещение с требованием выплатить государству за «пользование» церковью 1 378 рублей. По тем временам это была огромная сумма. Для сравнения: в конце двадцатых годов буханка чёрного хлеба стоила 11 копеек, десяток яиц — 40 копеек, килограмм говядины — 87 копеек, литр подсолнечного масла — 52 копейки. Собрать такую сумму в сотрясаемой коллективизацией, с вывернутыми карманами деревне в установленный срок (на уплату налога отводилось три дня) прихожане не смогли. И тогда 14 февраля 1930 года председатель Покровского сельсовета Николай Колов отобрал у церковного старосты ключи от храма, запретил службу и объявил церковь «закрытой навсегда».

В тот же день «решительные действия» председателя Покровского сельсовета были «одобрены на общем собрании верующих села Покров, числом 250 человек». Следом во всех деревнях «бывшего прихода», где уже были образованы колхозы, — в Четверти, Куликовке, Числавле, Березниках и Новоселке — «дружно и в энергичном порядке» (так записано в итоговом протоколе) прошли собрания колхозников, на которых было принято единое для всех постановление: «Церковь ликвидировать и использовать для школы, колокола снять на нужды тракторизации. Ограду окурратно разобрать, кирпич распределить по ближайшим колхозам»*.

Решение общих собраний «верующих села Покров» и членов окрестных колхозов «Красная мечта», «Революция», «Красный сад» было отправлено для окончательного юридического закрепления в исполком Александровского района.

Казалось бы, дело сделано. Инициатива трудящихся с мест священна и обязательна к исполнению. Да ещё в таком важном «политическом» деле, как борьба с религией. Районному начальству оставалось только

* Здесь и далее все документы даются в их оригинальной стилистике и орфографии.



подписать бумаги. Но удивительно, из тех же низов начала неожиданно пробиваться инициатива совершенно иного толка — «храм открыть». Вопреки всему — многолетней промывке мозгов, что «бога нет», «религия — это сивуха для народа», здравому смыслу, который подсказывает, что во времена, когда кулака (твоего соседа, кума, свата, деревенского приятеля) чуть ли не в исподнем выводят на мороз из теплой избы, сажают с домо-чадцами в сани и направляют прямым ходом в сторону Соловков, лучше затаиться, тихо отсидеться, не высовываясь. И тем не менее уже в конце февраля 1930 года в Александровский райисполком поступил документ, который люди, его составившие, назвали «Уполномочие». Прочитав его полностью, поскольку именно в нем была заявлена воля людей, дерзнувших «право иметь». Осмелившихся выступить «против».

Уполномочие

Мы граждане верующие церкви села Покрова уполномочиваем из среды себя граждан Федотова Илью Осиповича, Борисова Алексея Ивановича и Буланову Марию Ивановну ходатайствовать пред органами об открытии службы в нашем храме, так как храм наш закрыт собранием в малом количестве верующих по распоряжению нашего пред сельсовета тов. Колова от 14 февраля 1930 года, в виду твердо настойчивого требования страховых платежей в количестве тысячи триста восемьдесят (1380) рублей (сумма округлена. — *А. П.*). Срок давал только 3 дня, в виду чего за неимением таких средств пришлось закрыть храм. В настоящее время подавляющим большинством голосов, именно более 500 человек, верующих просим в настоящее время храм открыть, а протокол от 14 февраля расторгнуть.

Что и подписуем члены церк. совета Королев И. В., Власов Никита Васильев, Иван Никифорович Мареев, Солодова Евдокия. За неграмотную Настасию Петрову по ея личной прозбе расписался Власов Н. Васильев.

Кто они были, эти непобоявшиеся? Имена входивших в инициативную тройку, тех, кого верующие Покровской церкви делегировали хлопотать перед властями об открытии храма, как и подписавших «Уполномочие», к сожалению, мне сегодня ничего не говорят: временной разрыв весьма значительный — от описываемых событий до моего рождения более двадцати лет. За исключением Марии Ивановны Булановой, которую я тоже никогда не видел и не знал, но имя ее нам еще встретится в «церковных» документах, и тогда прольется дополнительный свет на ее личность.

Уведомив власти о намерении бороться за открытие храма, верующие перешли к конкретным действиям. И уже 12 апреля 1930 года направили в райисполком заявление. Прочитав и этот документ полностью.

В Александровский РИК от церковного совета

Заявление

29 декабря 1929 г. получили уведомление от Госстраха на сумму 1378 р. 45 коп., но уплатить такую сумму были не в состоянии и 14 февраля 1930 г. после службы т. Колов председельсовета явился в церковь и спрашивал одновременно выплаты всей суммы, но собирать



никаким образом не разрешал и говорил определенно, чтоб закрыть церковь, т. к. не уплачиваете страховку, а потому и отобраны были ключи от церкви и верующих было совершенно не столько сколько проставлено в протоколе 250 человек — совершенно меньше, подсчету не было; и при том в то время население нашего прихода было все в колхозе, принудительно завербовано. Так и на собрании 14 февраля все они не голосовали ни за ни против, и согласно этого протокола была закрыта наша церковь. Но в настоящее время при сем представляем протоколы общества д. Числавль, Куликовка, с. Покров, которые совершенно опровергают постановление 14 февраля собрания. Колов же отобравши ключи от церкви, приспособил здание церкви под склад отобранного имущества по раскулачиванию, куда были втасканы кожи скота, и была поставлена кино машина, стояла на вытащенном жертвеннике из Алтаря. Имущество же Колов не принял по описи, а свалили все в одну кучу, притом прибил крышу в колокольне и вывесил флаг.

А посему вышеизложенному и принимая во внимание постановление ЦК ВКПб пропечатанное в газете Голос Труда от 16 марта 1930 г. за № 16 где в 7 пункте определенно говорится: Решительно прекратить практику закрытия церквей в Административном порядке и так далее; но у нас действительно получилось то самое искривление; и просим Александровский Рай. Исполнит. Комитет разрешить нам верующим служение в храме, а товар. Колова привлечь к ответственности и передаче церковного имущества верующим по описи, т. к. нам выставлено только то что мы видели, но может быть и еще что наделано неправильно, чего мы не знаем.

При сем прилагаем: списки верующих нашего прихода и протоколы деревень Числавль, Куликовка, с. Покрова.

12/IV-30 г. К сему подписуемся члены Покровского церковного совета: неграмотные Ив. Демидов, Анаст. Петрова по их личной просьбе и за себя расписался Илья Осипов, М. Буланова, А. Борисов, Евдокия Солодова, И. Антонов, И. Е. Миняев, Ив. Королев.

Интересные детали раскрывают верующие в своем заявлении. Скажем, о фальсификации числа участников общего собрания жителей села Покров 14 февраля, на котором якобы все 250 собравшихся проголосовали за «ликвидацию церкви». На деле же «подсчету не было» и люди «не голосовали ни за ни против». Попросту говоря, отмолчались. А попробуй скажи что-нибудь против, когда «все население прихода было в колхозе, принудительно завербовано». Читай, принудительно согнанное в колхоз жесткими, нацеленными на «безоговорочный успех» коллективизации действиями власти, уже не раз к тому времени наглядно показавшей, как она умеет приводить в чувство несогласных. Попробуй тут дернись, да еще на общем собрании, когда ведется протокол, фиксирующий, кто что сказал, и от которого до ордера на арест или постановления на высылку всего один шаг. Но молчание русского человека не всегда знак согласия.

Много любопытного открывается в подробностях того, как председатель сельсовета Колов распорядился закрытой церковью. Устроил в храме склад отобранного у раскулаченных имущества, в частности, были «втасканы кожи скота». Тот, кто хоть раз вдыхал «ароматы» содранных, но не выделанных шкур животных, поймет, с какою целью они были за-

несены в храм Божий. Воскурили святошам, так сказать, «заслуженный» ими «фимиами». То-то смеху было у «воинствующих безбожников» где-нибудь в Александрове! Скажете, фантазии, плод не в меру разыгравшегося «разоблачительного» воображения. Но тогда зачем нужно было ставить кинопроектор на вынесенный из алтаря жертвенник? Ответ тут напрашивается только один — таинства веры (долой поповскую мистику!) символически, но опять же глумливо попирались «зримыми образцами достижений человеческого прогресса, науки и техники». Вряд ли до этого мог дойти своим разумением председатель Покровского сельсовета, молодой тогда простой деревенский парень Николай Колов (вот его я хорошо запомнил, в пятидесятые-шестидесятые годы он долго работал с моим отцом). В таких «антипоповских ходах» проглядывают «заготовки» куда более изоциренных умов властной антитрадиционалистской сплотки, инструкции которых методично доводились на политзанятиях и семинарах по борьбе с религией до Коловых, Ивановых, Петровых. Но вот полную большевистской решительности и русской безоглядности самостоятельность Николай Колов, думается, проявил, когда ломом пробивал кровлю колокольни и вывешивал над ней красный флаг. Тот самый, полуистлевшие остатки которого были обнаружены в поломанных, исковерканных руинах поверженной колокольни летом 1960 года.

Прилагаемые к заявлению протоколы собраний верующих Покровского прихода и удачная политическая конъюнктура в стране, когда власть, напуганная ростом крестьянских выступлений, вынуждена была начать исправлять «левацкие загибы» и «искривления партийной линии в колхозном движении», смягчая одновременно антицерковную политику, вплоть до запрета огульной ликвидации храмов, — сыграли свою роль. И в сентябре 1930 года Покровская церковь была снова открыта. Но та деятельная, «недреманная» корпорация во власти не оправдала бы своего назначения, если бы перестала орудовать своими темными приемами, даже когда принуждалась делать что-то навстречу извечным желаниям человека. Вынужденно уступая, она не преминула замутить (так делалось повсеместно) чистый источник, казуистическими уговорами склонив прихожан зарегистрировать церковную общину как обновленческую. В храме стали служить на тот период более близкие власти священники-обновленцы.

Через год, когда было окончательно преодолено «головокружение от успехов» и начала забываться «борьба с искривлениями в колхозном движении», а число массовых выступлений крестьянства, в том числе и «на религиозной почве», пошло на убыль, власть, облегченно выдохнув, снова решительно взяла осмелевших «черносотенцев и кулацких недобитков» под уздцы. В 1931 году за «враждебные вымыслы против советской власти и контрреволюционную пропаганду» была арестована уроженка села Покров, послушница Успенского женского монастыря в Александрове (закрыт в 1923 году), председатель церковного совета Покровского храма Мария Ивановна Буланова. Об этом рассказывается на сайте

ныне возрожденного монастыря. После трехлетней ссылки в Казахстан она вернется в Покров и снова включится в борьбу за родную церковь. В 1942 году ее, уже как «участницу контрреволюционной группы церковников “Братство тайного монашества” и распространительницу провокационных слухов», заберут снова и приговорят к расстрелу. Высшая мера будет заменена потом десятью годами лагерей. После чего имя Марии Ивановны Булановой в хрониках Покровского храма уже не встречается. Где закончила свой высокий и тернистый путь на земле наша покровская «боярыня Морозова», неизвестно.

Дальше — больше. В 1932 году пришла «пяtilетка безбожия». Стальным частым гребнем прошлась она по рядам «затаившихся попов-мракобесов». Начали попадать под раздачу и священнослужители-обновленцы, многие из которых к началу тридцатых годов стали отказываться от своих сомнительных нововведений, признали необходимость блюсти традиции православия, вернулись к службе на церковнославянском языке, стирая тем самым различия между обновленчеством и патриаршей церковью. И что самое страшное — ряд молодых священников-обновленцев осмелился открыто бунтовать против отводимой им роли «раскольников в лоне РПЦ» и отказываться от сотрудничества с «секретными службами». А раз так, то шагать и вам с остальными «толстобрюхими» по этапу! История умалчивает, были ли среди священнослужителей-обновленцев Покровской церкви дерзнувшие нарушить «правила игры», только в 1934 году храм был снова закрыт «из-за отсутствия священников». Такое «отсутствие» в те времена обычно заканчивалось «присутствием» где-нибудь на Кольме.

В том же году местные власти, по примеру московских, запретили колокольный звон, с церкви были сброшены и «отправлены на переплавку» все колокола. Когда без службы и благовеста храм окончательно онемел и снова «стал пуст», власти решили, что дело сделано, и временно отошли в сторону, прикидывая, как окончательно распорядиться церковным зданием. Но верующие опередили, они создали «церковную двадцатку» и взяли на себя обязательства отвечать за юридическое и материальное существование храма. Исправно платили налоги, следили за порядком в помещении, оберегали иконы, утварь, церковные книги, производили текущий ремонт. Горстка храбрецов, которая не убоялась публично («двадцатка» регистрировалась в райисполкоме) выступить за то, за что по головке в те времена не то что не гладили, а рубили сплеча со всей классовой ненавистью и беспощадностью. «Церковные двадцатки» нередко забирались тогда как «контрреволюционные, клерикально-фашистские заговорщические организации» полным составом. Членов Покровской «двадцатки», слава богу, чаша сия миновала. Старательно и достойно, без лишних слов, ухаживали за храмом, блюли, содержали в порядке «до востребования».

«Востребование» случилось в годы войны, когда атеистическая власть, сотрясенная масштабами и глубиной развернувшейся перед Рос-

сией пропасти, уже к осени 1941 года осознала, что без Бога вторгшуюся силу не одолеешь. Чудесные превращения рыхлой породы в алмаз, Савла в Павла. К этому, безусловно, можно приложить и то, что на оккупированных территориях немцы реставрировали и открывали храмы, создавая иллюзию освободительной войны от «иудео-большевистского ига», нейтрализуя тем самым народное сопротивление. Возникла необходимость продуманных встречных ходов. На кону стояла судьба государства. Трудно было не заметить властям и полного мужества и патриотического благородства поведения оставшихся нетронутыми пастырей Церкви, призвавших в первые же дни войны православный народ встать, как встарь, на защиту Отечества. Все это так, и все правильно. Но главный пункт в неожиданном развороте взаимоотношений государства и Церкви с началом войны представляется в открывшемся вождю (в юности готовому стать священником) смысле, что зверь пожаловал необычный — невиданный доселе inferнальный людоед из преисподней. И что без креста и воли Божьей его не одолеешь.

Поэтому уже осенью 1941-го был тихо прикрыт «Союз воинствующих безбожников», со страниц газет исчезли богохульные писания, среди молящихся в храмах появились красноармейцы. В пасхальную ночь 1942 года в Москве был отменен комендантский час и верующим разрешили проводить крестные ходы.

Молва о неслыханных послаблениях властей быстро распространилась в народе. Думается, была она воспринята многими со вздохом облегчения и самыми светлыми надеждами. А в наших краях — однозначно как сигнал к «востребованию» Покровского храма. Именно в 1942 году верующие села снова подняли голос об открытии родной церкви. Снова пошли письма и ходатайства в райисполком, облисполком, а годом позже — в Москву, в Совет по делам Русской православной церкви при Совнаркоме СССР. Уполномоченные от «двадцатки» записывались на прием к председателю Совета по делам РПЦ Г. Г. Карпову. Отправляли ходоков к самому Михаилу Ивановичу Калинин. Если встречали отказ, рук не опускали, все начинали сначала — писали, обивали пороги начальственных кабинетов, доказывали свою правоту. «Не оставим этого дела до самой своей смерти» — было обещано в одном из писем-прошений. По некоторым данным, эти слова принадлежат Марии Ивановне Булановой и сказаны накануне повторного ареста в 1942 году. И что интересно, верующие добились своего. Об этом они достаточно подробно рассказывают в письме-ходатайстве от 27 сентября 1948 года председателю Владимирского облисполкома.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
 ТРУДЯЩИХСЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
 Тов. БРАНДТ

От группы верующих церкви села Покрова того же с/совета Александровского района Владимирской области

ХОДАТАЙСТВО (вторичное)

Обращаемся к Вам, тов. Брандт, с покорнейшей просьбой оказать свое содействие по ускорению открытия церкви в селе Покрове Владимирской обл.

Наши ходатайства об открытии церкви начались еще задолго до возникновения Совета по делам русской православной церкви и продолжают до сих пор. Причина этого заключается в том, что в радиусе от 30—40 километров от нас нет ни одной действующей церкви. Десятки храмов, бывшие в тех местах, закрыты, здания их пришли или приведены в негодность и не могут быть использованы по их прямому назначению.

Масса верующих, лишившись возможности удовлетворить свои религиозные потребности, совершать необходимые обряды и поддерживать веру наших отцов, создавших мощь и славу нашей родины. Мы лишены права всенародно помянуть своих отцов и в особенности сыновей и братьев, павших на поле брани за дорогую родину.

Мы не можем по обряду нашей церкви крестить своих детей и внуков, лишены возможности отдавать последний долг умирающим близким людям, приготовить их к смерти и похоронить по обряду нашей церкви. Этим пользуются всякого рода проходимцы, которые по просьбе верующих совершают обряды в искаженном виде, в кадках и ушатах крестят детей, а другие обливают водой только, сея ересь и недовольство населения.

В виду этого верующие еще во время войны с немцами начали ходатайствовать об открытии своей церкви перед районом, перед Облсполкомом, которые не отказывая в этом, не решали вопроса в положительном смысле.

Дело доходило до тов. Калинина и его заместителя, которые дали разрешение на открытие нашего храма, что было оглашено и зачитано Президиуму церковного совета председателем Райисполкома тов. Козиным и ряд других с ним уполномоченных, которые приехавши по уборочной хлебной кампании в село Покров того же с/совета.

Однако предложено было прежде произвести технический осмотр здания церкви. А также предложено по акту описи церковной проверить все церковное имущество и отсюда началась волокита. В то же время все церковное имущество было проверено Председателем с/совета Сергеевым Степаном Матвеевичем с другими уполномоченными с/совета совместно с церковным советом, при чем оказалось все налицо.

Техосмотр через техника Райисполкома Поварова Ивана Федоровича был произведен, здание церкви признано в полной исправности.

Получено было благословение Патриарха на служение в церкви, стало за назначением священника.

В то время все церковные дела перешли в руководство нового правительственного органа — Совета по делам церкви при СНК и уполномоченных его при Облсполкоме. Это затормозило открытие нашей церкви, т. к. наше дело перешло в новые органы и предложили заново оформить там.

Открытие нашей церкви не состоялось, и с тех пор мы неустанно ходим и хлопочем о своем деле.

В настоящее время это дело находится во Владимирском Облсполкоме в руках уполномоченного по церковным делам т. ТУПИКОВА, который хорошо принял нас, не отказывает нам, обещает выехать, но прошел год, а мы этого не дождались.

Здание нашего храма в полной исправности, кроме части побитых стекол. Церковная утварь, иконы, иконостасы и живопись вся в полной

исправности, алтарная принадлежность, облачение и служебники все в порядке. Ключи от церкви все время находились в церковном Совете, двадцатки регистрировались и по сие время оформлены. Все налоги, обложение и страховку непрерывно ежегодно уплачивались аккуратно, а также за 1948 год уплочено. Храм наш ничем не был занят и по сие время свободный.

Уполномоченный нашей общины ежемесячно посещает Облисполком и раньше, и в 1948 г. были 12 января, 12 февраля, 24 марта, 20 апреля... 12 июня, 24 июня, а 29-го июня — 48 г. были на приеме при Совете Министерства у секретаря т. Карпова. Кроме того, в адрес Облисполкома к председателю и уполномоченному посылались заказные и простые письма с просьбой об ускорении, но никакого положительного ответа на них не получали, а также был запрос послан Александровским Райисполкомом по ходатайству об открытии церкви уполномоченному Облисполкома т. Сергиевскому 12/Х — 46 г., и на это ответа не получено.

Такая волокита тянется восьмой год.

В Священном Синоде наша церковь считается открытой.

Ввиду этого убедительно просим мы, Вас, т. Брандт, окажите помощь православному народу, распорядитесь в срочном порядке оформить открытие нашей церкви.

К сему подписуется православный народ:

Председатель церковного совета: Сазонов Н. Д.

Заместитель председателя церковного совета: Барашева

Староста церковный: Виноградов

Заместитель церковного старосты: Долгушина Ольга В.

Казначей: М. Буланов

Председатель ревизионной комиссии: Борисов А. И.

Заместитель председателя ревизионной комиссии: Сорокин

Члены ревизионной комиссии: Смирнов И. М.

Члены церковного совета: Блинова А. К.

Заместитель членов церковного совета: Сергеев А.

Заместитель членов ревизионной комиссии: Борисов

Члены двадцатки церковного совета, работающих в колхозах в возрасте от 30 до 65 лет: Демидова, Буланова, Афонасьева, Ильина М. Ф., П. Ильин, Федоров Я. М., Блинова, Блинов, Смирнова, Иудин, Баранова В., Емельянова, Титов Петр Ник., Сергеева Мария И., Долгушина Татьяна Кузьминична, Самолетников Димитрий Мартьянов., Баранова А., Баранова Т. С., Субботин П. И. и другие (45 подписей).

Итак, судя по письму, разрешение на открытие Покровской церкви было получено после обращения к «всероссийскому старосте» М. И. Калинин у где-то в августе — начале сентября 1943 года. Его зачитал церковному совету председатель Александровского райисполкома Козин в присутствии «других с ним уполномоченных, которые приехавши по уборочной хлебной кампании в село Покров». Уборка хлебов в наших местах приходилась (ныне в родных краях не осталось ни одного возделанного поля) обычно на август — первую половину сентября. Последовало потом, пишут верующие, «благословение Патриарха на служение в церкви». Патриаршество в Русской православной церкви, как известно, было восстановлено — после восемнадцатилетнего запрета — 8 сентября 1943

года, когда решением Поместного собора митрополит Сергей (Страгородский) был провозглашен Патриархом Московским и всея Руси.

Я не случайно заостряю внимание читателей на дате «высочайшего повеления» об открытии Покровской церкви. Осень 1943 года — это время, когда уже выиграны Сталинград и Курск, когда подрубленный враг начинает проседать, пятиться и впереди у нас только успех, победное наступление. Можно перевести дух, оглядеться, в частности, с «попами» установить правила игры. Они нужны, они не помешают, война еще идет, и Бог только ведает, когда она закончится, но требуется снова внести ясность, кто «в доме хозяин» и «распорядитель душ», выстроить такие отношения, чтобы не заигрывались и знали свое место. Ленинские директивы, как бороться с «опиумом для народа», еще никто не отменял. И так пошли навстречу, дали вынужденную слабину в отношениях с «длинногривыми и долгополыми». А потому вслед за возвращением Патриаршества уже 14 сентября 1943 года (не прошло и недели) был создан надзорный, контролирующий деятельность церкви Совет по делам РПЦ при Совнарком. В его ведение перешел и возникший «сам собой» вопрос открытия новых приходов. Все укладывалось в самую простую логическую схему: разрешили молиться за спасение Родины, разрешите для этого и церкви открывать. Не разрешили. Сдавать позиции «ленинский орден богоборцев» в верховной власти не собирался. Уже в ноябре 1943 года последовало специальное постановление СНК СССР «О порядке открытия церквей». По которому массового открытия приходов не предусматривалось. На местах количество действующих храмов строго регламентировалось. Новых приходов в достаточном числе, как того желали верующие, не предполагалось.

Поэтому и увязло дело с открытием церкви в нашем Покрове в бесконечных согласованиях «технического состояния» храма, перерегистрациях, бесплодной переписке с чиновниками, изнурительных хождениях по высокому начальственным кабинетам. Годами тянулась бюрократическая волянка. И это тогда, когда было получено разрешение от «самых верхов», когда на служение в церкви благословил Патриарх, а в Священном синоде храм считали открытым. Власть тянула время, «брала на измор», проявляла в бюрократической волоките редкую изворотливость, вязкую невнятность в ответах, лукавую расплывчатость в обещаниях. Верующие, наоборот, являли прямоту, определенность намерений, внятность и открытость действий.

Среди подписавших письмо я обнаружил не только людей, чьи фамилии так или иначе были на слуху с детства, но и тех, кого уже знал лично, с кем соприкасался в деревенской жизни и кого помню до сих пор. Назову их поименно. Это заместитель церковного старосты *Ольга Васильевна Долгушина*, церковный казначей *Иван Кузьмич Буланов* (родственник М. И. Булановой), член церковной двадцатки *Татьяна Кузьминична Долгушина*, в замужестве Иудина. Запомним эти имена. Мы к ним еще вернемся.

Последнее письмо-ходатайство (среди опубликованных на сайте Успенского женского монастыря в Александрове; теперь-то мы знаем: оно было не последним) было отправлено покровскими верующими во властные инстанции 17 ноября 1949 года. Будем считать, что своей последовательностью, упорным повторением просьб оно переполнило чашу терпения наверху. Поэтому приведем это обращение тоже полностью.

УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ДЕЛАМ РУССКОЙ
 ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
 Тов. ТУПИКОВУ Константину Михайловичу

От группы верующих и от двадцатки церкви села Покрова того же
 сельсовета Александровского р-она Владимирской области.

ХОДАТАЙСТВО

Обращаемся к Вам с покорнейшей просьбой, Константин Михайлович и также ко всему Президиуму Обл. Исполкома дать разрешение на открытие церкви в селе Покрове того же с/совета Александровского р-она Владимирской области, так как много раз обращались ранее с просьбой и с подписью рук верующих, а также и от двадцатки было заявление в мае мес. 1949 г. И до сего времени дело умалчивается по неизвестным причинам.

Но все же мы верующие имеем надежду на Ваше разрешение.

Причем и поддерживаем свой храм в необходимом текущем ремонте, как ветром срывалась крыша много раз, а также от хулиганских поступков поврежденных окон и дверей и уборкой внутренности храма, а также непрерывно с давних времен нами уплачивались все налоги за храм полностью до 1949 года и имеем обиход до сего времени и сохраняем все имущество церковное.

Причем прилагаем к ходатайству две фото-карточки нашего храма, которые сфотографированы 10 августа 1949 г.

Кроме того был тех. осмотр из Райисполкома тов. Поваров в 1944 году признал храм годным, документ есть в деле.

Посему мы, верующие и от лица двадцатки, чрез своего уполномоченного Долгушина обращаемся ко всему Президиуму с просьбой не отказать в открытии нашего храма.

Уполномоченный Долгушин Г. А.

«Уполномоченный Долгушин Г. А.»... Прежде всего я с удовольствием отмечу, что хорошо помню нашего соседа в Четверти *Григория Александровича Долгушина*, мужа Ольги Васильевны Долгушиной, заместителя старосты Покровского храма. О нем я тоже постараюсь еще рассказать подробнее. А пока с огромной долей вероятности (на основании всегда верных детских впечатлений) могу предположить, что был он уполномоченным дельным, ответственным и настойчивым. Косвенно это подтверждают в предыдущем письме и сами верующие: «Уполномоченный нашей общины ежемесячно посещает Облисполком... а 29-го июня — 48 г. были на приеме при Совете Министерства у секретаря т. Карпова». Можно представить, как он и верующие из Покрова «достали» начальство.

В 1949 году «караул устал». Решением Александровского райисполкома церковь окончательно закрыли и передали местному колхозу «Красная мечта» под зерновой склад. Церковное имущество и утварь отправили в район, в действующий Троицкий собор.

Иконы не тронули, оставили в храме (видимо, посчитали не представляющими ценности). Иконостас, как я уже говорил, оставался цел и невредим вплоть до пуска льнозавода. Так храм в очередной раз стал «пуст», но с образами. А с образами Божьими храм, даже «пустующий», без службы, остается храмом Божьим. Думается, это хорошо понимали покровские верующие, если продолжали негласно приглядывать за церковью. Она до льнозавода стояла и внешне, и внутренне вполне ухоженной и прибранной. И когда в хрущевский богоборческий замах встала угроза ее физического уничтожения (сотни храмов, подобных нашему, подверглись тогда тотальному разрушению), покровские верующие (напуганные, думаю, обрушением колокольни) предприняли последнюю попытку спасти любимый храм. Это было уже, напомним, в 1960 году.

Я спрашивал потом отца, в семидесятых, будучи уже студентом, прочитавшим «Черные доски» Солоухина (и загоревшимся идеей спасти погибающую древнерусскую культуру), кто подписал то письмо в область, которое взбеленило власть чуть ли не до принятия особого решения по нашей церкви. Отец недоволено морщился, начинал хмуро посматривать в сторону, всем своим видом показывая, что это не моего ума дело и лучше мне в эту «политически щекотливую» историю не соваться. Зачем знать то, что может помешать, а то и навредить в жизни? Только один раз на мои очередные приставания «кто да кто?» у него как-то против воли вырвалось: «Да все те же — Булановы, Долгушины... Они тут с двадцатых за церковь воевали. Как их только не пересажали?!» С той последней бумагой из Покрова областному начальству я вряд ли когда ознакомлюсь. Где, в каких архивных папках она осела — теперь уже невозможно сыскать. Поэтому свидетельство отца, что подписали последнее ходатайство все те же «Булановы, Долгушины», как говорится, дорогого стоит. Выходит, стояли люди до конца. Убежденные в своей правоте. Верующие.

Какими я запомнил тех из них, с кем сводила жизнь в детском и подростковом возрасте, когда мы жили в Четверти? Именно в детском и подростковом возрасте, поскольку потом, в период укрупнения колхозов, отца назначили директором объединенного хозяйства — совхоза с центром в селе Годуново, куда наша семья и переехала в начале семидесятых. К тому времени я уже учился в институте в Москве. На малой родине бывал не часто, если только в каникулы с отцом, когда тот наведывался по делам в Четверть и Покров. Близкая связь с земляками была прервана. Судьбы и образы многих людей остались до конца не проясненными, размыто-контурными, «усвоенными» не столько разумом, сколько еще не окрепшей душой начинающего жизнь человека. Поэтому доосваивать



и допонимать многое из той жизни, складывать «картинки детства» во что-то завершённое приходится только сейчас. В молодости человека захватывает будущее, с возрастом подчиняет и диктует ему свою волю прошлое. И ещё вопрос — чем человеку интереснее жить.

Верующие. Григорий и Ольга Долгушины

Старый, летом в горьких тенях черемух и прохладной чистоте шелковых трав, зимой с обточенными выюгами до овального совершенства снежными террасами овраг в эти времена года был красив и полезен. Летом давал много первосортного, особо ценимого в деревне сена, воду для полива огородов из топкого бочажка, который ежегодно углубляли и расширяли лопатами те, кто жил поближе. Из него же с тихим усердием пробивал дорогу к речке по дну оврага ручеек с ноготок. В нем любили купаться и забирать грязь для своих воздушных, лепких мазанок под крышами изб ласточки. Зимой седловина оврага, как цветочная ваза, пестрела и волновалась детворой. Здесь устраивались ватажные, шумно-сутолочные катания на санках.

Весной и осенью овраг, разрезавший деревню ровно пополам, становился сущим наказанием для жителей.

В начале апреля его верховья, уходящие на задворках в заболоченные луга, начинали исподволь наливать тяжелой, холодной энергией тающего снега. Ее ледяное кипение быстро плавило снег, образуя темно-вишневое, настоянное на прошлогодних травах, озеро. Вода в озере на глазах прибывала и поднималась и, набрав силы, выбрасывалась на слежавшийся наст в овраге, пробивала его своей жестокой силой и с шипением несла липкой, рыхлой шугой вниз по оврагу к мосту у самой реки. Забив мостовую горловину снежной кашей, поток перебрасывался через деревянный настил, несколько дней хлестал через край, рыл промоины у моста, которые к концу паводка становились непроезжими и непроходимыми. В памяти остался застрявший во рву перед мостом с задранной к небу тупым передком «Фордзон-Путиловец» (по штампованным литерам «ФП» на радиаторе трактористы звали его «Федор Петрович»), зарывшийся в грязь до рычагов, долго и цепко (на задних колесах у него были металлические шипы), железным упертым кротом, до последней капли керосина в баке, безуспешно пытавшийся пробиться из ямы. Его выдергивали потом и тащили заляпанным грязью полумертвым болотным чудищем на тросах в мастерскую двумя дизелями.

Дело кончалось тем, что овраг, как гиблое место, начинали объезжать верхней дорогой по лугам за деревней.

Осенью, в период дождей, картина повторялась.

И тогда у моста с топориком и лопатой в руках появлялся Григорий Александрович Долгушин — высокий сухопарый старик с чахленькой седенькой бородкой, в картузе из какой-то другой жизни, которых уже ни-

кто не носил. Что-то распевая вполголоса, начинал рыть канавки, спуская грязную жижу из ям, валить топором ольшаник у реки. Толстые стволы ольхи рубил на короткие слеги, из веток делал фашины, перевязывая их гибко-послушными ивовыми прутьями. Затем все это перетаскивалось к мосту, укладывалось в промоины и колеи. Слой слега, слой фашин, пересыпанные песком и галькой из речных вымоин. Песок и гальку носил ведрами снизу от реки по крутой тропинке. Нелегкий, скажем так, труд. С учетом того, что было работнику тогда уже прилично за шестьдесят. В таком возрасте редкий русский еще в силе, без болезней, «калечий и увечий», как говаривала моя мать, склонная к фигурам речи по-народному изобретательным и рифмованным.

А Долгушин-дед, так его звали дети в деревне, продолжал еще долго возиться у моста. Заровняв ямы, сооружал (до очередного паводка) из бросовых горбылей, которые опять же перетаскивал на себе от пилорамы километра за полтора, пешеходный мостик через ручей, выкладывал от него камнями-голышами дорожку по низине до сухой тропинки вдоль деревни. Я недавно был на родине, долгушинский тротуар еще нащупывается ногой, проглядывает реликтивно съезжившейся, серой спиной сквозь жесткую проволоку одичавшей без человека травы.

Жил Долгушин-дед через двор от оврага, на горке, в самом заметном доме в деревне. На метровом каменном фундаменте, с теплым прирубом — летней половиной, дом был высок, строен, просторен. Но не этим он разительно выделялся из длинного, почти километрового ряда деревенских изб. В деревне было достаточно богатых, с размахом и на совесть сработанных домов. Солдатовы, Сергеевы, Самолетниковы имели не хуже хоромы. Но на них не сворачивали шеи из окон машин проезжающие впервые по деревне. На долгушинский дом пялились, не скрывая восторга и удивления, как на редкое по красоте явление природы или как на архитектурный шедевр. Помню легковушку с музыкой из радиоприемника, с веселыми молодыми лицами в кабине, пропылившую в сторону большого села Долгополье, но через какое-то время, словно что-то потеряв, быстро и вертко вернувшуюся задним ходом к дому Долгушина-деда. Я стоял в тот момент на лужайке между нашим домом и долгушинским — мы были соседями. Из машины, поставив на землю с редким женским изяществом плотно сомкнутые оголенные ноги, вынырнула девушка в узких коротких брючках чуть ниже колен, в диковинной, с многочисленными кармашками и погончиками рубашке пустынно-песочного цвета, с болтающимся на шее фотоаппаратом.

— Мальчик, — дружелюбно заиграла она в мою сторону зелеными глазами, привычно отщелкивая длинными пальчиками кнопки футляра, — ты в этом тереме живешь? — мотнула узким подбородком в сторону долгушинского дома, прицеливаясь объективом. — Чуть-чуть в сторону, — показала рукой, куда мне передвинуться. Я нехотя, но с тайным удовольствием повиновался — девушка была красивая и с другой планеты. И в странном предчувствии недостижимости женщины-идеала ворох-

нулась душа. — Не слышу ответа, — сказала она, быстро перезаряжая и с плавным шорохом выстреливая затвором фотокамеры.

— Нет... это не наш дом, — невнятно ответил я, с трудом подавляя желание прихвастнуть, не решаясь в то же время и признаться, что живу по соседству, в горбатой, с переломившейся крышей, халупе, с нищенски промазанными глиной стенами, отъехавшим в сторону, хромо просевшим на подгнивших пеньках крылечком.

— Жаль... — догадливо посмотрела девушка на меня и на наш дом. — Такой милый мальчик с есенинскими глазами должен непременно жить в этом сказочном тереме... — ткнула указательным пальчиком в сторону долгушинской хоромины. — Дом, точно терем расписной, лиловый, золотой, багряный... Нет, Бунина так переиначивать нельзя, — сделала она наигранно-строгое лицо. — Хотя в этом что-то есть, надо запомнить, как подпись к снимку... А ты читал Бунина? — Она шагнула к долгушинскому дому с фотоаппаратом навскидку, взъерошив рукой по ходу мне волосы. Прикосновение ее руки было счастьем, но я диковатым стригунком увернулся. — Бунина ты не читал, что объяснимо — его с базара народ еще не понес... По-бунински ты впечатлителен, эмоционален и застенчив, как герой «Митиной любви», — говорила она быстро и малопонятно, делая с близкого расстояния снимки пышных фигурных наличников и фронтона с кружевными подзорами. — Ты местный, родился и вырос здесь? — спросила как бы между прочим, скороговоркой. На мой утвердительный ответ на мгновение задумалась: — Рядом с такой красотой Бунина можно знать, не читая...

Договорить ей не дали. Из машины капризно и нестройно позвали: «Ева!» Теперь я знал ее имя, звучащее как-то особенно выпукло и восхищающее в оторванности от привычного, слитного «Адам и Ева». Теплое и ласковое, вневременное, оно оставило первую «библейскую» зарубку на сердце... Девушка заторопилась, спросила, как зовут меня и как называется наша деревня. Пообещала прислать фотографии к осени.

Удивительно, но я каждую осень вспоминаю об этом и чего-то жду. Особенно когда, оставаясь в деревне до холодов, в ясные сентябрьские деньки перечитываю, пригревшись на солнце, за столиком в саду под шорох листопада Бунина. В который раз: «Лес, точно терем расписной, лиловый, золотой, багряный...» И слышу: «Дом, точно терем расписной...»

...В последних числах мая, управившись с огородом, Долгушин-дед отправлялся в Москву, где у него жили сын Петр и дочь Павлина. Отсутствовал он обычно с неделю, не больше. А затем появлялся многотрудным странником, горбато и разлаписто увешанный сумками и котомками на перевязи. Отмерив пятнадцать верст по полевым дорогам от села Андреевского, куда уже ходил рейсовый автобус из города, взбираясь тяжело нагруженным, усталым в горку от реки к своему дому, он, если случалось встретить нас, деревенскую детвору, находил силы сбросить одну из котомок с плеча, распустить ей горло и, покопавшись в матерчатой утробе среди кульков и мешочков, одарить каждого с неизменной улыбкой — «на

доброе здоровьице, вьюнош (или вьюница)!» — московским гостинчиком. Обычно это были сушки или ванильные сухарики с маком. Редкое для нас, деревенских, лакомство. Помню их по сей день на вкус и запах. Отдавали они слегка масляной краской и свежим хвойным духом скипидара. «С чем понесешься, того и наберешься», — шутила в таких случаях мать, когда я показывал ей гостинцы Долгушина-деда.

На следующий день купленная в Москве краска десятком разнокалиберных банок с промасленными, трудно читаемыми этикетками выставлялась на брошенную перед домом широкую доску. Доска цветисто рябила многолетними пробными мазками краски. Приносились кисти в ведре — тупомордые и круглые, как пушечные банники; густые и лопатой, как боярские бороды; тонкие и каплевидные, как стрелы. Кисти со следами заскорузлой прошлогодней краски старательно отмачивались и промывались в скипидаре. Все делал Долгушин-дед с распевами-мурлыканьем в бородку, в такт, ловко и споро. Затем подтаскивалась со двора лестница в старых, высохших брызгах краски, как в птичьем помете, вставлялась для прочности в отрытые ямки, заводилась подрагивающей вертикалью на фронтон. Наконец топориком мягко вскрывались крышки на банках с краской, отбиралась нужная по цвету, перемешивалась лучинкой с добавлением того же скипидара, и Долгушин-дед, облачившись масонисто в кожаный фартук, с кистью в руке и прижатой к груди банкой начинал, как бывалый мастер по росписи храма, осторожно взбираться по лестнице под самый конек — «купол» дома, где ждали обновления полинявшие от дождей и снегов «деревянные фрески».

— Ты там по-тихонькому, по-тихонькому... не брыкай, без рысачества, — крестила снизу Долгушина-деда его жена, Ольга Васильевна, баба Оля, задирая вслед за восхождением мужа вверх по лестнице бледнеющее от напряжения, теряющее румянец лицо с разгорающимися синевой в цвет с небом глазами.

Дед слушался свою бабуку, замедлял движение, осмотрительнее ставил ноги на перекладыны лестницы, чутко замирал на полусогнутых, сливаясь с ее опасной, вибрирующей дрожью. Но, поднявшись наверх, изловчившись в устойчивой позе, делая первый мазок, уже сердитым голосом приказывал жене заняться чем-нибудь своим. Серьезную работу он, как всякий серьезный мастер, предпочитал делать в одиночестве и без отвлечений. Баба Оля тоже слушалась своего деда и внешне безропотно, но с протестной порывистостью одергивая неизменную зимой и летом старорежимную атласную душегрейку, маленькая и круглая, уточкой утекала в дом. Чтобы оттуда, щелкой приоткрыв окно, продолжать присматривать за дедом. Дед замечал уловку жены, посмеиваясь, прибавлял в голосе с распевами, проворнее шуршал кисточкой по сухим доскам фронтона. И так доска за доской, полоска за полоской, завиток за завитком на наличниках и подзорах разными красками, с подбором цвета «в лад», с частым «рассудительным» оглядом снизу, с земли, — пока за два-три дня дом не превращался в «терем расписной».

Баба Оля называла меня «крестничком», при встрече любила потискать, приласкать, расцеловать в щеки, заглядывая смешливо в глаза: «Ну, держитесь, девки, скоро подрасту!» Уводила в дом, где снимала с полки над кухонным столом скрипучий, крупного лыка, туюсок с лесными орешками, насыпала стаканчик-другой мне в кармашек. Орешки были каленые, ядрышки чистые, упористые, с послевкусием тонким и долгим... Старушка, я это всем сердцем чувствовал, меня любила, нежила. Чувства ее были объяснимы — она принимала меня на свет. В середине апреля, когда я родился, наши ручьи и речушки так разлились, разыгрались, что везти мою матушку куда-то в роддом, в Андреевское, где была участковая больница, или в город, увы, не представлялось возможным. Баба Оля толк в повивальном деле знала и, пока поспешал рано утром из Покрова фельдшер принимать роды у председательши, все уже сделала. И судя по всему — вот сижу сейчас, пишу, вспоминаю, — очень неплохо. Она даже успела взвесить меня на каком-то старинном безмене. «Под двенадцать фунтов потянул, большой! — рассказывала мне потом не раз мать. И всегда добавляла: — Крупный родился... И как хорошо все получилось, я и не чаяла... Легкая рука была у тети Оли — царствие ей небесное! Фельшер потом все дивился — какие бабки бывают, не училась нигде, а управилась не хуже акушерки какой».

И совсем прерывистые, но яркие в деталях по сию пору фитильки памяти откуда-то из самого раннего детства. Прыгающий красный свет керосиновой лампы на столе, черные, горами ходящие по стенам тени людей. Возбужденный отец, ладный, еще тонкий в талии, контурно обложенной высоким поясом армейских галифе, в светлой рубашке с темными пятнами пота под мышками, нервно отбрасывающий пятерней волосы назад. На широкой скамье вдоль передней стены за столом у огня, закрыв лицо руками, рыдает мать. «Не три, только не три глаза!» — отнимает руки матери от лица отец. Лицо матери в ссадинах и мелких порезах. Слезы текут по щекам, смешиваясь с кровью. Не помню, как появилась баба Оля, во что была одета... Полутьма, скученность, неясные лица, возбужденная речь: «Ударил, стекла вдребезги, прямо Лизе в глаза!» Запомнил, как баба Оля близко подсела к матери, сжала ладонями ее лицо, припала ртом к слезящимся глазам. «Есть! — Оторвалась, снимая пальцами что-то с кончика трепещущего, странно заострившегося языка. — Ну-ка, еще разок, потерпи, барынька моя, потерпи, красавица ты наша». Станный поцелуй в глаза повторяется. Вижу, как язык бабы Оли забирается куда-то под веко у матери, бугристо шарит там, присасывается к чему-то так, что увеличивается, выкатывается из орбиты в набухших кровяных жилках глазное яблоко. «Еще достала, кажется, — сплевывает на этот раз что-то в носовой платок баба Оля, рассматривает внимательно на свету: — Разве увидишь... — И к матери: — Ну-ка, поморгай глазками, не царапает?» Мать плотно зажмуривает глаза, разлепляет осторожно, потом часто-часто хлопает ресницами: «Облегчение-то какое, моргаю, не слышно...» Подобие улыбки трогает

ее готовое скривиться в плаче лицо. Плакать начинаю я и бросаюсь к матери на шею...

Я потом спрашивал у нее, что это было. Вот что она рассказывала: «На Покров собрались на вечерку у Сергеевых, в складчину... тогда люди дружно жили. Каким-то боком в компанию затесался этот бандит из Паткина — Лешка Тимофеев, говорили, сидел... У него родня была в Четверти. Весь вечер, замечаю, на отца косо так поглядывает, злится, чувствую, заводится, из себя весь... Как потом выяснилось, брат его, пастух паткинский, потраву сделал наших озимых, ну, отец на него в суд. Вот этот-то, тюремный, за брата на отца и затаился. Так-то просто полезть в дому не решился. Наш-то бы ему наваял, поматерее был, фронт прошел... Ну, тот сидел-сидел, наливался злобой все и на выпивку налегал. Потом хлопнул дверью, так что с потолка посыпалось, на улицу выскочил. Слышу, угрожает, ругается нехорошо так... Чую, пакость какую-то задумал. Мы с отцом у окна сидели, спинами... Говорю, давай пересядем! Страх какой-то нашел... И обернулась я тут, как на грех. А он как раз и шарахнул с той стороны... Снял ремень и пряжкой со всей силы... Зимних рам еще не было... Стекла, как из ружья, по мне. Схватила за лицо, слышу, кровь потекла, и в глазах — как будто песком сыпанули... Отец выскочил на улицу, скрутил его, связал этим же ремнем, за участковым в Покров послали. А меня домой повели, иду — резь в глазах, слезы ручьем, ничего не вижу... Ну, думаю, ослепла... По дороге вспомнил кто-то, что тетя Оля Долгушина умеет как-то языком соринки опасные из глаз доставать. Вот она меня и спасла. А так бы окривела, точно... Что там фельшер сделал бы, стекла-то попали с пылинку. Их только специальным прибором достать можно было. А вот тетя Оля умела... Старые люди много чего умели».

Хорошо было забежать зимой продрогшим с мороза к бабе Оле. В доме, всегда нагретом, дремотно разморенном под степенный шаг маятника напольных часов, с ровным теплом от печки, обложенной изразцами, с в неге расправившейся во всю длину кошкой на лежанке, рябью лоскутных дорожек на крашеном полу, жирнолистным, раздобрившим фикусом в простенке, — верхом блаженства было приложиться закочевшими ладонями к жарким изразцам, оттаивать, млеть, разгадывать тайну их синих загадочных птиц и диковинных заморских растений на белом глазурном поле. После нашей всегда холодной, с вечно дымящей печью избы — здесь был рай. Позже я узнал, что Долгушин-дед был большим мастером печных дел. Половина окраинной Москвы в тридцатые и сороковые годы грелась у сложенных им печек. И сдается мне, что были они не хуже его деревенской.

Когда дом наполнялся голубым газом морозного зимнего вечера, ярче, казалось, начинали разгораться, наливаясь огненным вишневым светом, рубиновые лампадки перед иконами. Золотом вспыхивали и загорались в какой-то момент иконы. Тихим янтарным сиянием заливалось пространство. Сказка была вокруг. И я не хотел уходить. Пока баба Оля не уводила меня за руку домой.



Иконами были увешаны все стены долгушинского дома. Меня всегда поражало их число и разнообразие. Каким-то недетским чутьем я улавливал, что их не случайно как-то очень много, через край. Это, видимо, шло от невольного сравнения с тем, что видел в других домах нашей деревни. Иконы были у многих, стояли невысоким рядком с букетиком высушенных полевых цветов, две-три — не больше, на божницах, в кухнях над столом. Старшее поколение еще молилось на них перед обедом. У Долгушина-деда иконы были везде и самые разные — огромные, на полстены, и небольшие, в ризах и просто ничем не украшенные, свежие, яркие и совсем какие-то темные, потускневшие. Однажды после очередного похода к бабе Оле я поделился своими наблюдениями с матерью. «Это Григорий Александрыч нанес их со всей округи, когда разоряли церкви... из Долгополя, Ковырева, Тютюкова. Тетя Оля сказывала, даже из Шимохтинской церкви за пятнадцать верст перенес все образа на себе, — поведала мне мать. — Видел у них Богородицу, какходишь в переднюю, с правой стороны? Это уже из нашей, Покровской церкви... Красивая и ласковая такая икона — Богородица Умиление называется... Богоматерь любит своего сыночка Иисуса, — быстро добавляла она почти шепотом, — умиляется и скорбит, на какие муки он себя за все грехи наши обрекает, так мне тетя Оля поясняла... Икона была главной в нашей церкви, у нас же церковь Покрова Пресвятой Богородицы называлась, этот вот ее образ и стоял на самом видном месте в нашей церкви. Всех она оберегала... Спаси и сохрани нас, Царица Небесная, Пресвятая Богородица! — крестилась мать. — Когда льнозавод в церкви городили, иконы все повыбрасывали на улицу, в снег... Так и пропали бы, а Григорий Александрыч собрал их, домой перенес. Сама видела, как он Богородицу на закорках доставлял. Икона-то уж очень большая, тяжелая, неразворотливая — поди, пуда два весом, не меньше... Так он ее веревками обвязал, на спину взгромоздил, согнулся в три погибели и пошел чуть не на коленках. А у него, я знаю, грыжа, в бандаже ходит... Как он ее донес, ума не приложу! А снегу тогда, я помню, по пояс выпало... дорога еще не наторенная была, а он эдакую тяжесть на себе, да по целику... Но правильно говорят, с верой все управить можно!» — приговаривала она.

Баба Оля умерла, когда я учился во втором классе, зимой, сразу после новогодних каникул. Хоронили ее сереньким январским днем, плотно укутанным по горизонту темно-синими снеговыми тучами, с поземкой, лохматившей мелкие веточки на еловом лапнике, высланном зеленой дорожкой перед крыльцом долгушинского дома. Было не холодно, без мороза, но зябко, с пробирающим до озноба ветерком. И еще лихорадило, что сейчас вынесут покойника... Покойников я еще никогда до этого не видел. Что это будет баба Оля, в голове как-то не увязывалось и не думалось. Покойник, вот что страшно, вот что волновало... Покойники встанут из могил, являются в полночь, хотят увести за собой живых! Сколько об этом рассказывалось страшных историй в полутемной избе с подкрученным фитилем керосиновой лампы приходящими подомовничать старуш-

ками, когда мать с отцом уезжали с вечера под базарный день в город торговать свежим мясом на рынке. Лежишь, обмирая, на печке, слушаешь какую-нибудь древнюю бабку Секлетью, мостящую себе из старых полушубков и фуфаяк постель на широкой лавке под передними окнами, ее сонный голос с позевываниями откуда-то из сияющего не померкнуть красного светового круга внизу у стола: «Поначалу на потолке все шумел, топал, страху нагонял... Потом по лестнице в сени проскрипел, стукнул в косяки, все запоры враз отвалились. Входит бледнее бледного — за тобой, жена, пришел, тяжело мне там одному, собирайся... Да на кого же я детей малых оставляю, сиротинушек! Это она так говорит для отводу глаз, а сама к иконам поближе — за святой водой. Хвать пузырек и ну его брызгать да крестными знаменами обкладывать. Еще пуще побледнел, могольной зеленью весь покрылся, глаза, как у волка, огнем так и пыхнули. А, говорит, со святым крестом да святой водой не возьмешь тебя. И к печке поближе — погреться, мол, хочу, холодно мне что-то всегда. Перед шестком в прах рассыпался и в трубу огненным шаром вылетел». Лежишь, слушаешь, немеешь от страха и ужаса, и то ли сердце гулко так стучит, то ли впрямь кто-то ножищами бухает на чердаке... Поэтому, когда вынесли на крыльцо небольшой, из белых тесин гробик, обитый полоской посеребренной ткани с кистями, и стали прилаживать в покрытые чистой попоной сани, я не сразу признал бабу Олю. Цвета топленого масла маленькое, усохшее личико с остреньким носиком, с белой ленточкой, испещренной черными письменами, на лбу — это была не знакомая, добрая, всегда улыбающаяся и румяная баба Оля, а покойник, какое-то новое, не встречавшееся ранее, загадочно-пугающее явление в жизни. А когда священник в длинном золотистом одеянии с крестом на выпирающем животе звякнул цепочкой дышащего конфетным дымом кадила и растраченным с возрастом, убывающим баском пропел «Упокой, Господи, душу новопреставленной рабы твоей Ольги», люди, не скрывая любопытства, прихлынули к крыльцу: «Тютюковского попа привезли... совсем старый стал!» — оттеснив меня в сторону, так что рассмотреть что-то еще мне уже не удалось... Вынесли крышку гроба, большой и широкий деревянный крест, уложили на ребро в сани. Колхозный конюх дядя Федя Бушуев, перекрестившись, сунул руки в самодельные овчинные рукавицы, легонько подергал брезентовыми вожжами: «Но, милая!» Застоявшаяся лошадь, наклонив голову, без усилий тронула сани с гробом, мягко и ходко пошла по наметенным грядам свежего, еще не успевшего окрепнуть снега. Дядя Федя поспешал рядом с санями, правил по пробитой бульдозером дороге в сугробах, не давая разойтись лошади под уклон к реке. За Богоной на восточном склоне Поповой горы, продолжая скудный рядок утопающих в снегах оградок с верхушками крестов, рыжела глиной на белом, сиротливом просторе свежерытая могила. Там было новое кладбище, выделенное совсем недавно, когда старое, у церкви, после льнозавода сровняли тяжелой техникой с землей. К нему и задвигалась медленно в гору, вязко перемешивая валенками рыхлый, сыпучий снег, негустая толпа деревен-



ских людей, всех, кто так или иначе был близок к покойнице, — вместе росли, дружили, жизнь прожили — десятка два толсто одетых, закутанных в шали старушек; родственники покойной, среди которых выделялся ростом и отекающей сытостью щек сын Петр — «инженер в Москве», рядом в лисьей шубе до пят перегрето румянилась дочь Павлина — вылитая баба Оля, «замужем за начальником большим... страсть как богатая». Особняком за гробом шел Долгушин-дед с непокрытой опущенной головой, изредка вскидывал взгляд на покойницу, плакал, утирая слезы зажатой в руке варежкой. Старенького священника, совсем обессиленного в гору, то и дело наступавшего разношенными, неповоротливыми валенками на длинные полы ризы, вели под руки два рослых деревенских мужика — Марк Солдатов и Петр Сергеев. Они копали могилу, им ее предстояло и засыпать. «А поп-то еле ноги тащит, — внимательно всё выглядывали с хвоста процессии деревенские бабы, — да ему, поди, под восемьдесят, будешь тут таскать... Из заключения, сказывают, только как лет семь вернулся... Тютюковскую церковь недавно совсем сломали... А поп-то служит, когда попросят, говорят, даже крестит и соборует, купель сохранил и все обряжение... Все по-православному у него — это точно... Хороший батюшка, не то что ездит тут один по деревням из-под Кольчугина, ложный поп, говорят, перебещик какой-то, обновленный, крещает в кадках... А тютюковский настоящий, все по старым законам делает, усердный очень... Как бы снова не посадили, за религию-то вон как нынче взялись... Чай, не тронут, он того гляди сам помрет...»

После поминок, уже в сумерках, старого священника, слегка под хмельком, порозовевшего и благостно улыбающегося, усадили в тулупе спиной к передку в те же сани, на которых увозили в последний путь бабу Олю, на ту же попону — ее свободными концами дядя Федя Бушуев старательно укутал по бокам и сзади тютюковского батюшку. К вечеру ветер окреп и разгулялся уже с морозцем, хватал знойной стынью за лицо, шуршал обдирно по крышам и стенам домов. Разгулялись по морозцу и мы, дети, разрезвились на желтых световых полянах под окнами долгушинского терема. Сколько догонялок, кувырканий и возни в искристом газе снежной пыли по сугробам! И когда сани со священником тронулись, скрипнув по-зимнему подрезами, мы, как стая разыгравшихся волчат, взяли в бессознательном порыве дровни в полукруг. «Поп, поп — толоконный лоб!» — крикнул кто-то, и все в пьянящем единодушии подхватили. Возница, правя на коленях на охапке клевера в передке саней, выхватил откуда-то длинный прут: «Вот я вас, бесенята! А ну, кыш!» «Ну какие же они бесенята, — отвернув ворот тулупа, обернулся на дядю Федю священник, — это же детки, расшалившиеся ангелочки. Вы только посмотрите, сколько радости и счастья на их румяных, восторженных личиках!» «Почтенья не знают никакого к старшим, батюшка, настоящие озорники эти ангелочки. Вот я бы их...» — не соглашался дядя Федя, пряча хлыст и заставляя пощелкиванием вожжей перейти лошадь с шага на крупную рысь. Но мы не отставали, гримасничая и кривляясь, бежа-

ли за саями, задыхаясь в дурном скоморошничестве, до самой околицы: «Поп, поп — толоконный лоб!» Старый священник только смеялся, часто снимая перчатку серой овечьей шерсти, широко крестил нас голой рукой, с нарочитой басовитостью, словно подыгрывая нам, возвышал голос: «Храни вас Господь, мои резвые шалунишки! Пусть чаще и дольше поет в вас душа! С Богом, милые детки, с Богом!»

В ту зиму не было дня, чтобы Долгушин-дед не побывал на могиле жены. «К тете Оле пошел, — односложно говорила мать, высматривая сквозь закраины наледи промерзшего окна торопливую фигуру Григория Александровича, пересекавшего в узком месте речку и по новой торившего переметенную за ночь дорожку на Попову гору. И добавляла с сочувствием: — Тоскует, видать, сильно». Иногда дед отправлялся на кладбище с деревянной лопатой и вязанкой зеленого лапника, за которым ходил в еловую рощу километра за два от деревни. «Ухаживает за могилкой, — комментировала мать, — снег чистит, хвоей для опрятности обкладывает». А вскоре по вечерам стал виден на Поповой горе странный, таинственный огонек. Он появлялся в сумерки, в тихую погоду ровно разгорался желто-красным язычком пламени, в метель, прерывисто смаргивая, казалось, блуждал по кладбищенскому склону горы. В деревне заговорили о душах умерших и еще бог знает о чем. Но все очень скоро разъяснилось. Оказалось, что это Долгушин-дед возжигает на могиле жены неугасимую лампаду. «По-нынешнему чудно, конечно, — говорила, покачивая головой, мать, — но в старину, слыхала, всегда так делали». И страшно, и отрадно было смотреть на этот огонек. Сколько всего напридумываешь и перечувствуешь, когда стоишь одиноко и немо в сумерках у окна без света — и с накатившим вдруг беспричинно отчаянием, сиротской затерянностью в ледяных пространствах всматриваешься в мерцающий, живой огонек в снегах за речкой, в густой холодной мгле... на кладбище. Кому и для чего он светит там? Там мертвые, покойники... Зачем свет там, где жизни нет? Жутко и нехорошо от этих мыслей... Но когда деревня засыпала, погружалась в бесконечную зимнюю ночь, беззвучную и безлюдную, по-звериному тревожную, огонек на Поповой горе, среди голой, стылой равнины, начинал светить уже тепло и приветливо, снимал беспокойство и страх... Там, где огонь, — там земля человека живого. Отмеченная огненным знаком освоенная им территория. Пространства сжимаются, и не так одиноко и бесприютно на них. Что-то подобное ощущали, наверное, наши далекие пращуры, в шкурах гревшиеся холодными пустынными ночами у костра... И все это живет, движется, пульсирует в тебе. И замирает, и трепещет душа.

Из поездок в город на совещания отец возвращался обычно с новой книгой. «Другие с апельсинами, а этот... Хоть бы раз о детях подумал!» — раздражалась в таких случаях мать. Отец, конечно же, думал о нас, но, как говорится, по-своему. У меня до сих пор хранятся подаренные им «Остров сокровищ» и «Белый клык», которые в детстве приносили столько радости и счастья, что куда там каким-то апельсинам. Отец всег-



да сам читал много и с наслаждением. С раннего детства помню его в свободные минуты всегда с книжкой. Он и нас с братом, что называется, с младых ногтей начал приучать к книгочейству. Мы все читали, а дом был неустроен, печь дымила, сырые дрова разгорались в печке медленно и тяжело под причитания матери: «В избе хоть волков морозь. А ему и дела нет!» Дым по утрам по-хозяйски занимал все пространство кухни, широко разваливался сизыми клубами по столу и лавкам, с ленцой утягивался в настежь распахнутую дверь в сени...

И вот как-то отец появился с очередной новинкой в руках. Мы с братом кинулись рассматривать книжку: «Библия для верующих и неверующих». Библия? В «Острове сокровищ», провернулось в сознании, взбунтовавшиеся пираты вручают своему главарю, одноногому Сильверу, черную метку — «низложен» — на страничке, вырванной из Библии. «Гореть тебе в аду за осквернение святой книги!» — говорит Сильвер пирату, подавшему бумагу. Что-то уже тогда шевельнулось и легло на душу: Библия — особенная книга, «святая», она для тех, кто верит в Бога... «Библия...» — читаю я на обложке привезенной отцом книги и с недоумением смотрю на него. «Это другая библия, — усмешливо отвечает на мой немой вопрос отец и отбирает у нас с братом книгу, — вам еще рановато это... А вот кой-кому показать ее, может, и стоит». Глаза его суживаются, начинают поигрывать улыбкой и лукавством. Я знаю эту лукавинку за отцом, обычно она появляется у него, когда он хочет подковырнуть кого-то, подшутить...

Утром, уходя на работу, отец почему-то подмигнул нам с братом, собравшимся в школу, и сунул новую книжку за отворот тужурки.

А вечером, когда ужинали, к нам прибежал, словно ужаленный, решительный и вздернутый Долгушин-дед. В распахнутой фуфайке на одну фланелевую рубашку, в криво, второпях надетой заячьей шапчонке, с распушившейся на морозе бородой, с отцовской книжкой в руках — возник в клубах пара у порога разгневанным громовержцем на облаках.

— Грех смеяться над старым человеком, Владимир Васильич! — нервно подтрусил он к столу и с чувством припечатал книжкой по столешнице.

— Что с вами, Григорий Александрыч, что стряслось?! — привстал отец из-за стола и притушил разыгравшуюся было веселость в глазах. — Присядьте, может, отужинаете с нами? Или чайку вот... — машинально притронулся он к крышке чайника.

— Негоже так, Владимир Васильич, негоже, — сурово огляделся по сторонам старик, стаскивая шапку с головы.

— Да вы присаживайтесь, присаживайтесь... Поговорим, разберемся! Лиза, сесть бы гостю... — Мать, подхватившись от печки, придвинула гостю табуретку. — Так что негоже? — все же не удержался, улыбнулся отец.

— Вы сказали утром, что выпустили Библию... и показали вот это, — присев, кивнул в сторону книжки Долгушин-дед, — я сослепу взял, не разобрался...

— И что же? — продолжал улыбаться отец.

— А то, что ты, Владимир Васильич, решил подсмеяться надо мной! Вот и снова смеешься! — гневно перешел на «ты» Долгушин-дед. — Никакая это не Библия, а срам один... на Бога хула возводится, Богородицы светлый образ порочится! Меня понудил читать непристойности! Аль не понимаешь, кому служить вызвался?! — Отец согнал улыбку с лица, Долгушин-дед осекся: — Извини, Владимир Васильич, ты в партии, не мое это дело, кому служишь... Только зачем старых людей обижать — не хорошо это, не по-человечески, — снова повторил он, дергано вглядываясь в отца. — У вас своя вера, у нас своя... у вас, знамо, власть... Только вот обижать зазря людей не надо.

И после короткой паузы, овладевая собой, вдруг неожиданно сказал:

— Мне говорили, на войне все молились Богу — и верующие, и неверующие, — когда смерть ходила рядом... Вот ты воевал... ответь, правду люди говорят?

Отец оценивающе посмотрел на гостя, потом, что-то прикидывая, на нас с братом, притихших на лавке за столом... Мне показалось, отец сейчас вспылит, скажет что-то жесткое и резкое, как умеет он делать, когда с чем-то решительно не согласен. Но он сказал неожиданно то, что как-то странно боднуло меня, отозвалось в сознании толчком правильного, одобрительного первочувства, затаенного согласия.

— Правду говорят... — кивнул отец.

— Вот так-то оно, — мягко, но с явным торжеством, сказал Долгушин-дед, — и никакие богохульные книги тут ничего не сделают...

Отец нахмурился и снова бросил быстрый взгляд в нашу с братом сторону.

— Ты за детей не бойся, — понимающе отозвался гость, — слово, по совести, а не как надо, сказанное, только во благо. Не слукавил ты, и у них только прибавится... — со значением обронил он.

— Если бы в этом только было дело — по совести, не по совести... — недовольно ответил отец. — В жизни все кручённее получается, по полочкам не разложишь. Кому-то кажется — что-то по совести делается, кому-то — против этой совести... Неопределенно все тут...

— От нечистого все это, Владимир Васильич, от нечистого! — шлепнул шапкой по колену Долгушин-дед. — Все понимают и знают, что по совести, а что нет!

Отец усмехнулся, знакомая лукавинка засветилась в его глазах.

— Вот когда на правлении решили обрезать тебе землю по углы, все говорили, что это по совести будет, потому что ты, Григорий Александрыч Долгушин, принципиально никогда не вступал в колхоз, а значит, пользоваться колхозной землей не можешь. Хотя ты и твои предки этот несчастный приусадебный участок лет сто, наверное, обрабатывали... Какая тут совесть, ей тут и не пахнет, честно сказать.

— Решали по закону, как власти постановили, — насутился Долгушин-дед, — а по совести, не по совести — это про другое... По-

нимаешь все, а крутишь, Владимир Васильич! — укоризненно взглянул он на отца.

— Понимаю, — без тени обиды и даже с каким-то удовольствием сказал отец, — но тогда, по-твоему, Григорий Александрыч, получается, что распоряжения властей освобождают человека от совести... Сделал по закону все как предписано и погуливай себе, посвистывай, ни о чем не думая, не сомневаясь, хорошо ты поступил или нет. Так, выходит?

— Выходит, так... — с некоторым сомнением протянул Долгушин-дед, но быстро нашелся: — Сказано: Богу — Богово, а кесарю — кесарево.

— А вот когда кесарь приказывает уничтожать церкви, и человек выполняет его приказания — ломает, взрывает... дома Бога, по мнению верующих, на земле крушит! Окаянное дело, как священники говорят, творит... Его, этого человека, можно оправдать, что он всего лишь выполнял распоряжения властей? Кесарю — кесарево, — усмехнулся отец, — и совесть может быть спокойна?

— Ах, вот ты о чем, Владимир Васильич! — встрепенулся Долгушин-дед, живо взглядываясь в отца. — Не вправе я ни судить, ни оправдывать этого человека. Одно знаю, что если внутри себя, даже только с самим собой, без исповеди, человек казнится, что сделал он что-то не то, нехорошее, то он уже исправляется с Божьей помощью... Это значит, что в нем та самая совесть и говорит. Это значит, Бог не оставил его и, может быть, если человек этого захочет, выведет его на правильную дорогу... Вот что я думаю по этому человеку, тут самое главное — не дать себе окаянствовать со вкусом, охолонуться как бы вовремя... — Долгушин-дед мазнул шапкой по лицу: — Ух, хоть и прохладно у тебя, а я что-то чуть ли не взмок... Заговорился я что-то, не очень мы говорить... но, как говорится, сказал от чистого сердца... как уразумел тебя, так и сказал, со всем расположением... потому что... — Он запнулся. — Потому что, вижу, совесть ты не растерял... живешь вон не ахти, бедновато даже... не ворует... До тебя-то тут многие были горазды поживиться за счет колхозных амбаров, — ухмыльнулся Долгушин-дед.

— А как еще по-другому, — пожал плечами отец. Хотя чувствовалось, что ему были приятны слова гостя. — Вот льнозавод запустили, глядишь, копейка лишняя в колхозе заведется. Живых денег людям подбросим... — почему-то вопросительно посмотрел он на Долгушина-деда.

— Я уже сказал тебе, Владимир Васильич... как сделал ты, так и сделал, — снова макнул шапкой лицо Долгушин-дед, — и что тут рассусоливать теперь... Церкву погубили, но так властям было надобно... и плетью обуха... как говорят... Может, кому-то на время это даже и прибавит в кармане, лукавый — он хитро все оборачивать умеет. Но только на время, дело его непрочное... все равно рассыплется, и все заново строить придется. Это как печку класть не из шамотного, а, скажем, силикатного кирпича... не выдержит огня, обвалится. — И он машинально оглянулся на нашу печь в углу. — Вот эту ложили как раз из силикатного, когда готовили избу

под твой приезд с семьей. Сгоношили из того, что было под рукой... Вот она, похоже, и посыпалась в коленях, отсюда и дымит... Дымит, слышу по утрам, Лизавета Федоровна? — заулыбался он в сторону матери.

— По-черному топим, каждое утро двери настежь! — горячливо отозвалась мать.

— Дело поправимое, — спорхнул с табуретки Долгушин-дед, подошел к печке и подергал задвижки, — вижу, клинит... Кирпич силикатный, от нагрева крошится... Почистим коленца, вставки сделаем шамотным, у меня запасец есть — она и тяга пойдет... И ругаться больше не будешь, Лизавета Федоровна. Уж больно страсть, как ты ругаешься по утрам!

— А как тут, если... — начала было мать.

— Вот и я говорю, Владимир Васильич, — деликатно подрезал ее Долгушин-дед, чиркая спичкой и осматривая дымоход, — о людях, конечно, надо думать, и ты тут правильно все делаешь... Вон как деревня расстроилась, леса, слышал, для колхозников не жалеешь... Но и о себе забывать не след, тем более, вон по хозяйке вижу, прибавления ждешь... Дочку, наверное, задумали?

Отец выдал на лице подобие улыбки и развел руками.

— И как тут с малым ребенком в холодной избе, — бросил, обжигаясь, горелую спичку на шесток Долгушин-дед, — давай вот что сделаем, Владимир Васильич, все, что можно, я поправлю завтра... А летом я тебе новую печь сложу — горячую, с веселым голоском... ребятишки зимой будут босиком бегать по дому. Ты только кирпича правильного запаси, а какого — я тебе потом скажу.

Отец, как мне показалось, с неохотой, как-то вынужденно, с оговоркой, что достанет кирпич за собственный счет и за работу заплатит сам, принял предложение. На том и разошлись.

— Что, съел? Ты к нему — язвой, а он к тебе — ясным! — сказала мать, рывками задвигая поглубже заслонки в трубе, когда Долгушин-дед ушел.

Отец промолчал, долго нахмуренно вертел книжку в руках, пуская веером страницы. Потом встал и сунул ее куда-то на самую верхнюю полку, где у матери хранились в холщовых мешочках сушеные грибы, ягоды, запасы сахара и круп.

Через много лет я заинтересовался, что стало потом с той книгой — «Библией для верующих и неверующих». Куда-то она однажды исчезла с полки, пропала, как сквозь землю провалилась, хотя еще долго лежала там после того памятного вечера. Я всегда на ощупь наталкивался на нее, когда, подставив табуретку, шарил, грешный, встав на цыпочки, по сухо похрустывающим горкам мешочков в поисках того, где хранилась вожденная сушеная малина. Иногда я брал книгу, запыленную, с копотью и паутинками на обресе, в руки. Но читать не решался. Она была как бы отвержена отцом, а значит, неправильная. И снова клал ее на место. «Куда же она пропала?» — поинтересовался я у матери, перебирая после смерти отца собранные им книги.



— Так он сжег ее, — вспомнила мать, — как-то утром... бросил в печь, и все... Когда это было? Да в тот год, когда я Танюшку, как по заказу, родила, после двух парней-то... — стала уточнять она. — Таня в мае родилась, а книжку он спалил где-то в сентябре, помню, картошку копали... И в новой печке уже, которую летом тогда сложил нам сосед Григорий Александрыч... царство ему небесное! Уж до чего мастер был, такую печь устроил — сырая березка как порох разгоралась... во тяга была! Радость-то какая для меня! Уж больно я со старой намучилась...

Верующие. Михаил Буланов

В то лето, где-то в середине июня, в космос почти одновременно запустили Быковского и Терешкову. В те же дни наша деревенская многодетная мать тетя Катя Солдатова тоже пошла на «космический» рекорд — родила двоешек, двух парней, тринадцатого и четырнадцатого ребенка. В деревне их сразу окрестили космонавтами. Тогда же начались тяжелые, обложные дожди, которые не прекращались до начала июля. Полмесяца деревню с хмурой остраткой хлестали тугими волнами ливни. Бабы всполошенно заговорили у колодцев, что «это все от них», что в космос полетели, «продырявили небо».

Наша ласковая и чистая Богона, обычно кроткой овечкой пробирающаяся меж зеленых бережков, как-то враз напряжинилась, помутнела, приподнялась и разлилась так, как не разливалась даже весной. Стальной анакондой, упруго проворачиваясь крутыми эластичными мускулами течений, ринулась вперед, сминая кусты, макушки ив и ольшаника, перепрыгивая через броды, порожки, временные летние мостки. Для деревенской ребятни это было только в радость. Раздевшись до трусов, упрятав под дождем сухую одежку в голенища резиновых сапог, мы с криками: «Да здравствует групповой полет в космос!» — в бесшабашном порыве бросались в мутную стремнину взъярившейся реки. Быстрое и сильное течение подхватывало нас, играло, как поплавками, катило вниз по реке до первого поворотного мыска, у которого нужно было яростно заработать ногами и руками, рвануться к земле, уцепиться за расплетенные потоком травяные косы, выволочь себя на сушу, чтобы не дать утянуть под опасно надвигающийся мост или не напороться на ветви затопленных деревьев. Такие забавы назывались «покататься на волнах». В воде было тепло, на воздухе знобко и холодно. Зуб на зуб не попадал после такого деревенского «серфинга».

А когда стихия унялась и снова пришла погода, мать в одно солнечное июльское утро, взглядевшись с особенным интересом в мое заспанное лицо и неожиданно сухо поплевав мне в глаза, сказала с присущей ей склонностью к рифмованным фразам: «Прошли дожди, взошли ячмени».

Небольшое продолговатое покраснение, напоминающее размером и формой хлебное зернышко, проступившее за ночь на одном из век, днем

стало воспаленно набухать, зудеть, наливаясь тяжестью, закрывая глаз. К вечеру мне стало жарко и меня слегка лихорадило. Спал я уже прерывисто, часто просыпался, рука тянулась чесать глаз, веко которого пульсировало токами вызревающей, больной энергии. Созревал ячмень несколько дней. Потом его во сне прорвало, и я встал утром, не в силах разлепить ресницы, склеенные засохшим гноем, пока не промыл глаз водой. А дальше чисто какое наказание пошло. Ячмени вскакивали попарно рядком на одном веке, или одновременно на верхних и нижних веках, или сразу по несколько на обоих глазах. Это уже было слишком. Честно скажу, я пригорюнился. Спать стало невозможно. Ячмени вызревали больно. Меня трепала высокая температура. Отец испугался и отвез меня в районную больницу. Там у меня признали сильнейшее ослабление организма от переохлаждения (я рассказал о наших купаниях в дождь) и решили делать переливание крови.

— Он что, рахитный? Им бы только коверкать все! — в гневе зашлась мать, когда отец рассказал ей по возвращении из города о решении врачей. — Ходить с чужой кровью! А если какой заразой наградят?!

Отец пытался объяснить, что переливать кровь будут не чужую, а мою, что кровь у меня будут забирать из вены и снова вводить в меня же шприцем, что так современная медицина борется с чирьями, фурункулами и ячменями, что это — все равно что обыкновенный укол.

— Ты там будешь присутствовать, да? — негодовала мать. — Иголкой в вену будут тыкать! Ты видел его вены? — задирала она рукав рубашки на моей руке. — Ты посмотри, где они у него? Кто их здесь наковыряет? Иscalечат всю руку, а то и грязь какую занесут! Не дам, так и передай этим вредителям... Им бы только резать и колоть! Не дам!

— Чушь порешь! — начинал заводиться и отец. — Ты что, не видишь, что с парнем происходит? Лечить надо, срочно лечить — идет общее воспаление организма!

— Вылечим... — нацелилась вдруг задумчиво на что-то в себе мать. — Завтра же сбегая к старику Буланову в Покров... Он, говорят, даже золотуху заговаривает.

— Ты вот что, Лиза, — медленно, с трудом сохраняя спокойствие, заговорил отец, — не позорь ты меня... и ребенка с толку не сбивай. Что тебя тянет все куда-то в пещерный век? Ты оглянись, люди вон в космос уже летают, а ты в чепуху какую-то веришь — «заговаривает»! — усмешливо протянул он. — Ну, что ты, в самом деле!

— Летают — мокрень напускают, — порывистой скороговоркой парировала мать, явно воодушевленная идеей «завтра же сбегать к старику Буланову».

— Что, что?! Какую мокрень?! Кто напускает? — ошарашенно вскричал отец. — Ты чего плетешь?! О, боже ж мой! — застонал он. — Ну нельзя же быть такой темной... — Отец задержался со словами, но все же не устоял: — Такой темной, глупой Феклой! И это она все по улицам несет!



— Не надо меня глупить! Не глупее других! — взвилась мать. — Умный какой нашелся, сына будут терзать, а он все чего-то боится — «не позорь ты меня!» Ой, е-ей, — фертом выступила она вперед, — как бы начальники чего не подумали... А я поплевывать хотела на твоих начальников с высокой колокольни! Которые ты разрушать мастак... Так и передай им, толстомордым болтунам! А сына я калечить не дам! Завтра же схожу к Михал Кузьмичу... Без них поправимся, сынок, без этих извергов, — кинулась обнимать меня мать, — старик Буланов только молитвой и травами лечит, ты ничего такого не подумай!

Отец видимо боролся с собой, осаживая чувства, нервно переминался, меняясь в лице, тяжело косил глазом в мою сторону.

— Все, все! — зажмурился он, отмахиваясь от чего-то невидимого над головой. — Бесполезно все, ничего не докажешь! Уж коли я колокольни мастер разрушать, то, как говорится, приехали... Только не забывай, — поднял голос и отец, — что ребенку в школе учиться и дальше идти по жизни... А ты его к какому-то мракобесию толкаешь, в чушь какую-то верить приучаешь!

— А вот и не чушь! — отпрянула от меня мать. — Все у вас чушь, потому что сами ни во что не верите! Только старые люди больше вас понимают... Вон прошлым летом Тоне Крыловой руку в молотилку замянуло, фельшер говорил, отнимать будут, а старик Буланов вылечил. А дети Рыжова Николая все в лишаях ходили, как проказные, заговорил — сейчас все чистенькие, розовые бегают!

— Хорошо, делай как знаешь, — махнул рукой отец, — агитировать тебя бесполезно...

— И не надо меня агитировать, не на собрании, — не удержалась, ввернула мать.

Отец поморщился:

— Только не трезвонь об этом на всех углах. — И, помолчав, добавил угрюмо: — Буланова этого, я думаю, давно уже взяли, где надо, на карандаш... Его подписи на всех письмах за Покровскую церковь стоят. Так что попрошу поосторожнее с «толстомордыми» и во что верим — не верим. Головой-то надо думать иногда... — посмотрел он устало и тоскливо на мать.

На этот раз мать промолчала, только нервно и порывисто закрутила головой. А я в душе порадовался почему-то, что последнее слово осталось за отцом, и только после его разрешения внутренне согласился идти с матерью к старику Буланову.

...И вот мы шагаем с ней после грозы на исходе дня в Покров. Тропинка в низине между Четвертью и Покровом прибита и выглажена тяжелым ливнем почти досуха, когда нет луж и не налипает грязь к подошвам сандалий, только мокрая трава, обнимающая дорожку, цепляет и метит темными разводами ниже колен сатиновые шаровары, пошитые матерью на лето. Мать впереди. В редком тумане над лугом, легкая на ногу, размыто порхает передо мной в светлой жакетке скорым, воздушным шагом.

Мы спешим. Солнце почти уже село. А к старику Буланову надо попасть непременно на закате. «Так положено». Неясно и расплывчато после дождя вечереет. Полусухо-полусыро. Полусумерки-полуявь. Дальние чистые звуки отбиваемых кос из деревни, с глухим чоканьем долетающие и уходящие в землю здесь, в низине. Поглощение, замирание, пограничье... Полувскрик-полушепот. И чувства мутными тенями бродят во мне. Отец согласился, но он же был против. А он всегда прав. Он знает, он все понимает, он всегда скажет, как правильно делать. И если он против чего-то, то я всегда осознаю, почему он не соглашается. Потому что я сам, в душе, чувствую точно так же. И трудно понять, от него идут мысли ко мне, или они уже каким-то образом были во мне, и он только разбудил их и стронул навстречу своим. Если он против старика Буланова, то почему я иду к этому старику? Знахарю какому-то, вспоминаю я отцовские слова, а главное, понимаю, этот старик против чего-то, против чего у нас, ну в стране вообще, нельзя быть против... И это меня тревожит, беспокоит. А ведь я мог бы и заупрямиться, и тогда меня никакими уговорами не возьмешь. Как и отца. Но что-то в отце самом до конца не сработало — неясная догадка об этом начинает пробиваться во мне, — и отец дал это полусогласие, которое будит во мне вот такое полурешение. В какой-то душевной невнятице я замедляю шаг — не поздно еще повернуть назад.

— Не отставай! — оборачивается ко мне мать. — Робеешь, что ли? — вглядывается она в меня, остановившись. — А ты не бойся... Давай, давай, поднажми! — манит к себе рукой. — Бояться надо тех, кто с иглами в вены лезет... А тут пошепчет только, и все, ну и, может, настой какой даст... — И уже на ходу бросает, словно читая мои мысли: — Папа твой... Все-то он осторожничает. А ты не бойся! Смелее надо в жизни. Смелый, даже если он и послабже, всегда верх берет... Смелей, не робей, гляди веселей! — зазывает она беззаботно и вольно. И снова упархивает вперед.

Странно, но я успокаиваюсь. Когда у матери хорошее настроение, от нее такой нежностью и теплотой веет, что все забываешь и буквально растворяешься в ответном чувстве.

...Дом старика Буланова последний со стороны Четверти в ряду покровских изб по левому, низкому берегу Богоны. Отчего сторонка — в отличие от другой, на высоком, противоположном берегу, — всегда смотрится понурой, вбитой в землю бедолажкой. Булановский же дом стоит на отшибе свечкой. Небольшой, обшитый отшлифованным дождями и ветрами до серебряного блеска тесом, глядит на речку тремя окошками в неброских, зеленым крашенных наличниках. Дом поставлен без особых затей и размаха, но как-то соразмерно и равновесно. На высоком подклете, с чисто обкошенной лужайкой вокруг, глядится стройно и даже внушительно. Перед домом старая липа, доверчиво, с облегчением положившая к вечеру мохнатые, в желтых бусинках семян ветви на крытую дранкой крышу. За домом прозрачный березовый лес смотрит белым, чистым ли-

цом ясно и дружелюбно. Крыльцо со стороны леса, недавно вымытое, с сухим домотканым половичком на нижней ступеньке.

— Один живет, а какой порядок кругом, — осматривается мать, шепотом подсказывая мне почище вытирать ноги. Старательно шаркаю подошвами сандалий по половичку.

— Запоздали мы немного, Михал Кузьмич. Гроза, как на грех, нашла... — говорит кому-то мать. Я поднимаю голову. В темном створе сеней наверху крылечка — бесшумно появившийся невысокий, в светлой льняной рубашке навывпуск старичок. На полном, круглом лице узкие, китайские глазки поглядывают остро, но без излишней цепкости, с укрощенным любопытством. Без бороды, кожа на лице натянутая, глянцева, с желтоватым оттенком. Странное лицо, запоминающееся, нездешнее, сейчас я бы сказал, откуда-то оттуда, из глубин Азии, с Востока. Песчинкой Гоби залетевшее на среднерусскую равнину.

— Ну почему же как на грех, — слипаются в улыбке, так что ничего в них не понять, китайские глазки старичка, — дождь в июле еще на пользу, колос спеет... И пришли вы в самый раз.

Он без нажима, осторожно и тихо оглядывает меня.

— Перекупался, значит... Я тоже люблю купаться. В жару в бочаге напротив одно удовольствие поплавать. А если нырнуть с открытыми глазами... — Он с хитрым видом вглядывается в меня. — Рыбки стрелками летают, солнышко в воде играет... сказка, да и только. А ты ныряешь с открытыми глазами? — неожиданно спрашивает старичок меня.

Да если бы он знал (а он, похоже, знает почему-то), что это мое любимое занятие на речке! Придешь пораньше (тут главное — успеть до всех, когда вода не взбаламучена) июльским сверкающим утром на берег неширокого, с глубокой вымоиной омутка напротив Поповой горы, разденешься — и ласточкой в реку. Вынырнешь, поплаваешь, надышишься и снова под воду, чтобы как можно дольше плыть по течению с открытыми глазами. Там, под водой, невиданное что-то. Там в синих столбах света резвятся, как дети, фиолетовые стайки мальков, там водоросли изумрудные, как космы водяного, на сизых донных валунах, там капли воздуха, как жемчуг, на скользких, змеевидных стеблях кувшинок, там зеркальцем серебряным играет раскрытая ракушка на песчаном дне... Там сказка — дедушка тут прав.

— Плаваю, — неожиданно охотно отвечаю я, чувствуя, как во мне зарождается доверие к старичку.

— Так я и подумал, — фыркает носом и еще слаще улыбается дедок, но как-то без приторности, не отталкивающе... И приглашает нас в дом.

В темных сенях нежно и тонко пахнет распечатанными пчелиными сотами, свежекочаным медом и увядающим некошеным лугом в жаркий полдень конца лета. Старичок механически нашаривает на стене выключатель и щелкает им. Ну теперь все понятно. На широкой скамье перед входом в чулан круглая медогонка из белой нержавеющей стали, на полу трех-

литровые стеклянные банки мерцают глубинным, непроглядным светом желто-зеленого цветочного меда. Рядом с медогонкой на скамье эмалированное блюдо с глянцевыми, наполненными тяжелым рудным блеском ломтями обрезанных сот. Тут же торчит и широкий нож для срезания перги с заляпанной медом деревянной ручкой. По желтым сотам, затихая в медовом раю, еще силятся куда-то переползти с десятков одуревших от переедания и залипших в сладкой ловушке полосато-золотистых ос. «Вот так бы всем умирать», — говорил обычно в таких случаях деревенский пчеловод Савелий Васильевич Солдатов, когда у нас дома качали мед с колхозной пасеки, стоявшей летом, как и положено, на председательской усадьбе.

— С медком вас, Михал Кузьмич... И снадобий, травок разных, я смотрю, у вас этим летом тоже богато, — с явным желанием подольстить хозяину замечает мать, когда мы проходим сеньями. Для меня в диковинку, и я с интересом рассматриваю пучки засушенных трав и цветов на вбитых в пазы деревянных гвоздях.

— Июль в этом году на славу, — усмехается старик и открывает дверь в избу, — после дождей сплошные ведра... ну если только гроза пошумит... Само собой, и взятки хороши, и травы созрели как надо. — Он дружелюбно подталкивает меня в плечико через порог.

Дом у него — как у многих в деревне. Две комнаты. Первая — кухня. Вторая — передняя. Невелико пространство. Но как-то все так правильно расставлено и все так соразмерно и подогнано друг к другу — стол, табуретки, небольшая побеленная печь на кухне, какой-то ладный и аккуратный столик в передней, с неприметно задвинутыми под него четырьмя стульями, комод, точно вписанный в простенок, лакированные спинки из светлого дерева кроватей-близнецов по стенам, — что возникает ощущение просторности и света в доме. Перед иконами на кухне зажженная лампадка синего небесного стекла.

— Смотри, как хорошо, — шепчет мне мать, когда старик зачем-то удаляется в переднюю, — он все своими руками делает — столы, стулья, даже кровати... У него все тут по размеру, одно к одному. — Она вздыхает: — Надо ему рамки для карточек заказать... нашу с отцом, когда молодые, и ваши, какие маленькими были... И палки для занавесок неплохо бы тоже...

Старичок возвращается с пузырьком темно-коричневой жидкости в руках. Ставит на стол, быстрым взмахом руки коротко крестится, выдвигает нам табуретки, усаживает лицом к иконам на полке. Что-то я уже знаю после долгушинского дома. И в голубой, светящейся укромности полки, за светлым пламенем лампы встречаю уже знакомое, полное смиренной силы око Спасителя и всепрощающий, ласковый взгляд Богоматери. Знакомое, а значит, в чем-то уже близкое, родное... Совершенно новое, свежее чувство, вытесняющее остатки сдавленности и тревожности в душе. Как если б в незнакомом месте вдруг встретился на радость близкий человек.

— Это настой из тысячелистника и календулы, ноготков попростому, — начинает объяснять старичок, — три раза в день — утром, в обед и вечером — надо смачивать, ваткой лучше всего, веки... Промокнуть, обильно так, из бутылочки ватку и приложить к глазам минут на десять-пятнадцать. Промывать потом никоим образом нельзя, пока само не высохнет... Ну и нырять с открытыми глазами тоже придется отложить, — мягко треплет он меня по волосам, — как и само купанье, надо думать... Недели три придется потерпеть. И еще — внутрь, тоже три раза в день, по чайной ложке перед едой.

— Запомнила, запомнила, — частит мать. — Хорошо бы помогло! А то совсем замучились...

— А мы у Господа нашего Иисуса Христа и Святой Богоматери помощи попросим. Тогда обязательно и поможет! — живо откликается старичок и поворачивается, уже широко и с чувством крестясь, к иконам. — О милосердный Боже, — начинает он неожиданно чистым, наработанным голосом нараспев, продолжая креститься, — приди благодатью на раба твоего Александра, в болезни пребывающего, — долетает до меня явственно, — поддай ему исцеление от недуга, возврати ему здоровье и силы телесные. — Как ни странно, многое из того, что выпевает старичок, я сразу и накрепко запоминаю. — Пресвятая Богородица, заступница наша, — осталось навсегда в памяти, — помоги перед Сыном Твоим, Богом нашим, в исцелении раба Божия Александра. Все святые и ангелы, молитесь Бога о выздоровлении его! Аминь! — выдыхает сдержанно, укрощая голос, старичок и трижды с вложением чувственной силы крестит меня.

«А заговаривает он совсем и не страшно», — первое, что приходит в голову, когда мы выходим с матерью на улицу из булановского дома. И странная мысль вдруг возникает, о чем я и не думал никогда: «Если у меня все пройдет, значит, Бог мне поможет!» Какая-то светлая легкость овладевает мной, и я почти вприпрыжку бегу по белеющей в ночи тропинке впереди матери. «Сюда — бочком, обратно — бычком», — слышу, как она, посмеиваясь мне вслед, шуршит газетой, плотнее заворачивая на ходу пузырек с лекарственным настоем.

Три недели я старательно под присмотром матери трижды в день делаю примочки на глаза, три раза в день пью по чайной ложке старичковской отвара. В совсем уже жаркие дни купаюсь тайком. Правда, не ныряю с открытыми глазами. Но даже так, удивительное дело, ячмени у меня все реже и реже, и не такие крупные, и не такие болезненные. А чтобы одновременно, сразу на обоих веках — об этом я стал забывать где-то уже дней через десять. Удивительно, но это было. Ну а когда «медведь лапу в воду опустил», то есть после Ильина дня, — вода в речке резко похолодела, и по неписаному правилу в деревне перестали купаться (закончились и мои тайные хождения на речку), — ячмени у меня пропали совсем. К школе я стал о них забывать.

Не знаю, что это такое, до сих пор.

Верующие. Татьяна Долгушина (в замужестве Иудина)

Появилась Иза в деревне со своими двумя девочками, погодками лет семи-восьми, во второй половине шестидесятых. После того, как наш колхоз объединили с соседним, годуновским, в один большой совхоз. Отца назначили директором. И он уезжал теперь каждое утро на газике на работу в Годуново, старинное село через лес в восьми километрах от нас, где определили центральную усадьбу новообразованного хозяйства. Колхоз стал совхозным отделением. Новую отделенческую контору построили на тракторно-полевом стане поближе к производству, а опустевшее колхозное правление переделали в трехквартирный дом. Вот в одну из этих квартир, бывший кабинет агронома, когда-то щедро украшенный пышными засохшими снопами пшеницы, и поселили новую доярку Изу с двумя ее дочками Таней и Олей. Поселили и поселили, никто особого значения этому в деревне не придал. Тогда много стало приезжать к нам новых людей. Совхозные порядки все-таки другие, чем при колхозе. Деньги, паспорта на руках, стало посвободнее и побогаче. Начали строить на другом берегу Богоны типовые двухквартирные дома, щитовые «финские» домики. В них приезжали и селились люди из каких-то далеких, неизвестных, звучащих непривычно для местных далей и пространств — Поволжье, Алтай, Кустанай... Кто-то оставался, кто-то, пожив, быстренько вострил лыжи куда-то дальше в поисках более счастливой доли. Иза с дочками задержалась, вписалась в местную жизнь какой-то своей скромностью, незаметностью, даже фамилия их была очень простая, нашенско-русская — Козловы (в деревне жили Барановы), так что они очень скоро стали вполне «тутошними», своими. Тем более что сама Иза, рослая, с чистыми, без фальши, голубыми глазами, где-то тридцати с небольшим лет, ладная, может быть, чуть разношенная физическим трудом женщина, оказалась на редкость доброжелательной, отзывчивой и работающей. Не отказывала, когда прибегали соседи и просили помочь «махом» сгрести сено и перекинуть под крышу до находящей «теменью» грозы или выкопать «обидённой» * картошку до мороза, который непременно должен был «ударить в ночь». В деревне это сразу отметили и по-доброму взаимно расположились к Изе. Так, по крайней мере, повели себя местные женщины. Ну а мужики с интересом и подмигиваниями поглядывали вслед Изе, когда проходила она по деревне в коротком летнем платье — светлом, с большими цветами — и бросались в глаза ее длинные, красивые ноги. А шустряки щелкали обычно ладонью со втиранием по сложенному в трубку кулаку. Но ничего такого за этим, как правило, не следовало. Что тоже особо положительно оценили деревенские женщины.

В первый год, когда Иза разбила огород рядом с квартирой, на месте бывшей колхозной конюшни (земля там была — на полметра чернозем),

* В течение дня.



нанесли они Изе семян и разной рассады, пригнали своих мужиков огородить участок. Девчонки у Изы тоже оказались заботливыми и старательными. Грядки усердно пололи и рыхлили, в жару поливали, бегая за водой на Богону с одним эмалированным ведром, которое несли потом на пару, ухватив дужку тоненькими, слабыми ручками с обеих сторон. Были они худенькие, сосредоточенные и какие-то робко-неразговорчивые. Старшая Таня — темная, коротко стриженная, с каштановой густой челкой, младшая Оля — светлая, с тонкими, прозрачными волосками, заплетенными в реденькую косичку. Обе, удивительно похоже на мать, взглядывали при встрече честными голубыми глазками. Держались они на особинку, ни с кем дружбу не водили, купаться и загорать со сверстницами на речку не ходили. Все больше у дома вились — пололи, поливали, мыли с речным песком крылечко, с безмолвной серьезностью играли потом на чистых, с выстроенной в линейку обуви, ступеньках самодельными тряпичными куклами или нешумно прыгали через скакалку. Но удивительно: деревенские дети их не преследовали и не травили, как это чаще всего бывает с теми, кто пренебрегает детской компанией. Их не трогали по какому-то разлитому вокруг них свету кроткой смирности, тихой сиротской слабости, безнадежной незащищенности. Уже скоро все узнали, что отца «у них нет и не было» и что они «от разных отцов». Как такое случается в жизни, мы до конца еще не понимали, но вот то, что они лишены какой-то взрослой, защитной силы, какая была у нас, растущих с отцами, чувствовали. И не трогали, щадили. Дети бывают жестоки, но бывают и чрезвычайно милосердны. Тут, как говорится, куда поведет.

Так бы они и жили — тихо и неприметно, если бы не начала Иза неожиданно чудить. Все чаще стала она приходить на дойку пьяненькой и развеселой. Все чаще ее стали замечать у нашего деревенского магазина среди разномастной, пестрой ватаги местных выпивох — состарившихся и отставших от поезда жизни, набегавшихся по свету романтиков тайги и моря, болезнями и неприкаянностью принужденных доживать под родными крышами у сердобольных мамок; высланных, бывших зэков, которых подобрешая и теряющая зубы власть милостиво распихала на прокорм по теплым и глухим печурам народного хозяйства, где можно не работать, а только получать; полных сил, здоровья и при деньгах цветущих городских пенсионеров, прибывающих на лето подышать свежим воздухом в родные деревеньки; задорных и драчливых пареньков, не желающих слесарить на заводе или впахивать на тракторе в совхозе в межвременье, не подвластное милиции, — между окончанием ПТУ и армией... К десяти утра вся эта разухабисто-шаловная вольница, звеня мелочишкой, начинала гуртоваться у ступенек магазина, скидывалась, кто сколько может, затаривалась дешевым «Солнцедаром» в трехлитровых банках, килькой в томате, черным хлебом и веселой, беззаботной дружиной, с глумом выпевая: «Силачом слыву недаром — похмеляюсь “Солнцедаром”» — выступала на бережок Богоны, в тень, под ивовые кустики, где на вытопанной, обильно «удобренной» окурками и битым стеклом

плешке среди прибрежных сочных трав бражничала весело и беззаботно между драками до глубокой ночи. Вот в такой компашке все чаще желанным гостем становилась Иза. И все чаще вели ее под руки домой сомнительные кавалеры разных возрастов, нетрезвую, пьяно-рассупоненную, с диковатым взглядом в никуда синей мутью залитых глаз. И все чаще ее светлое платье с большими цветами зеленилось со спины соком молодой травы. «Похоже, баба развязала, — решили опытные мужики в деревне. — Однако долго держалась...» — добавляли усмешливо и с сочувствием.

...В тот солнечный, безветренный, обещающий тепло августовский день новый управляющий (тоже приезжий, звали его только по фамилии — Анисимов) собрал нас, группу подростков, помочь с зерном на центральном складе. «Навезли, зашиваемся... Выручайте, ребятки! Наряд закроем на каждого хороший — трешка в день». Да мы бы и без этой «трешки» согласились, как раньше бывало, когда ради удовольствия и осознания своей полезности по первому зову бригадира резали ножами до водянистых мозолей на пальцах ржаные колоски, сорняки в пшеничном поле, сгребали сено в валки, когда надо было «управиться, пока ведро», рубили зимой в лесу витаминную хвою для ферм... Ну а тут хлеб, зерно государству. Мы понимали. Пошли бы и без «материального стимулирования к труду», как стало принято говорить при новых совхозных порядках. И вот в руках у каждого, кто пришел на ток (собралось с десятков четвертских мальчишек), широкая деревянная лопата, выданная завскладом Анатолием Гавриловичем Иудиным. Задача у нас простая — огромный зерновой бург, высоким тяжелым барханом развалившийся при въезде на склад, перебросить лопатами (заодно и проветять) к сушилке, где через транспортер зерно загружается в сушильные камеры. «Иначе сгорит... плесень и все такое... подсудное дело. — Гаврилыч для наглядности сует руку в зерно, морщится: — Как в печке! Третьи сутки лежит, перевернуть не успеваем... Под статью тут пойдешь, а людей не хватает. Да еще этих махновцев из “черной сотни” нагнали, — невнятно бормочет он, — пьянство, непотребство, разложение... штрафбат какой-то!»

Когда он отходит, каждый из нас запускает руку в зерно. Хлебная гора дышит нездоровым, влажным жаром тяжелобольного. Потягивает, как из тайного вишенника перед деревенской свадьбой, сладким самогонным духом. «Горит!» — ответственно решаем и беремся за лопаты.

Где-то часам к пяти мы заканчиваем. Упаханные, какое-то время лежим, приходим в себя на теплом, как речной песок, зерне. Жуем, пересыпая с ладони на ладонь и выдувая соринки, молоком выступающую на зубах, еще не успевшую отвердеть, клейкую во рту пшеницу. Ждем, когда к нам подойдет учетчик из отделенческой конторы Татьяна Кузьминична Иудина (она составляет сводки по отправке зерна на эlevator, закрывает наряды), я ее с детства помню как тетю Таню Долгушину, она всегда работала у отца в правлении счетоводом, потом вышла замуж за Валентина Иудина, тракториста из Покрова, родственника Гаврилыча... Как



всегда спокойная, ровная без углов, по-доброму поглядывающая, она, неторопливо и тщательно выписывая, заносит каждого из нас по фамилии-имени-отчеству в толстую общую тетрадь в коричневой коленкоровой обложке. «Вы молодцы, ребяташки... пятнадцать тонн перекидали. Сколько вам обещал Анисимов?» «По трешке», — продолжая жевать зернину, с ленивой оттяжкой бывалого бросает самый сильный из нас (он и вкалывал больше всех), высокий, здоровый, на глазах оформляющийся в крепкого, нахраписто-боевого парня Витька Солдатов. «Заработали, — усмешливо приглядывается к нему Татьяна Кузьминична, — так и занесу в наряд: по три рубля». «А то!» — хмыкает Витька и отправляет очередную порцию пшеницы в рот. «А то... что голодные, вижу... по домам пора. Ну и завтра снова к восьми ждем. Это для вас...» — тычет она тетрадь в сторону освобожденной нами площадки, куда уже подпячивают задом с улицы городские машины, груженные зерном из-под комбайнов. Ругаясь на чем свет стоит, из душных, забитых остервенелыми слепнями кабинок выскакивают верткие, потные, полупьяно-задиристые шофера с молотками, выколачивают из распертых тяжестью зерна, заклиненных пазов на кузовах металлические рычаги-держатели, с лязгом откидывают тяжелые борта с нашитыми досками, давая зерну хлынуть густым шелестящим потоком вниз. То, что остается в кузове, свирепо и с ожесточением зачищается ногами. «Окаянные какие-то, это же хлеб... что ж так ненавистно-то!» — делает замечание Татьяна Кузьминична. «Ты бы лучше, тетка, деревенского кваску для рабочего класса организовала, — кричит один из кабинки — молодой, нос картошкой с вывернутыми ноздрями, глаза ошалелые, выгаращенно-наглые, в кепке, перевернутой козырьком назад. — А то с утра во рту сухи, в глазах черни, да еще с вашей пьяной бабой до семи потов накувыркался!» — подмигивает он и дерзко подгазовывает, не трогаясь, вонью выхлопной трубы в нашу сторону. «Какой бабой?» — машет тетрадкой, разгоняя дым, Татьяна Кузьминична. «А тут в кустах недалеко валяется — упоенная вусмерть для всякого мужского удовольствия!» — подпрыгивает и кобельком на сучке дергается за рулем, рывками трогаясь, водила. «До завтра, ребяташки», — вдруг явно чем-то озаботившись, бросает нам Татьяна Кузьминична, скорым шагом направляясь вглубь склада к Гаврилычу. «Я этого, борзого в кепаре, запомнил, — продолжает кидать в рот зернышки Витька Солдатов, — придет в субботу на танцы в клуб — вырублю!»

А на улице жара, зной. Тот редкий августовский зной, когда в тихое солнечное безветрие конца лета день разогревается медленно и лениво, чтобы к вечеру задышать неожиданно нежными прокаленными струями суховея, чистым запахом пыли на дороге, горечью высыхающей пижмы, последним, сладким источением нектара замирающих медоносов. Мне приходит шальная мысль искупаться в неглубоком бочажке между Покровом и Четвертью, где на песчаном мелководье вода всегда особенно чистая и теплая, до него от центрального склада рукой подать. Идея не

проходит, все голодные, рвутся по домам. Не доходя до церкви, разделяемся, я мимо церковных развалин вниз, к реке, остальные — через Попову гору в деревню.

Истраченный, остывший детский плач — только всхлипывания — в кустах, густо поднявшихся на старом церковном кладбище, заставил меня остановиться. Вглубь зарослей вела едва заметная, недавно проложенная тропка. Точнее, след в траве, как будто кого-то или что-то тащили волоком. Пахло едко и пьянище раздавленными ягодами бузины. Кусты бузины плотно обнимали уютную небольшую поляну с плитой-надгробием посередине. Каким чудом эта плита сохранилась, бог весть. Но как-то сохранилась, ушедшая почти полностью в землю, с зелеными рядками бархатной плесени в корытцах букв полустертой эпитафии. Венчали плиту пустые бутылки среди неровно вскрытых ножом, кроваво окрашенных томатом банок рыбных консервов. Серым, пепельным дымком еще вилась поодаль грубо притоптанный, с разбросанными головешками, костерок. Это первое, что выхватил взгляд, когда я раздвинул ветви бузины. Склоненными плачущими ангелами в изголовье плиты в беспомощном отчаянии трепетали над матерью Таня и Оля Козловы. Иза, полуголая, в задранном выше пояса платье с крупными цветами, лежала опрокинутая на спину, подняв полусогнутыми и широко раздвинув свои длинные красивые ноги. Что-то было ошарашивающее, из ряда вон, проламывающее что-то в душе в этой позе пьяной до бесчувствия спящей женщины со следами какого-то изощренного надругательства — все было истыкано и исчернено головешкой там, куда нельзя было смотреть, но и невозможно было не посмотреть...

— Отвернись, отвернись! — услышал я требовательный шепот сзади. — Страсть-то какая... Господи, помилуй!

Я вздрогнул, за спиной стояла, крестясь, Татьяна Кузьминична Иудина.

— Сбегай лучше к Гаврилычу на склад, пусть подводу пришлет. И хорошо будет, если сам придет. Тут еще подумаешь, как поднять и перенести ее...

Она шагнула на поляну, по ходу одернула платье на Изе, обняла Таню и Олю, заплакала с ними.

Вечером следующего дня, приехав с работы, отец спросил у матери, сколько надо денег, чтобы собрать двух девочек-подростков в школу. Мать быстро посчитала вслух, загибая пальцы, во сколько обойдется форма, фартуки, туфли, гетры, осенние пальто, беретки, портфели, тетради, ручки, карандаши и ластик, не забыла даже ленты для бантиков в косы.

— Это ты по нашей Тане прикинула, — усмехнулся отец, — на двоих под двести рублей выходит... Кругленькая, однако, сумма, — покачал с сомнением он головой.

— Меньше не получится, — уверенно сказала мать, — я еще не заложила кеды, трико на физкультуру, резиновые сапоги, когда дожди начнутся...

— Ну это, может быть, потом... — с приятным удивлением посмотрел на мать отец, — тут бы самое главное к первому сентября купить.

— А для кого деньги-то понадобились?

— Да для девочек Изы Козловой... — вздохнул отец. — Сегодня ко мне заезжала на работу Татьяна Кузьминична Иудина... Пьет Иза! — с чувством вырвалось у него. — С командировочными шоферами связалась, они ее, похоже, по рукам пустили... И все деньги выманили. Народец отчаянный, сидельцы через одного... «Черная сотня», словом. Теперь не на что детей в школу отправить. Вот Татьяна Кузьминична...

— Видела я вчера, — ввернула мать, — как она везла Изу на телеге... Страшно смотреть, извалявшаяся вся, в репьях, как бродяжка... пьянущая. Рядом девчонки идут, ревут... Ты уж поддержи Татьяну-то! — воскликнула мать. — Чай, не фашисты мы какие!

— Это уж точно, не фашисты... — машинально повторил отец. — Но вот что странно, — задумался он, — немка — и так пьет. У этого народа так не принято. У них все взвешено, как в аптеке. Лишнего — ни-ни. Ну уж тем более женщины... Пьющих женщин за два года, что стояли там после войны, ни разу не видел. Женщины у них в большинстве строгие, не распущенные...

— По своей судишь? — язвительно вставила мать. — Которую все забыть не можешь?

Отец поморщился:

— Ну при чем здесь это?

Среди его фронтовых и послевоенных карточек хранилась фотография немецкой девушки Ирмы. Мать часто по делу и без дела напоминала отцу о его увлечении «фашисткой».

— Так, говоришь, Иза немка? — переспросила, чему-то довольно улыбаясь, мать. — Вот бы не подумала. Хотя зовут ее, действительно, как-то не по-русски — Иза...

— Изабелла полностью... — раздраженно буркнул отец.

— Ну тогда оно понятно... Изабелла, — протянула мать, — русские уж точно так не назовут... А как она у нас-то, в России, оказалась? Из пленных, что ли?

— Нет, — по-прежнему не скрывая обиды, скупил отец, — из наших она... из немцев Поволжья.

— Вот оно как, не слыхала такого... — призадумалась мать и снова повторила: — Так все-таки их в войну сюда пригнали?

Отец с сочувствием посмотрел и, опуская глаза, коротко вздохнул.

— Как тебе сказать, история тут длинная... Их еще при Екатерине, была такая царица, в Россию, на Волгу — там хорошие, необжитые земли были тогда, — из Германии пригласили... Вот там они и жили, целыми районами, у них до войны даже своя республика была.

— На Волге, значит, — стала что-то прикидывать мать, — а Иза говорила, в деревню к нам она переехала с девчонками откуда-то ну очень издали, деревьев там нет, ровная земля на сто верст кругом... Там они жили, сказывала она.

— Правильно, переехала она сюда из Казахстана... из Кустанайской области... там, действительно, степи, — подтвердил отец. — Туда их в начале войны переселили.

— Это с Волги?

— Да! — Глаза отца тонко засветились такой знакомой мне лукавинкой.

— И они туда переехали вместе со скарбом, семьями?

— Можно сказать, так, — усмехнулся отец.

— Что же, там лучше, что ли, в Казакстане-то?

Отец согнал с лица всякое подобие улыбки.

— Это дело такое... — стал медленно подбирать он слова, — они туда... как бы это сказать... недобровольно поехали.

— Это как же... силком, что ли? — вырвалось у матери.

— По указу военного времени — в двадцать четыре часа. Узелок, детей в охапку, по вагонам — и вперед! — не удержался отец от какой-то странной горделивости и даже восхищения тем, о чем говорил.

— Вот детей-то всегда жалко... Сколько было Изе тогда? — неожиданно спросила мать.

Отец нахмурился:

— Если ей сейчас где-то тридцать пять — тридцать шесть, то в сорок первом было лет семь-восемь... Ну да, совсем еще ребенок.

Казалось, мать что-то начала понимать. Какое-то время молчала, разглаживая фартук на коленях.

— И за что их в степь-то, за Можай? — неуверенно спросила.

— Война, — уклончиво сказал отец. — В сорок первом немцы перели... караул... Ну этих, наших немцев, решили подальше убрать, мало ли что. Их было тогда в Поволжье, говорят, где-то тысяч шестьсот... армия. Ну, в общем, подумали, как бы в спину не ударили...

— А мы спрашиваем, почему она такая... Иза-то, — странно сказала вдруг мать.

Отец удивленно и даже с какой-то оторопью посмотрел на нее.

— Наверное, там, куда пригнали, в степи-то, в голом поле, небо с овчинку показалось... — нащупала рассеянными глазами какую-то точку в пространстве мать. — Землянки, поди, рыли... А что ели? Здесь на крапиве в войну сидели, а там? Наверное, и надсмотрщики над ними были... как рассказывают вон бывшие кулаки, кого ссылали... У нас в деревне один вернулся... А детское сердечко-то и не выдерживает, покалеченным на всю жизнь остается.

— Надо думать, доставалось... А кому тогда не доставалось! — отец встал и зашагал по кухне. — Про детское сердце ты правильно... Я вот что подумал, — остановился он перед матерью, заметно волнуясь, — деньги мы завтра выделим через профком, как матпомощь, Татьяне Кузьминичне... Изе выдавать их на руки нельзя. И вы вместе с Татьяной... возьмете Изиных девчонок, сгоняете в Москву и все им там к школе купите. Сегодня двадцать седьмое... Успеете?

Какое-то время отец стоял в большой задумчивости, кивал, соглашался с матерью, что время еще есть и все можно сделать вовремя и что «девчонки пойдут в школу не хуже других».

— Я вот... про Татьяну Кузьминичну подумал... — как-то невпопад сказал он. — Другие все мимо... Ну, гуляет, пьет какая-то там Иза, дети там у нее чуть не беспризорные... Ну не все ли равно. А Татьяна — по-другому, не мимо, ввязалась... Ей-то это, казалось бы, зачем?

— Добрая она, — тепло отозвалась мать, — душевная, всегда войдет в положение... — И, на мгновение задумавшись, добавила: — Весной, когда птицу кормить нечем, придешь к ней в правление — мол, так и так, Татьяна Кузьминична... Всегда каких-нибудь обсевков, пусть наполовину с мякиной, но выпишет. Только чтоб тебе не говорила, — улыбнулась мать, посмотрев на отца, — а то, говорит, рассердится, закричит — жене председателя никаких поблажек!.. И так она со всеми.

— Что добрая — это я понимаю, — пропустил мимо ушей рассказ про обсевки отец, — но вот как она зародилась, как развилась в ней — эта доброта? Кто вложил в нее это?

— Верующая она, Татьяна-то! — с чувством сказала мать.

— Знаю, — кивнул отец. — Подпись ее на всех письмах по Покровской церкви после войны стоит... Так ты думаешь, поэтому она так?

— А по-другому тут не получается, — подумала мать и неожиданно добавила: — С Богом жизнь вершишь — добро творишь!

Отец промолчал. В его молчании угадывалось, как показалось мне тогда, скрытое согласие с тем, что сказала мать.

Неверующие. Николай Колов

Седьмое ноября. Праздник. Выходной. В деревне затишье. Выпавший ночью первый снег глушит любое шевеление по дворам, где мужики с прохладцей и враскачку — не надо идти на работу, заводить технику, ехать куда-то — подкалывают на растопку сухих дровец потоньше, носят воду в бани, заправляют кормушки сеном, шуршат рубанком в столярках, покуривают в рассеянном расслаблении, подперев плечом косяк и глядя из сеней на радующую зимним обновлением улицу. Только темные следы джорк по сырому снегу к ферме, где красной тусклой точкой светит с ночи над входом непогашенная лампочка, выдают хоть какое-то движение в деревне. А так вокруг — тишина и покой.

Хорошо в такой уютный, смиренный денек постоять в теплых валенках и нагретой телогрейке с печки у дома, слепить снежок и забросить далеко, жарко умыться оставшейся снежной влагой на ладонях, полюбоваться, как угольно вычернил снег деревья в саду и лаково вызеленил озимь в поле, понаблюдать, как несуетливо и справедливо делят добычу вороны на дороге, как испуганными, длинными махами пересекает заснеженный двор отвыкшая от зимы кошка, пить чистойшей пробы, отфильтрованный ночной метелью воздух... Хорошо! Благодать, да и только!

В самом добром расположении духа пребывает с утра и отец. Вечера на собрании в городе в честь Октябрьской революции совхоз получил переходящее Красное знамя, а отца сфотографировали на районную Доску почета. Сегодня он довольно и важно, расправляя плечи, рассказывает по дому и рассказывает, что знамя вручать приезжал сам председатель облисполкома Сушков. «Обещал, как передовому хозяйству, — указательный палец вверх, — к пятидесятилетию советской власти дорогу гравийную на Покров и Годуново построить. Вот тогда мы заживем. Автобус пойдет. До города за час какой-нибудь — вжик и там!» А когда начинает править на ремне опасную бритву, подпевает в такт бархатному скольжению лезвия по замше ремня: «Так-так-так, говорит пулеметчик, так-так-так, говорит пулемет!» Побрившись и позавтракав с завидным (мать говорит — «волчьим») аппетитом яичницей из десятка яиц с жареным салом, неожиданно предлагает сходить на охоту «по первой пороше».

Но пороша, похоже, только в деревне. На поле в километре от задворок в сторону Белого болота под ногами чистая, с зеленовато-бурым подшерстком стерня сухо царапает соломенным ежиком по голеницам кирзовых сапог.

— Смотри, редкое явление, — оборачивается отец в сторону деревни, перебрасывая ружье с плеча на плечо, — там зима, здесь осень. Снег полосой шел, точно по околице... Но он еще вернется сегодня, — показывает на темные, напирющие друг на друга глыбы туч по небосклону, прикрытые с нашей стороны, с низины, рядом деревенских изб, сетчатой голю верхушек деревьев, в снежном цвету садами. — Хорошо поставлена Четверть, — почему-то вздыхает отец, приглядываясь ко мне, — красиво... на холмах. Со вкусом были люди... А как ты смотришь, сынок, — неожиданно спрашивает, — если мы переедем в Годуново?

Я не знаю, что ответить, я в растерянности. Переехать... новое место... я никого там не знаю... чужая сторона.

— Матери я еще не говорил. Думаю, упрется... не любит она Годуново. Чертов угол, говорит, и стоит на болоте — лошади в грязи тонут... — Отец усмехается. — Ну, это она преувеличивает, образно, как всегда, закручивает.

Пытаюсь что-то промямлить: а нельзя ли оставить все как есть, привыкли здесь, родные места, чем тут хуже?

— Может быть, и лучше даже, согласен... Но оставить все как есть вряд ли получится... — натягивает поглубже модную цигейковую папаху на голову отец. С северо-запада, где на горизонте все выше поднимаются расходившиеся тучи, начинает потягивать холодный низовой ветер. Отец машинально приподнимает и мне воротник пальто. — Понимаешь, ездить каждый день на работу — туда-сюда по восемь километров — не самое разумное сейчас... Дела заворачиваются так, что в Годунове мне теперь надо дневать и ночевать. Совхоз пошел в гору, деньги хорошие выделяются, только успевай. И у меня получается, понимаешь? Чувствую, время мое пришло! — Отец по-боксерски подбирается — голову вперед,



вполоборота решительно натягивает ружейный ремень на плече, крупно прибавляет в шаге. — Тут, видишь ли, удачно все сошлось — опыт, знание, коллектив что надо подобрался... У меня только специалистов с высшим образованием пятнадцать человек. Вот оно, пришло, когда можно развернуться в полную силу. Я, может быть, всю жизнь этого ждал! — Эмоции, холодеющий воздух, быстрая ходьба румянят, омолаживают отца. Синие глаза сияют. В такие минуты я готов с ним хоть на край света.

— Можно и в Годуново... — говорю я, так мне хочется поддержать его.

— Ты молодец, всегда умницей был, — легонько трогает, обнимает меня за плечи отец. Если б он только знал, как я люблю его в это мгновение! Да и всегда люблю. Отец заботливо и с оттенком особого расположения надвигает мне фуражку на лоб. Ветер резко прибавил, чистым голосом полой стали тонко запел в ружейных стволах. Густо пошел снег. Отец перевесил ружье на плече дулом вниз. — Оружие должно быть всегда вычищенным и сухим, — говорит он как бы между прочим, думая о чем-то своем. — Так вот, — договаривает он, похоже, свою мысль, — недавно нам утвердили план генерального переустройства Годуново... Будем строить новое село — с водопроводом, холодной и горячей водой в квартирах, газом... запланировали новую среднюю школу, детский сад, ясли... асфальт по деревне положим, не все же лошадям в грязи тонуть, — усмехается он. — Уже заложили по генплану новую улицу, как только будут готовы первые квартиры, сразу и переедем. С матерью уж как-нибудь улажу...

— А в Четверти?.. — вырывается у меня.

— Что в Четверти? — косится остро на меня отец.

— В Четверти тоже начнется, как в Годунове?

— Ах вот ты о чем, — замедляет он шаг. — Нет... — добавляет после паузы, — в Четверти такое не предусматривается... тут будет просто отделенческая бригада. Все средства бросаются на центральную усадьбу, там будут основные силы, там будет агрогородок.

В словах отца — убежденность, воля и решительность. Так будет! Но что-то задевает и царапает меня в них. Я даже знаю — что, но я не готов хоть как-то противоречить отцу, спорить с ним.

— Жалко... — говорю я неопределенно.

— Что жалко? — машинально переспрашивает отец. Я вижу, мысленно он где-то далеко.

— Жалко, что там асфальт, новые дома, а у нас все по-старому...

Какое-то время идем молча. Отец как-то странно вдруг замолчал. Неодобрительно крутит головой по сторонам. Слышно только, как с тесным шорохом падает на землю тяжелый, сырой снег и сочно выворачивается из-под сапог рыхлыми, с травинками, комками, на глазах теряющими белизну.

— Похоже, уьем мы сегодня только ноги... Все попрятались по норам, — продолжает осматриваться вокруг отец. Но я чувствую, что

думает он о другом. — Хотя знаю, тут, в поле на Гордеевке, всегда куропатки водились. Сейчас давай через Марков луг и по ельнику направо... посмотрим там.

Однако мы за разговорами, незаметно, обогнув Белое болото, по полям и перелескам, опушке березовой рощи (Земляничной, как звали ее по обилию ягод, где в детстве мы безвылазно паслись летом) вышли к чаще Маркова луга — огромной, удивительно ровной долины, обхваченной с двух сторон широкими ладонями крутых косогоров. Место красивое и раздольное, с самыми богатыми и пышными покосами в окрестности. Сюда мы с матерью часто ездили на лошади за сеном. Со стороны Четверти луг пересекает дорога и уходит вверх по увалам в сторону лесной деревеньки Новоселки — крайней точки нашей земли, дальше Юрьев-Польский район и Кольчугинский лес. Грязь на дороге в самой котловине свежая и черная, ее не успел еще припорошить снег, по отпечаткам гусениц видно, что прошел трактор из Новоселки, свернул в сторону Гордеевского поля.

Я вспоминаю, как года три назад на Марковом лугу работали геологи, с вездеходом, буровой установкой, палатками, — искали нефть. Тогда новость — геологи бурят на Марковом лугу — взбудоражила деревню. Отец с несколькими наиболее грамотными и толковыми мужиками даже заезжал к геологам на газике в их лагерь. Я тоже с ними ездил. Вели себя геологи с нашими снисходительно и надменно. Ничего про нефть не говорили, к буровой, посмотреть, не подпустили. Когда возвращались, отец, скрывая неловкость, сказал: «Все, что в земле, — гостайна! Бдительные, блюдут!» Прозвучало неубедительно. И мужики, переглянувшись, стали мстительно ехидничать, как несладко геологам приходится, если «бабаповариха у них на всех одна». Среди деревенских мальчишек слухи, что вот-вот у нас найдут нефть, вызывали страстное обсуждение и мечтания взахлеб, что Четверть станет городом с кинотеатрами, мороженым, газировкой и, может быть, даже метро, как в Москве, где можно кататься хоть целый день... Про «большую нефть» в Сибири, и что за ней следует, мы уже кое-что слышали и читали.

Но геологи вскоре уехали, так ничего и не разбузив. Слухи улеглись, но мы еще долго бегали на Марков луг, отыскивали в траве круглые дырки скважин, заглядывали в их непроницаемую, темную глубину и с надеждой, что плеснется все-таки нефть, бросали туда мелкие камни. Камни беспрепятственно летели куда-то вниз, беззвучно падали на невидимое дно, хороня в недрах земли мальчишеские деревенские упования.

— А ты это хорошо, ловко снова вывернул на свою колею, — усмеяется одобрительно отец, когда я рассказываю ему о наших «нефтяных» грезах. — Но вряд ли здесь будет что-то такое, к сожалению... — Отец сует руку в карман тужурки и задумчиво начинает поигрывать там отзывающимися тяжеленьким стуком медными гильзами патронов. — Так решено... Четверть, увы, — неперспективная деревня. Деревни, где меньше



сотни дворов, неперспективные. Это государственное решение... А мы — люди государственные. Все, говорю, направляется в Годуново. Кто-то переедет на центральную усадьбу отсюда, кто-то останется. Дальше что? Будем направлять сюда передвижные звенья — сеять, пахать. Жалко, конечно, что тут скажешь... Пятнадцать лет председателем здесь — много вложено, о многом мечталось...

Отец со вздохом сбрасывает ружье с плеча, привычно и ловко на ходу размыкает затвор, бегло проглядывает на просвет ствола. И, нашарив в кармане пару патронов, заряжает. За еловым лесом на другой стороне Маркова луга начинается уже Гордеевское поле. Возможно, с куропатками.

— Интересно, всегда думал, откуда это название — Марков луг? — спрашиваю я, когда мы пересекаем долину.

— Тут когда-то деревушка была — Марково... вот отсюда и пошло.

— Давно?

— Давно... Кто-то мне из стариков рассказывал, что она еще до семнадцатого года разъехалась по хуторам... Вы в школе про Столыпина учили? — спрашивает неожиданно отец. — Нет еще... Так вот, Столыпин... Столыпин до революции правительством руководил. Суровый и решительный был деятель, врагов царского строя, не задумываясь, вешал... про «столыпинские галстуки» вам еще расскажут. И фермерство, единоличников, говоря по-современному, насаждал... Крестьянскую общину, коллективный труд ломал, мужиков на хутора выгонял, всех единоличниками пытался сделать, якобы на себя мужик будет работать лучше. Между прочим, Гордеевское поле, куда мы сейчас идем, от имени такого хуторянина Гордея... Этот Гордей там бирюком до колхозов дожил и первым, говорят, от тоски в колхоз записался. — Отец довольно рассмеялся. — А время показало, что ошибался Столыпин! — бодро подбрасывает он ружье на плече. — Коллективное владение землей оказалось ближе русскому крестьянину! Потому и принял он в итоге колхозы. Миром, коллективом ему сподручнее выживать. Сообща он крепче на ногах стоит... Так что правильно, что на новом этапе снова собираем народ в мощную, коллективную силу. Жить маленькими деревеньками — это все равно, что по хуторам прозябать.

Не знаю почему, но мне кажется, что отец с чем-то спорит в себе. В чем-то пытается переубедить себя. Но это только мои догадки. Что на душе у отца, что его трогает, озадачивает, что заставляет нервничать, угрюмо и напряженно думать — я вряд ли когда узнаю. О своих проблемах, сколько я помню, отец никогда и ни с кем не говорил.

Мы вышли на Гордеевское поле, когда день, и без того серенький, несветлый, с низкими тучами и темнящей пространство метелью, начал тускнеть и чахнуть на глазах. На противоположной стороне поля рвал голоса, ныряя по низинам тупоносым башмаком, дизельный трактор. Когда он, периодически сбавляя ход, начинал тужиться на малых оборотах, из трубы черными кольцами летел дым.

— Кто это там так кочегарит? — начал всматриваться отец. — Трактор — полная развалюха: масло цилиндры забивает... На отделении таких давно вроде нет. Хотя следы из Новоселки шли... наш. И что он тут делает? За дровами новосельские приехали? Не похоже, тележки сзади не видать... Но он что-то явно тянет за собой... Пыхтит и дымит, как броненосец «Потемкин». Плакали наши куропатки...

Трактор медленно выбрался на высокую половину поля и пошел по окраине в нашу сторону.

— Ба, да он пашет! — воскликнул отец и в каком-то нетерпении двинулся навстречу.

Трактор приближался, по-волчьи посверкивая желтыми фарами сквозь снежную муть. Атласом отливающими лентами закручивались сзади влажные отвалы взрезанной плугом земли. Вот он поравнялся с нами и, качнувшись вперед всем своим массивным, вонюче-разогретым железным телом, затормозил. Задергалась, заедая в пазах, раздвижная дверца кабинки, на полкорпуса высунулся тракторист в зимней шапке с загнутыми ушами без тесемок.

— Владимир Васильич, ты, что ли, едрена корень? — крикнул, глядя в нас.

— Вылезай, Николай Сергеич, свои! — как-то по-особенному охотно и тепло отозвался отец.

Небольшой, полный, в туго обхватывающей выпирающий живот короткой фуфайке человек неуклюже выставил ноги в валенках с калошами на забитую снегом и грязью гусеницу трактора, выпрямился, спрыгнул тяжелым рыхлым кулем на землю. Это был сильно состарившийся, трудно узнаваемый новоселковский бригадир в бытность отца председателем — Николай Сергеевич Колов.

— А я смотрю, неизвестные люди, с ружьем... малость струхнул... Каким тебя ветром занесло в этакую непогоду сюда, Владимир Васильич, дорогой ты мой? — Колов, не скрывая чувств, кинулся с объятиями к отцу.

— Да вот решили, так сказать, по первой пороше с сыном... — с несвойственным ему оживлением, порывисто и сердечно ответил отец, обнимая Колова. — Ты-то что тут делаешь — сегодня же праздник, выходной!

— Да что там выходные, не сегодня-завтра морозы ударят... А зябку поднять надо.

— Именно сегодня? Да у тебя целая осень была...

— Говорил, говорил, Владимир Васильич, весь сентябрь и октябрь напоминал новому управляющему... Но я теперь кто? Простой совхозный рабочий. Кто меня слушать будет? Вот и дотянули... Спасибо, что хоть трактор еще не отняли, остался один в деревне, — захлебывался в словах и радостно, и обиженно Колов. — Вот решил сегодня, дообещались, шельмы... Чую — завтра поздно будет... Управляющий, он что? Он приезжий, он не знает, какое это поле, золотое наше поле! Вспомни-ка, Вла-

дими́р Васи́льич, сколько мы тут пшенички на круг брали — по тридцать с лишком центнеров! Нашу пшеницу в Москву на выставку всесоюзную возили! — Голос Колова пресекался, подбородок и полные, чисто выбритые щеки задрожали. Фалангой большого пальца вытер глаза отец.

— Случалось, — отвернулся он в сторону, — и под сорок брали... Земля тут, действительно, золотая.

— Юрьевское ополье! — горделиво посмотрел на меня Колов как на человека в чем-то стороннего и мало сведущего. — Почвы — полу-чернозем, гумуса до десяти процентов... чудо из чудес среди наших су-глинков! Так нам, кажется, ученые объясняли — а, Владимир Васи́льич, помнишь? — Отец с чувством кивнул. — Ну, тебе-то я зачем это говорю, ты-то все знаешь и понимаешь! А они — приезжие, не знают, не фурычат ни хрена! Вот так всю осень и тянули... А у меня душа не на месте, веришь ли, измаялся весь — не перепашешь в зиму, летом сорняк забьет, плакали тридцать центнеров с гектара! Ждал-ждал, пока приедут... Но вчера вижу — снег пошел, не дождусь... С утра наш тракторишко деревенский, полуживой, завел, плужок еще колхозный, допотопный прицепил — и сюда... Нельзя, думаю, порядок нарушать... Зябь поднимешь, весной любо-дорого будет — продискуй-проборонуй и сей на здоровье. Яровые любят по зяби-то, недели на две раньше созревают. — Лицо Колова вдруг жалостливо сморщилось: — Эх, Владимир Васи́льич, вспомнишь, как мы работали... Каждый клочок, каждую делянку обрабатывали! Такая обязательность в людях была, делали, как крестьянская жила велит. Старались, как же старались! Вспомнишь — и радостью, и горечью сердце обольется! — Колов достал из кармана чистую, с бахромой, оторванную, судя по всему, от старой простыни тряпицу, высморкался, поднял на отца слезящиеся глаза.

— А почему с горечью-то, Николай Сергеич? Не узнаю тебя! Ты же всегда... С чего горевать-то нам?! — воскликнул отец.

— Не с чего вроде бы, не с чего, дорогой ты мой друг! — взволнованно потупился Колов. — На следующий год седьмой десяток разменяю, тут и пенсия теперь от государства, на покой можно... И все, что могли, кажется, сделали. А на душе как-то не так... — Колов пристально посмотрел на отца. — Вот смотри... был колхоз, куда жизнь вкладывали, — нет теперь колхоза. Деревня была... Ты помнишь, какая у нас деревня была — можно сказать, одной семьей жили, пруды рыли, рыбу на всех поровну делили, дома всем миром ставили, деревья сажали, да не простые, а липку все благородную... начальную школу сообща срубили.

— Помню все, нигде такого никогда не встречал, — дрогнул голосом отец, — любил я к вам ездить... Удивительные были люди.

— И мы тебя тоже любили, Владимир Васи́льич! — еще больше разволновался Колов. — Молодой ты был председатель, а человека понимал — не ломал через колено, кнутом вперед не гнал, лучшие куски себе не нарезал, ел с общего стола, как говорится. Люди это видели... Народ за тебя горой был. Помнишь, как мы тебя в облсовет выдвигали? Все как

один «за»! Мы тогда с тобой на подъеме были. А сейчас что? Я к чему разговор-то начал? Колхоз был — сейчас нет...

— Ну что ты заладил... — перебил отец. — Был колхоз — стал совхоз, укрупнились, но земля-то осталась прежняя, трудись, работай, как всегда... Что по сути-то изменилось?!

— Погоди, Владимир Васильич, не горячись, — мягко остановил его Колов. — Колхоза нет, колхоз — это свое, когда от каждого и от всех тут больше зависит... Ну а потом — сами породили, сами взрастили, прикипели взаимно... Совхоз — другое, тут окончательно государство все решает, бесповоротно, быть по сему и все такое прочее. Колхоз упразднили, списали нас, как это сейчас говорят, в неперспективные, и все — посыпалась наша деревня... Ничего не строим, новых производств не открываем. Еще ферма теплится — но, слышал, скоро и ее от нас переведут. Народ разъезжается, кто в Александров, кто в Кольчугино. Всего три рабочих мужика осталось да я в придачу, почти пенсионер... Владимир Васильич, неправильно это все, загубим деревню...

Отец не ответил и с каким-то особым вниманием посмотрел на Колова.

— Николай Сергеич, — вдруг сказал неожиданно, — может, переедешь в Годуново? Дадим квартиру — с паровым отоплением, горячей водой. Подыщем хорошую должность, ты еще мужик крепкий, ну, скажем, завскладом, дело для тебя знакомое, привычное... Поработаем, как говорится, во славу новой деревни. И я буду уверен, что все будет на месте, в целости и сохранности, и тебе в старости будет полегче. Как смотришь?

— Чего тут смотреть, Владимир Васильич, отзывчивая ты душа, — часто заморгал ресницами Колов. — Куда уж тут с насиженного места... да и зачем? Это только змея меняет кожу, а человеку все привычней в старой. Здесь умереть хочу. Пока силенки есть, буду пахать Гордеевку... А в новую деревню ты молодых зови. В новые мехи, как сказано, и молодое вино.

— Где сказано? — насмешливо, но дружелюбно подхватил отец, с радостью меняя тему. — Ты тут к попу из Тютюкова случайно не бегаешь? А что — через лесок, всего два километра... а, Николай Сергеич? — потрепал он дружески за плечо Колова.

— Помер он, — строго сказал Колов.

— Когда?

— Да по весне еще... в конце апреля где-то.

— Вот как, — призадумался отец, — ушел последний поп в округе... Таких Хрущев по телевизору обещал показывать.

— Много чего этот пустомеля обещал, — проворчал неодобрительно Колов.

— Ему, наверное, под девяносто было? Он, сколько помню, все в старичках ходил...

— Ну да — за восемьдесят, хорошо так за восемьдесят... — через паузу подтвердил Колов, — но умер в полном рассудке. Он еще прошлым



годом у нас одну старушку отпевал... привозили. — Колов машинально намотал тряпицу на палец, вздохнул. — Вот тогда мы с ним долго говорили... часа, наверно, три, а то и больше. Он мне тогда от полноты чувств одну старинную книгу подарил, теперь читаю вот... Это я оттуда, ты правильно подметил, вставил... Ну и потом я к нему пару раз в Тютьково сам наезжал...

— Не знал, честное слово, не знал, — встряхнулся отец, — ты не подумай ничего такого...

— Да я и не думаю, чего уж тут такого... Время изменилось, — пожал плечами Колов. — Интересный человек был, по полной в жизни все-го хлебнул, пятнадцать лет в местах заключения... но добрый был, необо-зленный. Дивлюсь я на таких — вот это люди... Эх, Владимир Васильич, наломали мы дров! — вырвалось вдруг у Колова. — Отмотать бы кое-что назад, да не получится!

— Это ты о чем, Николай Сергеич?! — понятливо заулыбался отец.

— Много говорить не буду, тут лишних слов не надо, — насупился Колов. — Скажу так — переборщили мы с религией. Она ведь тоже за правильного человека... только со своей колокольни.

— Когда колокольню в Покрове ломали, нашли в камнях остатки красного флага, — заговорил отец ровным голосом, как по писаному, — который водрузили еще в тридцатых над куполом церкви. Сейчас в музее в Александрове хранится как символ победы нового над старым.

— Умешь ты, Владимир Васильич, сказать и на место поставить, — усмехнулся Колов, — и не обидно нисколько... Сейчас я бы такого никогда не сделал! — сорвалось у него. — Глупый был, сопляк еще!

— Ладно, чего уж там, Николай Сергеич, — примирительно сказал отец, — что было, то было. Вот, скажем, с той же церковью... Распоряди-лись мы ей неверно. В этом и моя немалая вина есть, признаюсь. Стояла бы себе... местность украшала... Это тогда она была не памятник стари-ны, а лет через двести была бы уже памятник! Не понимал... Но глупо и нехорошо отрекаться от своих идеалов... Люди верили в новую жизнь, а вера... вера — она ослепляет. Это уже потом разум приходит... Но это ослепление от веры, когда оно чистое и бескорыстное, человека не марают. Потому что оно, как бы это сказать... праведное. Так я думаю почему-то... — пристально посмотрел в глаза собеседника отец.

— Интересно получается, — выдержал взгляд Колов, — ты здесь очень сходишься с тютьковским батюшкой. — Отец неопределенно хмыкнул. — Он мне как-то сказал, что прощается несправедное, совер-шенное по чистоте сердечной... Не по незнанию, нет... а в порыве как бы души незамутненной... Он меня тогда не скажу, что утешил, но сильно ободрил. Вот и ты, Владимир Васильич, тоже... Видать, и с тобой, друг ты мой старый, встреча сегодня была не случайной. — Колов, прикла-дывая тряпицу к глазам, оглянулся на трактор. — Темнеет, до ночи надо успеть. — И выбросил коротко руку отцу. Они обнялись — с той про-никающей сердечностью, когда расстающиеся словно знают, что новой

встречи не будет. Пожал на прощание Колов руку и мне. Наклонившись, шепнул:

— С Валеркой не дерешься?

Надо же, помнит. Как-то раз отец взял нас с братом в Новоселку. Мы любили покататься с ним по хозяйству. Особенно в дальние деревни... Пока отец совещался с Коловым в его доме, нас стравили с братом на потеху деревенские мужики. «Валерка сильней! Нет, Сашка сильней! Ну-ко, кто кого поборет...» И пошло. Помню, дрались мы с остервенением. Отец вышел от Колова, разнял нас, жестко встряхнув за шкирки, сел в машину и уехал без нас. «Пока до дома дойдете, помиритесь и, может, поумнеете!» Вот и шли мы долгой дорогой по лесам и полям, мирились и умнели. За Земляничной рощей нас догнал на телеге Колов. Доставил до дома в целости-сохранности, но «чтоб отцу ни-ни». Было мне тогда лет шесть, брат собирался пойти в первый класс.

...Когда мы снова через долину Маркова луга напрямую поднялись на другую сторону увалов, трактор, сделав по полю круг, вынырнул в сумерках ярко освещенным передком к нам. Снег прекратился, и контурно выделось на белом, как ширится и прибавляется за ним черная полоса пашни. Отец поднял ружье и дуплетом разрядил в воздух. Столбы оранжевого пламени из ружейных стволов на мгновение выхватили в полутьме и зажелтели, состарили строгое отцовское лицо.

— Прощай, русский пахарь, чистая душа... салютую тебе! — едва слышно выговорил он.

В ответ нам трижды разгорались до белого каления фары и таяли прощально одинокими красными огоньками в глухо и сиротливо темнеющем, но еще с человеком, поле.

...Не так давно на холме над Богоной, там, где когда-то стояла церковь Покрова Пресвятой Богородицы, появился поклонный крест. Двухметровый, незатейливо, но прочно сваренный из железа, скромный и неброский, он поставлен к 150-летию каменного храма какими-то памятливыми, неравнодушными людьми. Возможно, потомками тех, кто боролся как мог за церковь в пору недавнего осатанелого богоборчества и новоязыческих гонений на христиан. Явленный тихо и незаметно, он словно вырос из-под земли. А вдруг народное поверье начнет сбываться в полной мере? И тогда храм на Богоне поднимется вновь во всей своей красе и крепости? Кто знает, все может быть в нашем таинственном, непредсказуемом мире. Как говорится, неисповедимы пути Господни. Да будет так.



Дмитрий МЕЛЬНИКОВ

«ПРОСТО МУЗЫКА В ИТОГЕ...»

* * *

Пьер, компания, кварталный,
в Мойке плавает медведь,
воздух питерский печальный
прогревается на треть,
над рекой плывут туманы,
люди, кони, птицы, львы,
Пьер, Курагины, романы,
дух купеческий Москвы,
неизбежная война
с гениальным человеком,
жаль, столица сожжена,
Пьер, идущий в ногу с веком,
счастлив, любит и любим.
— Дай мне насладиться им, —
говорит Толстой Татьяне,
где-то на чужом диване
умирая, — слушай, дочь,
там, за гранью, только ночь,
нет ни истины, ни света.
Как я истину любил!
Как я в ожиданье снега
к лесу ближнему ходил.
Помнишь медный самовар,
помнишь Соню, помнишь Берга,
снова на Москве пожар,
как я в ожиданье снега...

уходил... так будет лучше...
вы живите, мне невмочь.

Белой маленькою ручкой
крепко держится за дочь.

Пьер, Андрей, Наташа, дети,
Софья, глупая жена,
нет в Толстом ни сна, ни смерти,
только истина одна.

* * *

Вот дом, забор, кирпичная стена,
за поворотом музыка слышна,
на велике проехал толстый мальчик,
у магазина женщины судачат,
подросток тычет пальцами в смартфон,
вот бабка, ковыряясь в огороде,
глядит на безучастный небосклон
и ждет дождя, который не приходит,
вот лавочка, на ней девица ждет
автобуса, вот бабка за киот
закладывает пенсию, оставив
две тысячных бумажки на расход,
вот день сгорает к вящей божьей славе,
и красные закатные лучи,
тяжелые, как орденская лента,
мне на плечо ложатся... не молчи,
скажи, что хороша картинка эта,
вот дом, забор, кирпичная стена,
а дальше поле, за которым тьма,
а дальше мироздания граница,
и темная материя, и Бог,
я выхожу на воздух, за порог,
и в темноте мое лицо лучится,
луна, моя безумная сестра,
мне отвечает отраженным светом,
и звезды, словно искры от костра,
скользят по небу при порывах ветра.

* * *

Не говори мне о любви,
ни о любви, ни о разлуке,
кусты шиповника в крови,
и капли падают мне в руки,
по небу лодочка плывет,
а кажется, что месяц ясный,
по полю ходит белый кот,
глухой, холодный и прекрасный,
и там, где тронет лапой он, —
там на траву ложится иней,
и я протапливаю дом,
а ты, которая любимей
всего — и неба, и земли,
не говори мне о любви,
не слыша криков журавлей,
не слыша, как гудят их перья,
ни как над родиной моей
шумят горящие деревья,
и красным золотом во тьме
на землю падают без дыма,
и обжигают сердце мне
тем, что ничто неповторимо,
что дважды в реку не войдешь,
что клятвы остаются в силе,
что больше не случится дождь,
тот, под которым мы ходили.

* * *

В среднерусской местности,
словно на погосте,
от пропавших без вести
остаются кости.

Их тяжелой лапой ель
глядит осторожно,
души их в раю теперь,
если так возможно.

Снег сладчит, вода горчит,
стелется морошка,
на груди солдатской спит
рыжий мох, как кошка.

* * *

Поземка кончилась, колючий ветер стих,
поговорим о мертвых и живых,
о том, что наше прошлое прекрасно,
о том, что снег, как сливочное масло,
сияет под огромною луной,
о том, что я не вышел из тумана,
о том, что ты царица Несмеяна,
которая смеется надо мной,
о том, что сестры — радость и печаль,
о том, что наши встречи — часть разлуки,
о том, как ты, разглядывая даль,
красивые заламываешь руки,
о том, что из-за линии берез,
сомкнувшихся с холодным синим небом,
на нас глядит волшебный белый лось
с рогами, нарисованными снегом,
наш подлинный языческий тотем,
бесхитростная мощь и плодородье,
когда меня разлюбишь ты совсем,
я спрячусь в эти снежные уголья,
в бескрайний и замерзший русский лес,
без жалости, без самооправданья,
бродить под звездным куполом небес
и исполнять заветные желанья.

* * *

Мне введома была усталость,
к себе мучительная жалость,
я не поэтом был тайком,
а просто русским мужиком,
разбойником с большой дороги
из вольности — не по злобе,
а злость я вымещал на Боге,
и только с водкой — на себе,
когда тоска зеленым змием
вилась по сердцу моему,
я был не иноком, но Виєм,
я праздновал ночную тьму,
накрывшую холодный город,
дворцы и площади Москвы,
как будто на церковных хорах





мне пели темные волхвы,
что жизнь моя во мрак из мрака
сойдет и канет без следа.
Но сколько нежности, однако,
во мне бывало иногда.

* * *

Все прошло, осталась ты.
Просто белые дороги.
Просто белые цветы.
Просто музыка в итоге.

Ветер, воющий в трубе,
дом, прокуренный под утро,
изменения в судьбе,
незаметные как будто.

Поле, дерево, сорока.
Ты, которую любил.
Все прошло. Осталось много,
много больше, чем просил.

* * *

Дорогомиловская в дымке,
туман, любимая, туман,
собачка в синей пелеринке,
подходят голуби к ногам,
ворона важная во фраке
обходит мусорные баки,
находит сухарей пакет
и в луже мочит. Смерти нет,
крылами черными взмахнув,
она тебя одну оставит,
оставит, бедную, одну,
а глупого меня прославит,
а может, будет все не так,
пойдем в дежурную аптеку
к зеленой вывеске во мрак
и в нем исчезнем. По паркету
собачка белая пройдет,

попьет из белой миски воду,
и в зеркале увидит кот,
как мы стоим у поворота
в тумане, милая, в тумане,
московской осенью, в раю,
и как я руку грел в кармане,
в кармане руку грел твою.

* * *

Ангелы имеют вес,
и не только в горнем мире,
так же музыка небес
ночью бродит по квартире,
наклоняется к тебе,
на постели тихо спящей,
так же ты к моей судьбе
и душе моей пропащей
наклонилась, подняла,
словно бабочку за крылья,
отлепила от стекла,
и бесстрашно, без усилия
отряхнула ото сна —
сердцу девы нет закона.
Под Москвой стоит весна,
как войска Наполеона.



Дмитрий ИВАНОВ

ОТПУСК НЕ ПО ПЛАНУ

Р а с с к а з

В деревню к отцу Виктор приезжал ночью: автобус из райцентра, где он пересаживался с поезда, приходил в двенадцатом часу. Он любил эти ночные приезды. Отец встречал на остановке за деревней. Виктор выходил из автобуса, вдыхал воздух полей, запахи полыни и теплой земли, обнимался со стариком. Пройдя спящими уже задами деревни со смутно чернеющими в темноте зарослями бурьяна, сразу из переулка они выходили к отцовскому дому...

Так было и в этот раз. Подойдя, Виктор увидел знакомые очертания шиферной крыши и ветки березы в палисаднике, чернеющие на фоне еще светлого неба, и у него дрогнуло сердце. Отец толкнул с трудом поддающуюся, разбухшую от дождей калитку, они вошли во двор, заросший высокой травой. В темноте она напирала на крыльцо молчаливой стеной. Во дворе, во всей уже спящей деревне стояла глубокая тишина. Пока отец скреб ключом и открывал дверь, Виктор поставил чемодан на крыльцо, слушал эту тишину.

Из окон веранды далеко во двор, посеребрив метелки травы, упали прямоугольники света. Дом ожил, выступил из мрака. По домотканым дорожкам Виктор шагнул на знакомо пахнущую сухими травами веранду, потом в прохладные комнаты, где безмятежно тикали старенькие ходики, — радостно узнавая эти запахи и звуки. На столе в большой комнате уже стояли тарелки, две граненые стопки, лежал пучок огородной зелени: его приезда отец всегда ждал, заранее готовил немудреный ужин.

Когда сели за стол, Виктору бросилось в глаза, как за то время, что не виделись, сдал старик. Он еще больше сгорбился, поседел, но, главное, погасли, стали блеклыми, выцветшими его когда-то живые черные глаза. Последние два года отец серьезно болел.

— Ну, с приездом, — без всякого выражения сказал он, подняв свою наполовину налитую стопку, и, вместо того чтобы выпить, непонятно смотрел на нее, словно собираясь с силами. Отпил глоток, отставил в сторону.



Раньше при таких встречах они засиживались до поздней ночи, не могли наговориться. Выходили на крылечко подымить в звездное небо, снова возвращались... И теперь поговорили, но уже не так. Виктор рассказал последние домашние новости: сообщил, что у дочери вот-вот защита в аспирантуре, что жене дают отпуск в октябре и что у них в доме отключили горячую воду. Отец слушал, иногда вставлял слово, но больше молчал. Курить после инфаркта он бросил.

Посидев с полчаса, вдруг, с трудом распрямляя спину, встал из-за стола:

— Ладно... Ты сиди, ешь, пей, а я пойду лягу. Что-то устал сегодня.

«Совсем сдал», — думал Виктор, выйдя покурить в одиночестве, когда старик уже лег. Это его тревожило — они всегда были близки. После ранней смерти матери отец, так и не женившись, воспитывал его один...

Докурив сигарету, Виктор сошел с крыльца, по траве, в темноте щекотавшей руки, прошел в огород. Ночь и вселенская тишина, какой не бывает в городе, обступили его, только где-то рядом все еще стрекотал полуночник кузнечик. Спала в темноте необъятная земля, загородная даль, а на самом краю этой волшебной ночи, где проступали очертания лесистых гор и где — Виктор знал — уходило в лес шоссе, бежал, подмигивал ему огонек. Он стоял, слушал тишину и думал о том, что человек рождается, старится, умирает, а земля со всей своей красотой остается. И ничего с этим не поделаешь.

* * *

Этот дом отец купил давно... В юности он уехал из деревни: в городе окончил техникум, пошел работать на завод, обзавелся семьей. Родился маленький Виктор. Когда умерли дед и бабушка Виктора, к которым ездили каждое лето, в их опустевший дом перебралась с семьей отца сестра, а сам он через несколько лет купил неподалеку эту самую избу под летнюю дачу. Говорил, что умрет на родине, в своем доме.

В жизни их семьи этот дом стал целой эпохой. Отец, который года не мог прожить, чтобы не побывать в деревне, увлекся им, как ребенок, и увлек Виктора. Много летних отпусков перестраивали они эту старую, из потемневших от времени бревен избу и всю заросшую крапивой и чертополохом, давно пустовавшую усадьбу. Везли сюда из города старую мебель, старые половики и занавески, искали колосник для новой печи...

Этой печью отец просто болел: зимними вечерами в городе делал ее чертежи, придумал поставить ее в избе наискось, чтобы обогревала сразу обе комнатки, прихожую и кухню. А летом привез из райцентра знаменитого печника Михеева, и тот вместо худой старой сложил ему новую чудо-печь с плитой, «летником» и «зеркалом», с карманом для сушки валенок и такой тягой, что, растапливаясь, она даже не гудела, а пела. Растапливать и слушать это пение стало у отца целым ритуалом. И он всем рассказывал, что печь его — единственная в мире, потому что стоит в избе по диагонали.



Другой их с Виктором любовью стала стоявшая в углу двора, задом в высокой крапиве, старая баня. Они перестелили в ней подгнившие полы, отгородили маленькую парилку, заменили старую прогоревшую печку на новую, сваренную из тракторных колесных дисков. В жаркие дни баня стояла тихая, прохладная, в полутемной, пахнущей мылом и сыростью мойке по промытым до прожилок плахам пола бегали голенастые пауки-косиножки. В такую жару хорошо было просто зайти в холодок предбанника, полежать на лавке... А в субботу, когда баню топили, Виктор, наоборот, любил посидеть возле потрескивающей печи, в волнах сухого тепла, понаблюдать, как колченогая паучья братия в ужасе убегает в щели от нарастающего, беспощадного жара.

А еще был чудесный поднавес, который они с отцом сотворили из остатков развалившейся стайки. Отец хотел именно поднавес, чтобы с обзором, чтобы можно было видеть загородную даль. В их уютном поднавесе были и верстачок с тисками, и скамеечка для отдыха, и поленица березовых дров, и запах березовых веников, которые висели под крышей. А главное, там можно было сидеть и смотреть, как из-за голубых гор фиолетовыми стенами встают и идут на деревню грозы, слушать перекаты далекого грома...

Были и другие чудные уголки в этой замечательной усадьбе, которую они лето за летом обустроивали по своему вкусу.

Это была радостная работа. Хорошо, сидя на крыше поднавеса и прибывая шиферный лист, глядеть с высоты на вольно раскинувшиеся огороды, на пятнающие далекие увалы тени облаков! Хорошо, поработав от души, сесть в теньке, вытянуть гудящие от усталости ноги и сидеть неподвижно...

Они с отцом любили отдыхать на уютном крытом крылечке избы на низенькой лавочке. Курили, пили чай со смородиновым листом, вели длинные разговоры о глобальном потеплении, о том, что на Кривом озере хорошо берет карась... А рядом клонил голову-метелку проросший между плахами стебель тимopheевки, и с него спускался на паутинке малюсенький паучишка, и толклись перед глазами в теплом воздухе, то зависая неподвижно, то бросаясь в сторону, словно подслушивали их разговор, озорные луговые мушки. Казалось, все они — и травы, и паучишка, и мушки, и даже плывущее по небу легкое облачко — участвуют в беседе, неторопливо текущей в простроченной кузнечиками тишине двора.

Они так привыкли ко всему этому, что, когда однажды все оказалось сделано и можно было наконец начать спокойно, по-дачному, отдыхать, они растерялись...

К тому времени отец уже вышел на пенсию и приезжал в деревню на своем «москвиче» рано, в апреле-мае, жил до глубокой осени, год от года все дольше. Иногда прихватывал и зиму. Каждую весну, когда подходило время отъезда, он уже рвался из города, из шума и суеты.

— Приеду, загоню машину во двор, закрою ворота — и попробуй меня достань! — озорно прищуриваясь, говорил он.

Для него этот дом был островом спасения и отдохновения, о его тесовые ворота разбивались все несчастья. Прикипел к нему и Виктор.

И теперь, когда дача была обустроена и особой помощи там уже не требовалось, он все равно старался вырваться к отцу летом на недельку-другую, хотя имел в городе собственный дачный участок. Оставив машину жене — ездить на городскую дачу, сам садился на поезд и отправлялся в деревню...

Но в последние годы, на восьмом десятке, отец начал быстро слабеть, стариться. Село зрение, и он уже не мог водить машину, что для него, с ранних лет привыкшего к рулю, стало ударом. В деревню тоже начал ездить на поезде, жил там «безлошадным». А потом случились два инфаркта, после которых он сдал уже всерьез. Стал молчаливым, ушел в себя, потерял интерес к своим многочисленным хобби. Из пожилого, но еще энергичного человека превратился в немощного старика.

Деревенский дом, словно почувствовав, что слабеет хозяйская рука, тоже погрузился, постарел. Потускнели давно не крашенные наличники, начало коситься крыльцо, двор зарастал буйной травой, с которой старику уже трудно было справляться. Недомогаая, он иногда целыми днями лежал в избе, усадьба стояла притихшая, безмолвная. Во дворе прыгали по заборам, высматривая, что плохо лежит, вороватые сороки да с хозяйским видом пробегали куда-то в траве по своим таинственным делам соседские кошки. И грустно-безжизненно, отражая небо, в переполненной бочке под водостоком дома стояла дождевая вода, которую давно уже не брали на хозяйственные нужды.

Все оживало, только когда приезжал Виктор, но ему удавалось вырваться ненадолго. И вот в этом году он взял отпуск на целых три недели.

* * *

Утром Виктор проснулся рано, вышел во двор: день занимался погожий, в складках голубевших за деревней лесистых гор таяли завитки тумана. Оглядел наконец отцовское хозяйство при свете солнца. От покрытого утренней сыростью крыльца с забытыми, нахолодавшими за ночь отцовскими галошами в росистой траве шел неширокий прокос к бане. По нему неторопливо шествовал худой серый кот, брезгливо обходя то тут, то там клонившиеся поперек дороги, отяжелевшие от росы верхушки лебеды. Виктор шикнул — кот нехотя оглянулся, неприязненно сверкнул на него желтыми глазами и, так и не прибавив шагу, скрылся за углом бани... И коты, и одичавший, затянутый крапивой малинник у забора, и вросшие в землю, еле видные в траве старые козлы возле поднавеса — все было на своих местах.

Виктор смотрел, как разгорается день, думал, что вот сегодня-завтра выкосит траву в ограде, поколет дровишек, а потом немного отдохнет — поедит с двоюродным братом Васькой на рыбалку, по грибы. Договоренность уже была.

Вдруг в привычном, до мелочей знакомом пейзаже двора ударило по глазам новшество: там, где была крыша сарая, — сквозило небо. И он вспомнил. Приехав в деревню в апреле, отец позвонил ему на соловьиный и среди прочего сказал, что у сарая, наверное, под тяжестью снега,

провалилась крыша и что восстанавливать ее нет уже ни сил, ни необходимости.

Стараясь не замочить в сырой траве брюки, Виктор прошел к сараю, отбросил березовую соковинку, подпиравшую воротину, приоткрыл ее и протиснулся внутрь. Рухнувшие плахи-стропила, одним концом еще державшиеся на верхнем венце, другим лежали на земле вместе с тесом обрешетки и обломками шифера. Между ними уже лезла вездесущая крапива. Над головой синело небо.

Выбравшись наружу, Виктор сел на крыльце на лавочку, закурил. В этот просторный сарай отец ставил раньше свой «москвич», а когда перестал водить, он за ненужностью стоял почти пустой. Восстанавливать его действительно не было смысла. Отец тогда так и сказал по телефону: «Помаленьку растаскаю, спилю на дрова». «Не растаскал, — думал Виктор. — Сам еле ноги таскает, за самим уже догляд нужен. Хорошо, хоть тетка с Васькой рядом... А ведь какой был раньше шебутной!..»

Скрипнула дверь, щуря от утреннего света полуослепшие глаза, на крыльцо вышел отец. Уперся рукой в поясицу, тяжело сел рядом, затяжно, по-стариковски, закашлялся. Прокашлявшись, глядя перед собой, спросил:

— Что, с дороги не спится?

— Ничего, выспался... За сарай, смотрю, не брался?

— А-а-а!.. — Отец слабо махнул рукой. — То сердце, то спина...

Пусть стоит. Может, как отпустит, попилю маленько.

— Я попилю.

— Отдыхай лучше. Они и дрова эти не особо нужны... Траву свали в ограде и отдыхай. Я вон прокос, чтоб хоть в баню ходить, насилу довел...

Они сидели на своем любимом крыльце, начинался большой летний день, начинался его, Виктора, долгожданный отпуск, и вроде все шло, как задумано. Почти все. Незапланированной оказалась только эта откуда ни возьмись, как черт из табакерки, выскочившая сарайная история.

* * *

Весь день Виктор косил, наводил в ограде порядок, а назавтра они с отцом, взяв литовку и грабли, с утра пошли на кладбище — прибрать родные могилы.

Кладбище, видневшееся на увале за деревней, приходилось как раз против отцовского переулка. До него было ровно восемьсот сорок метров — когда-то отец вымерял это расстояние спидометром и при случае любил об этой близости упомянуть. «Как придет время, повезете меня прямо из ворот по переулку — никуда не сворачивать, удобно», — шутил он, но так, что выходило и в шутку, и всерьез. А в последние годы стал говорить об этом уже без всяких шуток, и Виктор часто замечал, как подолгу он стоял, смотрел в окно, в которое виднелся кладбищенский увал...

Медленно, под шаг старика, тяжело шаркая галошами в уже горячей пыли полевой дорожки, поднялись они в гору. Польшью, медом, теплой землей пахнул крутолобый увал, жаркий ветерок трогал его дикую тра-

ву, словно гладил косматую шевелюру. Здесь всегда стояла тишина, лишь трещали кузнечики да попискивали в бурьяне пичужки.

На заросшем полянью и шиповником кладбище они обошли могилы родных и знакомых, потом выкосили и прибрались в оградке у деда и бабушки. Сели за обитый старой клеенкой столик, налили символически и, не чокаясь, помянули всех сразу. Отсюда, с кладбищенского увала, широко открывалась, струилась в жарком мареве земля: поблескивала на солнце крышами вытянувшаяся вдоль речки деревня, голубели уходящие к горизонту лесистые горы, по спускавшемуся с далекого увала шоссе бежала крошечная легковушка, и, то теряясь в воздушном океане, то вновь возникая, до них долетало тонкое жужжание мотора. Здесь, где в кузнечиковой тишине над могилами задумчиво клонились ромашки, все это виделось и слышалось как-то по-особенному. Словно к жизни, что шла вокруг, на этих голубых горах-увалах, добавлялось что-то еще, непостижимое, безмерное.

Отец долго глядел на деревню, на выползающую из переулка, отсюда, где виднелась крыша его дома, дорожку, по которой они пришли.

— Да-а-а... Восемьсот сорок метров, — наконец сказал он. Помолчал и добавил: — Не забудь, вот здесь меня положите, где сейчас сидим. Рядом с бабушкой.

— Да чего засобирался-то, господи! Сто лет еще проживешь... — не выдержал Виктор и тут же с досадой почувствовал, что говорит не то.

— Сто лет... — Отец отрешенно глядел перед собой. — Эх, Витя...

Где-то, казалось, в глубине увала вдруг глухо рокотнуло, по телу земли прошла дрожь. Виктор взглянул на небо: из-за гор вставала сизая хмарь.

— Ладно, тоску на тебя нагоняю, — глянул на тучу старик. — Давай до дому, пока не прихватило... Помни только: если помру в городе — повезешь сюда. Хочу уйти в эти вот горы, в эти ромашки...

* * *

Трава была выкошена, дрова наколоты. В усадьбе крепко пахло подсыхающим сеном, лишенные укрытия коты торопливо пробегали по кошенине, с опаской глядя на преображенный двор. Можно было начинать отдыхать. Уже запланировали с Васькой съездить на Кривое озеро, но... Виктор все медлил.

На следующее утро после похода на кладбище, позавтракав, он вышел во двор, бесцельно побродил туда-сюда, снова заглянул в сарай. Теперь, выкошенный из травы, тот еще больше бросался в глаза своим уродством. Безмолвно, неприглядно лежали проросшие крапивой обломки. Глядя на них, Виктор вспомнил вчерашний разговор с отцом на кладбище.

«Собрать хоть шиферины, какие не побиты, может, куда еще сгодятся», — подумал он, взял топор с выдергой и начал снимать с остатков обрешетки уцелевшие листы ветхого, поросшего рыжим лишайником шифера и складывать в штабель у забора. Визжа на разные голоса, дымя ржавой пылью, туго лезли из сухого дерева старые гвозди, крошился шифер. Виктор растаскивал завал и, сам не зная зачем, собирал гвозди

в консервную банку, тесины и стропилины складывал в отдельные кучи. Хотя, чтобы испилить их на дрова, этого не требовалось.

Вышел из избы отец:

— Чё это занялся?

— Да вот, шифер целый остался. Надо прибрать, пригодится.

— А-а-а!.. Куда пригодится? Не трать время, езжай на рыбалку...

И ушел назад в избу.

Подняв очередную шиферину, Виктор вдруг увидел под ней смятого, вдавленного в землю петушка из жести, раньше красовавшегося на коньке сарая. Вспомнил, как когда-то отец носился с этим петушком: заказывал знакомому чертежнику эскиз на бумаге, делал трафарет, вырезал по нему из жести силуэт... Как радовался, хвалился петушком, когда прибил его на сарай и тот весело запрокинул голову в голубое небо!

Виктор подобрал изуродованного петушка, счистил с него землю, спрятал в кладовку. Потом попробовал пошире открыть воротину сарая, чтоб удобнее было ходить. Оказалось, разболтались, висят на полувывезших гвоздях навесы — начал их прибивать... Вдруг он понял, что уже не разбирает, а ремонтирует. И что не успокоится, пока не отремонтирует все.

Наконец он сознался себе в том, что мучило его все эти дни. Да, сарай не нужен, в восстановлении его нет ни логики, ни здравого смысла. И дни короткого отпуска улетают один за другим. И на Кривом озере клюет карась... И все же... нужен сарай. Очень нужен!

За обедом он сказал отцу, что хочет поднять крышу.

— Да для чего? — Старик даже рассердился. — У тебя что, отпуск большой?.. Для чего?

— Да так... — Виктор неопределенно улыбнулся. — Будет где барахло хранить, дрова...

* * *

Во дворе снова, как много лет назад, раздался стук топора и вой бензопилы.

Плотник Виктор был не бог весть какой, к работе приступал осторожно. Но вот он разобрал завал, поврежденную падением заднюю, выходящую в огород, стену и, определив фронт работ, увидел, что ничего особо страшного нет. Стало веселее.

И побежали дни этого странного отпуска. Утром, натянув старенькие джинсы и линялую футболку, Виктор выходил в огород, садился на бревно, закуривал. Глядел, как над крутолобыми увалами поднимается солнце, как в луговой дали за речкой темным пятном струится в жарком уже воздухе табун лошадей, слушал, как где-то в бездонном небе гудит невидимый самолет. Покуривав, принимался за работу, и весь долгий знойный день, пока пилил и стучал топором, с ним были эта луговая даль, уходящие за горизонт голубые горы и попискивающие рядом, в разросшемся на меже бурьяне, шустрые луговые пичужки.

Иногда, когда он перекуривал и сидел тихо, из этого бурьяна вдруг появлялась усатая кошачья морда и, встретившись с ним глазами, замирала от неожиданности. Несколько секунд кот недоуменно и раздраженно смотрел на него, потом быстро перебежал открытýй участок и, мелькнув тощим задом с облезлым хвостом, скрывался в рослой картошке... В такой компании, с котами, пичужками, голубыми горами, Виктору не было скучно.

Сарай был старýй, из огромных плах-горбылей, в его иссохших, мстами подгнивших стенах жили личинки, жуки, колченогие пауки. Виктор перетряхивал, вновь складывал все это источенное временем и насекомыми дерево, пытаясь вдохнуть в него свежесть и крепость. Он стесывал гниль с горбылей, укладывал их назад в стену, и ему казалось, что он перебирает, заново сращивает кости старика, возвращает жизнь в его изношенный скелет.

Отец сердито отмалчивался, лежал в избе: мол, делай, что хочешь, только все зря.

Наконец через пару дней утром вышел в огород, долго глядел на разворошенный сарай. Виктор подтесывал очередной горбыль, воткнул топор в чурку. Полез за сигаретами.

Сели рядышком на бревно.

— Заварил кашу, — голос отца звучал устало. — Ладно, раз уж хомут себе надел, так поправь заодно вон столбик, калитку закрыть не могу.

И махнул рукой в сторону покосившейся калитки из двора в огород. Медленно выпуская дым, Виктор чуть заметно улыбнулся:

— Поправлю...

Выходить в огород после этого отец стал чаще. Когда он появлялся, шаркая галошами и подслеповато щурясь, Виктор втыкал топор, устраивал себе передых. Они садились в теньке, беседовали. Про то, что сарай не нужен, старик больше не заикался.

* * *

Усадьба ожила. Как только раздался стук топора, все в ней качнулось, пришло в движение: казалось, встряхнулись баня, поднавес, заборы, звонче застрекотали в крапиве кузнечики. Во дворе и огороде забелела в траве щепка, тут и там лежали бревна, доски.

Наконец, к радости Виктора, эти невидимые, ходившие всюду волны оживления подхватили и старика. Он уже не лежал целыми днями в избе, подолгу сидел с сыном в огороде или на лавочке на крыльце. Они беседовали о науке и политике, о которых отец всегда любил поговорить, а рядом, как в былые времена, спускался с травинки, подслушивал их маленький паучок...

Иногда во время этих бесед Виктор чувствовал на себе пристальные, искоса, взгляды отца, и это его несколько озадачивало.

Старик начал давать советы по строительству — как срастить в паз обломки горбыля, как лучше положить стропилину... Теперь они обсуждали это буднично, будто по негласному уговору вопрос о ненужности сарая был снят.

Возник он лишь раз, когда к ним зашел Васька, с которым так и не съездили на рыбалку. Посмеиваясь, лузгая семечки, он глядел на строящийся сарай с затаенным недоумением.

— Ну вы даете! — сказал он тактично и неопределенно, не зная, как повежливее выразиться по поводу этой, по его мнению, блажи. Свел к неловкой шутке: — Ну, дядя Коля, будешь сдавать в аренду, кому дрова складывать некуда... Жаль, плакала наша рыбалка!

Виктор ожидал, что отец не удержится, скажет что-нибудь вроде: «Да гоню его на рыбалку, а он вот занялся...» Но, к его удивлению, от-вернувшись в сторону, тот лишь глухо пробубнил:

— Да-а-а, буду сдавать...

Тем временем кончился жаркий июль, выпали на Илью прохладные дожди, горьковато запахло освеженной землей и переломившимся летом. В эти дни как-то вечером они с Васькой все же съездили на рыбалку, поймали удочкой по пятку карасей. Так, один смех...

Начался самый трудный этап работы. Из обломков тяжелых старых стропил Виктор стыковал-сращивал новые, обливаясь потом, поднимал их веревкой на стены, крепил коваными скобами, а потом, сидя на них, как воробей на проводах, нашивал сверху обрешетку из старых тесин. Торопился — время уже поджимало.

— Брось, отдохни хоть денек-другой, пока еще возможность есть, — видя, как он корячится со стропилами, в последний раз, уже без всякой надежды, попробовал уговорить отца.

Но теперь, когда доделать осталось немного, Виктор и вовсе не собирался отступать, не хотел жертвовать ни днем. Старик, как мог, начал помогать — подавал тесины, инструмент... И уже Виктору приходилось его окорачивать:

— Оставь, батя, тяжело... Не надо, я сам...

Там, где зияла неприглядная пустота, вырастала, отчетливо темнела на фоне неба стройная обрешетка новой крыши, на которой уже с удовольствием останавливался глаз.

— Смотри, батя, что мы натворили, красота какая! — как-то шуточно заметил Виктор. — Лучше прежнего.

— «Мы», говоришь? — усмехнулся старик, искоса глянув на него. — Смеешься над отцом...

«А ведь понял он давно насчет сарая, — вдруг подумал Виктор. — Виду не показывает, подыгрывает мне, дураку. И неизвестно еще, кто кого перехитрил. Хреновый я психолог!..»

И все же он видел, что старику приятно глядеть на эту обрешетку, сразу придавшую двору строгий, упорядоченный вид.

* * *

В последний день отпуска, день отъезда, был уложен последний шиферный лист. Отремонтированный сарай стоял похорошевший, помолодевший, с аккуратной новенькой крышей, белел свежими подтесами стен.

Казалось, вся усадьба, глядя на него, подтянулась и он стал ее главным строением. В него хотелось что-нибудь сложить, поставить хотя бы велосипед, однако, если не считать лежавшей в углу кучки старых ящиков и еще какого-то барахла, он по-прежнему стоял пустой, и безраздельными хозяевами его оставались пауки да жуки-древоточцы. Зато над новой крышей, гордо запрокинув в беззвучном крике голову, плыл в голубом небе восстановленный Виктором, прибитый на коротеньком древке петушок.

Петушка Виктор прибывал, когда отца рядом не было, хотел сделать сюрприз. Украдкой наблюдал, как, проходя по двору, старик вдруг поднял голову, заметил над сараем знакомый силуэт. Щурясь, подошел ближе, долго смотрел на своего восставшего из пепла любимца. Повернулся к Виктору:

— Я уж думал — пропал мой петушок. Где нашел?

— Под завалом. Видишь, батя, сарай-то все же нужен — подставка для петушка. А ты говоришь — зачем!

— Как? Подставка?

И старик засмеялся одышливым, переходящим в кашель смехом — впервые за эти три недели.

* * *

Уже в сумерках пошли на автобусную остановку, отец провожал. Так же, как в день приезда, чернели на фоне светлого еще неба зады огородов, косматые шапки бурьяна, так же в полях стояла пахнущая полынью тишина. Когда вдали показался огонек автобуса, стали прощаться. Отец повернулся к Виктору.

— Ну спасибо тебе, — голос его звучал странно, надтреснуто. — И за петушка, и за подставку... Плохо только, что сам не отдохнул...

Они обнялись, и Виктор почувствовал, как старик на миг приник к нему, большому и сильному, своим высохшим от болезней, легоньким телом, словно ища спасения, пытаясь убежать от чего-то, надвигающегося медленно и неумолимо, как эта ночь... Приник и тут же отпрянул, отвернулся в сторону. В сумерках Виктор смутно различал его лицо, но чувствовал, что отец разволновался. Разволновался и он сам, торопливо заговорил:

— Ладно, батя... Давай держись, не хворай... Про восемьсот сорок метров не думай, на увал не гляди... Гляди на петушка!..

Сев в автобус, он успел увидеть в темноте за окном одинокую фигуру на обочине. На мгновение мелькнула нехорошая мысль, будто кто сдавил железной рукой сердце: а вдруг в последний раз повидались? Ведь постинфарктник... Отчаянно гоня от себя эту мысль, он замахал фигуре рукой, та махнула в ответ. Автобус тронулся, и за окном осталась одна непроглядная ночь.

Светлана КЕКОВА

**«ВСЕ, ЧТО БЫЛО РОДИНОЙ,
СТАЛО НЕБОМ...»**

* * *

Стало слово бледным и бессильным,
истрепалось, плача и греша...
По дворам, по переулкам пыльным
с кем скиталась ты, моя душа?

С кем ты хлеб отравленный делила,
с кем вино прокисшее пила
и кого от смерти исцелила
плоть твоя и белых два крыла?

Ангел светлый, нищенка и скряга,
что ты копишь жизнь на черный день?
Все сгорит — и мысли, и бумага,
расцветет персидская сирень.

И она твоей душе сожженной
дверь откроет в самый лучший сад,
где горит огонь, преображенный
в несказанный свет и аромат.

Чернильница

«Что мы в этой жизни видели
и на что ее истратили?» —
вопрошают небожители
и простые обыватели.

Между франками и галлами,
 между англами и саксами
 парусами бредят алыми
 белые страницы с кляксами.

Отдыхает мыло в мыльнице
 от немислимого бремени,
 нет уже чернил в чернильнице,
 чтоб писать о нашем времени.

Все сюжеты перепутаны,
 тайны мира перепрятаны,
 кончен год с его минутами,
 снами, памятными датами.

И сосулькам плакать хочется:
 время выдалось суровое...
 Только эта жизнь закончится
 и настанет время новое.

Есть такое подозрение:
 мы не будем там унылыми,
 обретя иное зрение
 и чернильницу с чернилами.

Восьмистишия

1.

Надо жить печально, легко и странно
 и не ждать, что вечер придет, как тать,
 по ночам читать Оливье Клемана —
 и совсем Улицкую не читать.

Небеса в наряде из белых перьев
 будут утром чудо как хороши,
 и простая притча о двух деревьях
 тихо тронет струны твоей души...

2.

В небе слышно пение херувимов —
 это знак пылания их сердец,
 и ему внимает Борис Екимов —
 незаметный гений, поэт, мудрец.

Все, что было родиной, стало небом —
и ведет Екимов об этом речь,
по степи идет он за теплым хлебом,
чтобы крошки жизни для нас сберечь.

3.

Тихий свет почил на сережках вербы,
на стволах берез, на ветвях ольхи.
В небесах звучит литургия верных —
и огонь любви попалил грехи

всех живых, кого помянули ныне,
всех, обретших знание и покой,
и Сережа Фудель в людской пустыне
к стенам вечной Церкви приник щекой.

4.

На щеках у эков замерзли слезы —
да, попали узники прямо в ад,
и мадонны северные — березы
с материнской болью на них глядят.

И, смирившись с долей своей сиротской,
положив под голову облака,
спят поэт и мученик Заболоцкий
и святитель Крымский, хирург Лука.

5.

В День святых, в Отечестве просиявших,
треснул свод небес, началась война.
В русской спят земле миллионы павших,
но Господь-то знает их имена...

Мой отец до Праги из Сталинграда,
как огонь, по Курской прошел дуге,
и остался пепел земного ада
на его обугленном сапоге.

6.

Сколько русских мучениц-мироносиц
возвратили Родине стон ее!
Но когда Георгий Победоносец
в День Победы в змея вонзил копьё,

то вознес над миром Христово Имя
весь простой народ городов и сел
и в небесном граде Ерусалиме
благодатный русский огонь сошел.

* * *

Стало время грустной повестью,
обрело второе имя...
Человек с сожженной совестью
бродит в Иерусалиме

мимо храма Воскресения,
мимо памятного сада
без надежды на спасение
из прижизненного ада.

Жизнь на удочку не ловится
у наследника Адама —
он возьмет да остановится
у стены Второго Храма.

Лбом о камень мертвый стукнется —
задрожит листвою осина...
Как судьба его аукнется
в судьбах дочери и сына?

Он потом пройдет, как водится,
сквозь волну сухого жара
от гробницы Богородицы
до восточного базара.



Лейла МАМЕДОВА

МЕЖДУ ИШТВАНОМ И МИРОМ

Р а с с к а з

«Нам нужно зайти в одно кафе, здесь, неподалеку, — говорит он со слабой ноткой надежды в голосе, по-русски с венгерским акцентом. — Им владеет один поэт, еще не популярный, но очень трогательный, я обещал смастерить ему сайт».

Я смотрю на его жесткий дутик, кожаные перчатки, нелепые кроссовки и соглашаюсь. В любое другое время он бы меня туда не затащил, но я не очень холодоустойчива, и мне надоело стучать зубами. Февраль уже осточертел, и я, в надежде на что-нибудь согревающее, покорно спускаюсь за Акошем в крошечную забегаловку. Я говорю — спускаюсь, как будто спускаюсь туда прямо сейчас, словно не знаю, что будет в следующую минуту, хотя в действительности с тех пор прошло немало лет, и в настоящем времени я сижу за своим компьютером и вместо того, чтобы отобрать наконец статьи для следующего выпуска модного журнала, главным редактором которого являюсь, занимаюсь этой вот ерундой. А именно: спускаюсь в ту самую кафешку. С Акошем. И кто возьмется с точностью утверждать, что эта действительность не реальнее той, где я выбираю тексты для журнала?

Мы вошли в полусвещенное помещение. Нет, нет, если писать в прошедшем времени, то получается — я лишь вспоминаю о том времени, о той промозглой прогулке вдоль Дуная и обмороженных пальцах, я ведь в очередной раз оставила перчатки дома. А я хочу быть там, снова, еще раз пережить все случившееся, пусть в нем и не было ничего особенного. Я хочу оказаться там, за тем деревянным столом, рядом с Акошем и напротив Иштвана Ковача, так ведь звали того поэта-ресторанщика? Я хочу сидеть напротив этого странного мужчины преклонных лет и внимать ему, хотя почти не понимаю по-венгерски. Хочу слушать его непонятные слова и не знать, что произойдет в следующую минуту, потому что если знать, то это уже совсем не те ощущения и переживания, по которым я иногда тоскую.

На всякий случай предварительно постучавшись и не дожидаясь ответа, ко мне в кабинет входит секретарша Анна и сообщает о странном посетителе, с которым я не назначала встречи. «Говорит, это очень срочно, — в растерянности хлопает она глазами, — я попыталась объяснить, что у нас так не заведено, но он не уходит, говорит, будет ждать до самого конца». Я отрицательно качаю головой, нахмутив брови, потому что, если начать пререкаться, кафешка поблекнет в памяти, ее образ расплывется и, возможно, мне уже не удастся вернуться в нее. Анна вышла. «Забегаловка» или «таверна» звучало бы убедительнее. Иштван Ковач спрашивает, не проголодалась ли я, хотя час не обеденный. Я киваю, заказываю горячий гуляш, одна мысль о котором согревает мое продрогшее тело. Заведение состряпано на скорую руку, на последние кровные. Слабое освещение, видимо, задумывалось как часть уюта и непринужденности, но здесь некомфортно. Ни одного клиента, только хозяин и официант, поднесший мне тарелку горячего супа и плетеную корзинку с двумя кусками не самого свежего хлеба. Ну и ладно, главное сейчас — согреться.

Они говорят о чем-то своем, о веб-сайте. Временами Иштван спрашивает Аكوша, косясь на меня, — неужели я совсем ничего не понимаю, и ему неловко разговаривать так долго при человеке, который не знает венгерского. Улыбаюсь в ответ, взглядом умоляя позволить мне доесть гуляш. Говорите сколько хотите, только оставьте меня в покое. И они говорят — вдохновенно, перебивая друг друга, не притрагиваясь к горячим напиткам, ожидающим их тут, на столе. Спорят, преувеличенно, на мой взгляд, жестикулируют, а потом, как бы вскользь, Иштван сообщает Акошу что-то отвлеченное, не связанное с делом — чуть приглушенным голосом, как бы нехотя, а после — кашляет в левый кулак, стараясь сделать это как можно тише, насколько это вообще возможно. Акош перестает отвечать, на лбу у него вырисовываются две параллельные полоски, взгляд тускнеет, и он тянется за глинтвейном. Кажется, это глинтвейн. Какой же неудобный стул. Зато еда — отменная, думаю я и вклеиваюсь в кожаную обивку своего рабочего кресла. Оно гораздо удобнее, и мне кажется, логично всегда выбирать лучшее, из двух действительностей отдавать предпочтение той, что удобнее, интереснее, в которой у тебя больший спектр чувств и ощущений. Да, кресло удобнее здесь, но мне все-таки безумно любопытно, что же такое поведал старик Акошу, что тот мгновенно сник и больше не жестикулировал.

На прощание поэт дарит Акошу томик стихотворений собственного сочинения, и, как выясняется двумя минутами позже, на жутком морозе и в начинающих завладевать городом сумерках, у Акуша уже такой имеется. Он ведь давний поклонник, он только поэтому и решил предложить Иштвану свои услуги бесплатно, в знак почтения или восхищения, точно он установить не может. Акош ведь такой, по-достоевски дотошный. Так вот, пока он пытается разобраться, из каких именно побуждений взялся за неоплачиваемую работу, я беру книжицу в руки и открываю где-то посередине. Все по-венгерски.



— Возьми, — говорит Акош, — зачем мне вторая?

— Но я же не понимаю ничего.

— Ну вот выучишь и поймешь. Там на девяносто первой странице мое любимое стихотворение, у меня каждый раз замирает сердце, когда я его читаю.

— А о чем оно?

— О кладбище.

— Боже ж ты мой.

— Ну и что, зато красиво, ты себе даже не представляешь.

— И не хочу.

— Нет, ты прочти, даже если и не поймешь смысл, прочти, как оно звучит. Уже в самой магии слов, в их звучании — я думаю, это колдовство какое-то, торжество звука.

— Ну и загнул, а.

Ветер швыряет нам в лица песок и багряные кленовые листья. Мы идем, как всегда порознь, и в какой-то момент мне даже становится страшно, что меня унесет. Но даже при реальной угрозе я ни за что не схватилась бы за твою руку, мы ведь друзья, ты ведь вплоть до самого конца так и не решишься признаться мне в любви, а мне и не надо — ты не похож на мужчину моей мечты, ты недостаточно мужественен для этого. В тебе нет широты души, и тебе чужды так необходимые романтику эмоциональные порывы. Но мне хорошо с тобой, хорошо, что ты идешь вот так рядом, прячешь руки в карманы и до отказа спружинил шею, вдавив ее в шерстяной шарф. Тебе холодно, ты ежишься и идешь рядом, и я знаю, что тебе очень хорошо оттого, что я иду рядом с тобой. И вот от этого простого чувства так хорошо и спокойно. Любое твое признание сейчас разрушило бы создавшуюся между нами гармонию, свело бы все к неизбежному отказу, наивным «давай оставаться друзьями», «как будто ничего такого не было», и все полетело бы ко всем чертям. То, что между нами сейчас, нельзя тревожить подобной суетой — оно искреннее, оно настоящее и по-домашнему уютное, в него нельзя вплетать страсти и драмы. Как хорошо, что ты не решаешься, хотя я уверена: у тебя совершенно иные причины.

Странно, я ведь и не спросила у тебя тогда, что сказал Иштван, почему ты погрузнел. Я сделала вид, что так ничего и не поняла, а вмешиваться в ваши html-разговоры мне было ни к чему. Но теперь, пересекая мост Маргит, от Буды к Пешту, в освещенном уличными фонарями вечеру, я вдруг вспоминаю тот эпизод и, скорее от скуки, чем из любопытства, спрашиваю тебя, что же там все-таки произошло, что он сказал такого. Ты молчишь. Тебе не хочется об этом говорить, и тогда, в тот день, я не стала спрашивать по той же причине, я ведь видела, что тебе нелегко будет рассказать мне это.

— Он неизлечимо болен, — стараясь держать холодный, равнодушный тон, отвечаешь ты.

— Ну, бывает, что теперь, столько людей умирает, не по всем же держать траур? — Не знаю, зачем я это сказала. Я почему-то часто гово-

рю всякие гадости, а потом жалею, но слишком серьезно к себе отношусь, чтобы извиняться.

Неважно. Но с этой самой минуты я больше не могу рассказывать о нем так — словно обращаясь к нему самому. Теперь придется снова в третьем лице, а это только отдаляет меня от него, от той прогулки по Маргиту, где мы идем в кино, уже не холодно, как в прошлый раз, зима потихоньку оттаивает, в мутном Дунае тонет залитый солнцем город, и уже не так обидно забывать дома перчатки. Мы идем в кино, на которое меня пригласил Таир, азербайджанский дипломат. Он тоже ухаживает за мной и тоже не очевидно — намеками, жестами, междометиями. Так, как мне удобнее. Он пригласил меня, а я захватила с собой Акоша, зная, что Таир не сможет мне отказать прямо у входа. Там ведь не просто кино — там презентация наделавшего много шума фильма «Али и Нино», и Мария Вальверде, испанская актриса, снявшаяся в главной роли, выступит с речью. Она мне весьма симпатична. А потом предстоит еще и ужин для почетных гостей, среди которых и я, спутница Таира, для которой, собственно, он и организовал всю эту культурную заварушку. Я рассказываю так, словно на том наш диалог с Акошем и оборвался, и это звучит неправдоподобно, но. Диалог прервался, но не завершился. Между нами образовалась... нет, не пропасть и не бездна, а какое-то незначительное тире. Дефис. Его нахмуренные брови, его молчание, его полувзгляд на меня свысока (это не высокомерие, просто он намного выше меня). Надо отметить, что в *тот злосчастный день* я тут же пожалела о сказанном, ведь он и прежде давал мне понять, как восторгается творчеством этого никому, кроме него, не известного Иштвана, а я возьми и испорть все своим жутким комментарием.

А еще и Анна. Снова она входит, на этот раз без стука, аккуратно кладет на угол моего стола кучу папок и начинает отчитываться о событиях последнего часа. Я стараюсь слушать, но вникаю с трудом, потому что мне до сих пор не дают покоя сказанные мною слова, хотя нет, покоя мне не дает дефис, ставший теперь между мной и Акошем. Кажется, Анна ждет подтверждения данных ранее распоряжений. Я киваю, и она, довольная, записывает что-то в блокнотик.

— Но этот тип не унимается, — со вздохом жалуется Анна. — Он сказал, что просидит до самой ночи. Он мне, в принципе, не мешает, сидит в приемной и никого не трогает, но не знаю, что ответить ему...

Видно, этот чудак довел Анну и теперь ей самой хочется, чтобы я приняла его.

— Хорошо, скажи, я приму его. Только не сейчас, мне нужно сосредоточиться на одном деле.

И я снова остаюсь наедине с собой, приступаю к работе. Столько всего накопилось, а я занимаюсь непонятно чем, столько статей ждет моего одобрения. Беру самую верхнюю папку, раскрываю — и вот она, очередная статья о модных в этом сезоне оттенках зеленого. Зеленый — новый черный, и так каждый сезон, очередной цвет радуги — и вновь

он — новый черный. Несмотря на свою работу, я все-таки считаю это сравнение кощунственным, никакой другой цвет не сравнится с черным. Хорошо так, вдавливаясь в спинку кожаного кресла, закинув ноги на стол, перелистывать интересные и качественные тексты. Люблю свою работу и долго к ней шла. Конечно, по ощущениям она явно проигрывает тому зимне-весеннему вороху дней, когда шаги Аюша, такие неуклюжие и неуместно громкие, так рядом, так близко, в воздухе пахнет попеременно то приторно-сладкой акацией, то сигаретным дымом, а то еще и травкой, это смотря где мы идем. Если, как сейчас, топчемся у клуба «Симпла Керт», то воняет подвыпившей молодежью. Они громко разговаривают, и стоит к ним приблизиться, тебя обдает такой гарью — терпеть невозможно. Мы говорим о всяких пустяках, шутим, подкалываем друг друга, и стороннему глазу может показаться, что все как прежде — он простил меня, он так же дурачится, когда я не могу расслышать его слов из-за громкой музыки. Он, как и прежде, наклоняется и повторяет, чтобы я лучше расслышала, но почему-то не к уху, а ко лбу, и как бы невзначай чуть дотрагивается до него губами. Я улыбаюсь его шутке, да, как остроумно, ха-ха-ха, а сама немного отклоняюсь, мне неловко, по-детски неловко, как будто мне лет пятнадцать, и я стесняюсь своей неловкости, наверняка еще бы и раскраснелась, если бы умела. Я думаю, у него схожее ощущение, но он старше и лучше скрывает свою растерянность. В «Симпле» накурено и холодно, большая часть помещения на открытом воздухе, под небольшим навесом. Мы пробираемся вглубь, взявшись за руки, нет, наверное, нам обоим бы хотелось, чтобы взявшись за руки, но мы, как всегда, как два товарища, верных и непреклонных, идем порознь, параллельно друг другу, и оба хотим держаться сейчас за руки. Это ведь так просто — хочешь взять его за руку, он тоже этого хочет, так возьми же, неужели боишься наткнуться на сопротивление? Это сейчас, здесь, в другой, более отлаженной и логической действительности. Да, здесь кажется, что это очень просто.

Но не там, не в «Симпле», где я стою у барной стойки в пальто, не понимая, что за дурацкая мода эти клубы на открытом воздухе. Заказываю виски с колой и понимаю, что невозможно взять его за руку, как бы сильно ни хотелось. Здесь, в этой реальности, свои законы, их нельзя нарушать, черт бы все это побрал. Ты, видимо, чувствуешь то же, врешь, что тебе надо отлучиться на минутку. Уходишь. Не хочешь выдать своего состояния. Я понимаю. Ступай, друг мой, товарищ мой, брат мой. Мне так неловко, боже, я не хочу больше стоять здесь и мерзнуть. У бармена, по-видимому, мой заказ напрочь вылетел из головы, и теперь непросто пробиться к нему сквозь толпу взявшихся непонятно откуда девочек. Мне неуютно стоять здесь, я лучше вернусь, сюда, к статье о зеленом цвете, я недаром главный редактор, у меня чутье на грамотный материал, на успешный. Я знаю, о чем хотят узнать мои читательницы. Я внимательно изучаю статью: ни к чему не придаться, изложение хорошее, ровное, тема раскрыта, фотографии — словно пририфмованные к тексту. Но что-то здесь не так. Не знаю, что именно, но мое редакторское чутье редко меня подводит. Перечитываю и так и эдак. Что-то с этой статьей не так,

сложно разобраться. Оставляю ее на растерзание своей ассистентке, пусть с утра пораньше и разберется. Помечаю в верхнем правом углу: «Что-то здесь не так» — и хороню в файле для отправки.

Что же там такого было в зеленой статье? Ах, какая скука, лучше туда, за стойку, подожду Акоша, он ведь отлучился всего на минутку. Ожидание успело надоесть. Его все нет и нет, где тебя носит, товарищ мой? Бармен снова обратил на меня взор, подошел и спросил, что я буду заказывать. Ах вот что, чертов ушлепок, что я буду заказывать, я, между прочим, жду свой заказ уже минут двадцать, а ты хорохоришься перед этой группой неадекватных девиц. Мой несчастный виски с долбаной колой уже давно должен стоять передо мной наполовину пустой, безмозглая твоя голова!

— Успокойтесь, успокойтесь! — на ломаном русском, чуть дотрагиваясь до моего плеча, шепчет кто-то за спиной. У кого хватает ума шептать в «Симпле»?

Оборачиваюсь и, не скрывая своего разочарованного удивления, приветственно киваю Иштвану Ковачу. Откуда он взялся? Я и не знала, что он говорит по-русски, довольно скверно и с невыносимым акцентом, но изъясняется вполне понятно.

Ну вот, момент сделать заказ упущен. Бармен, воспользовавшись случаем, снова улизнул, так и оставив меня без напитка. Был бы ты чуть моложе, Иштван, ох тебе бы не поздоровилось сейчас, но что взять с такого старика? Он облокачивается на стойку рядом со мной и запрокидывает в себя пиво из алюминиевой банки, спрашивает, почему я ничего не пью, видимо, не понял суть чуть было не разразившегося скандала с барменом, ну да ладно, что с него взять-то?

— Ты знаешь, я ведь поэт, — заявляет, изрядно поддатый. — И я так давно пишу, и знаю, что пишу хорошо, я не раз достаивался похвалы знающих в этом толк людей.

Скучный монолог графомана, мелькает в голове, но я вежливо выдавливаю из себя понимающую улыбку. Акоша все нет, а где-то слева, в зарослях людских волос и нагромождениях пальто и курток, мельтешит что-то знакомое. Не Таир ли? Какого черта он делает в этом гадюшнике? Может, обозналась? Да ладно.

— И мне ведь уже немало лет, я, знаешь, скажу тебе по секрету, мне совсем мало осталось жить. И все, чего я хочу, — это чтобы кто-нибудь издал мою книгу. Понимаешь? Вот любое издательство, любой редактор. Чтобы сам выбрал мою книжку и сказал: да, вот это вот я издам большим тиражом, это того стоит! Это ведь дело принципа! Вот именно, меня тошнит от самиздата! Никакой самодеятельности! Это ведь очень неправильно — единственную книгу, которую я опубликовал за свой счет, я в итоге бесплатно раздаю друзьям и знакомым. И это весьма унижительно, скажу я тебе!

Примерно что-то такое он бурчит в промежутках между глотками пива, весь ссутулившийся и жалкий. Мне и правда жаль его, но ожидание Акоша и беспокойство, что он может не вернуться, сбивает с толку, не

могу сосредоточиться на философской проблеме Иштвана и все поглядываю туда, где, как мне кажется, я заметила Таира. Но вот Акош сейчас придет, и я похвастаюсь перед ним Иштваном, вручу ему его как трофей, а сама, может, наконец попытаюсь раздобыть себе напиток.

— ...Ведь это все, чем я жил, все остальное — тлен, быт, все это никогда не трогало меня. Даже мое кафе — это ведь попытка самореализации, но по количеству посетителей и обороту я понимаю, что это самообман. Ничто, кроме стихов, никогда не наполняло меня, никогда и ничему я не отдавался так безотчетно, как поэзии. Ну скажи, неужели это не стоит публикации? Я ведь все брожу по издательствам, но многие разворачивают меня, даже не разобравшись, что же такого я там написал...

Нет, это все-таки Таир, надо выяснить, чем он там занимается. Кажется, столпил вокруг себя каких-то глупышек и кормит баснями о своем бессмертии или чем-нибудь в этом духе. Но неудобно оставить исповедующегося поэта, нужно поймать его на какой-нибудь законченной фразе, быстренько сообразить, где пауза, и, воспользовавшись моментом, отпроситься на минутку, на такую же бесконечную, как минутка Акоша.

И все-таки эта статья комом встала в горле, и мне неудобно. Наверное, потому, что статья совсем ни при чем, даже сейчас, здесь, сидя в своем величественном кабинете, я не могу избавиться от дыры, что зияет между мной и Акошем, с того самого моста, после моих нелепых слов, и это настолько гложет, что все остальные проблемы кажутся надуманными, пустяковыми. А еще и этот тайный посетитель в приемной. Это ведь Иштван. Точно Иштван. Тот, который Ковач. Мимолетное ощущение. Но мне становится неудобно, зябко, хочется укутаться в какой-нибудь махровый плед, но мой кабинет еще не настолько обустроен.

Вот мы и дошли до павильона. Таир не решаетеь отказать мне прямо у входа, «это мой давний друг», представляю Акоша, и тут же понимаю, что Таир ни на грамм мне не верит, и тем не менее он нехотя пожимает «давнему другу» руку, не произнеся ни слова. Отдав последние распоряжения помощнице, наклоном головы приглашает следовать за ним. И я иду. Иду между ним и плетущимся позади Акошем, мне ведь не хочется обидеть ни того, ни другого. Зачем я сама создала эту неловкую ситуацию? Всему виной моя самонадеянность, мне всегда кажется, что из любой ситуации можно выкрутиться, что-нибудь придумать, как-нибудь разрулить.

Зрители уже рассажены, свет погас, на экране загорелись анонсы и реклама. Служащая в черной маечке пытается попросить у нас билеты, но Таир решительным жестом отстраняет ее, он ведь организатор, кто она вообще такая, и находит нам несколько свободных мест по самому центру. Я сижу между ними. Между Таиром и Акошем. Первый пытается держаться статно, внимательно смотрит на экран и всем своим видом показывает, что ему абсолютно безразлично присутствие Акоша в этом зале и в моей жизни. У второго трясутся руки, все-таки он не дипломат, человек попроще, не учился искусству сокрытия чувств и эмоций. И он

тоже внимательно смотрит туда, в сторону экрана. Я периодически пытаюсь разрядить обстановку и задаю вопросы то одному, то другому, то вообще всему мужскому роду, но ответы либо слишком краткие, либо их нет вовсе. Все мы напряжены настолько, что не сразу понимаем, что на экране показывают вовсе не «Али и Нино», а какую-то оперу с венгерскими субтитрами.

— Это, видимо, анонс, — объясняет Таир, сам не уверенный в своих словах. — Как неудачно, ведь большинство приглашенных — иностранцы.

— Не очень похоже на анонс, — отвечает Акош. Злорадствует. И мне: — Я люблю оперу.

— Я тоже, это ведь Бизе, — стараюсь смягчить обстановку.

— Да, я знаю ее наизусть. — Акош.

— Да ладно? — с неподдельным восторгом спрашиваю я.

— Затянулся этот дебильный анонс. — Таир в бешенстве.

— Это не реклама. — Акош счастлив. Даже руки перестали трястись. — Смотри, вот следующая ария — моя любимая. Смотри.

— Черт, мы ошиблись залом. Пошли, — говорит Таир и поднимается.

— Подожди, я хочу, чтобы ты послушала эту арию. — Акош.

— Мы опоздаем. Там режиссер и актеры, пошли. — Таир немного наклоняется, чтобы взять меня за руку.

— Можно через пять минут? Там какая-то ария...

— Да, мне очень важно, чтобы ты послушала, это ведь моя любимая ария...

— Черт, кино вот-вот начнется, пойдём, прошу тебя! — в глазах Таира скорее мольба, чем угроза. Мне жаль его, я и сама очень хочу познакомиться с актерами, но глаза Акоша — как у побитого пса, которого выгнали голодного в стужу, а он сидит на крыльчке, поджав хвост, и воеет на закрытую дверь, зная, что ее никто не откроет, и все равно не может заставить себя перестать скулить.

Встать и пойти за Таиром или остаться с Акошем? Вопрошаю вслух, в вечерней тишине своего просторного кабинета, обращаясь к чистым белым стенам. Словно мне неизвестен ответ, итог, все последствия, вытекающие. Все это длится не более минуты, но это не обычная минута, не привычные шестьдесят секунд. Я смотрю на Акоша и понимаю, что, если останусь, он простит мне нелепый комментарий о заболевании поэта, расскажет мне подробнее об их разговоре с ним, тогда, в кафе. Возможно, даже переведет свое любимое стихотворение на девяносто первой странице. И очень может быть, возьмет меня за руку. И это единственное во всем раскладе, чего бы мне очень хотелось избежать. Он смотрит на меня умоляюще, в его зрачках — замерзший Дунай и промозглый ветер, скрашивающий наши монотонные прогулки. Взгляд его говорит, нет, кричит с надрывом: «Останься, умоляю тебя, иначе я не смогу жить». Затем перевожу взгляд на Таира: он стоит вроде бы горделиво, с ровной осанкой, с черным элегантным пальто на изгибе локтя, и ровным голосом заклинает: «Пойдем». И если я не пойду, я не только упущу знакомство

с интересными мне личностями, но и намек на продолжение его красивого ухаживания. Наверное, это не очень корректно с моей стороны — желать ухаживаний людей, с которыми не хочешь быть. Но тихая мольба Акоша, его искренние глаза, всегда немного стыдливые, они всегда стараются скрыть свою неуклюжесть, казаться более равнодушными, но я же все вижу, я вижу, насколько ему важно, чтобы я осталась, это почти вопрос жизни и смерти.

Звонок Анны выуживает меня из той нелепой ситуации, в которой я по собственной глупости оказалась во второй раз.

— Давайте я скажу ему, что вы назначаете ему завтра с утра? Он не дает мне работать.

Ах да. Там же Иштван, сидит и ждет. Но что я скажу ему? Неужели он ждет моих извинений? Думаю, любая попытка оправдаться за ту неуклюжую ночь только усугубит все. Да, конечно, дело было в Будапеште, много лет назад, глубокой зимой. Она пахла последней, но оказалась всего лишь одной из. А сейчас апрель и за окном мерцает любимый Баку. Во-первых, Иштван бы просто не нашел меня здесь, даже если бы и прознал о городе. Во-вторых, он вроде был болен неизлечимой болезнью, а прошло немало лет. Но все это применимо к той реальности, в которой невозможно уже было что-либо исправить. В которой мне были суждены тревожные бессонные ночи и угрызения совести. Но сегодня всему этому конец, я чувствую это. Знаю это. Сегодня Иштван, миновав преграды и благоразумность, долетел до Баку, нашел мой офис и теперь сидит там, в прихожей, и ждет, когда же я решусь, наконец, исправить содеянное. Все мешается, сливается. И я уже не совсем уверена, что реальнее: офис и Анна или те безнадежно глупые ночи в «Симпле» и на кинопоказе.

— Хорошо, назначь на завтра. В десять утра у нас свободно?

— Нет. У вас встреча. В полдвенадцатого можно.

— Хорошо.

Подкрадываюсь к Таиру сзади, для начала прикидываю, что это за девушка с ним. Перед ним — космополитен, на соседнем стуле — смазливая брюнетка с ненатурально надутыми губами, в джинсах в обтяг и черном гипюровом топике, в такую-то скверную погоду. Он вешает ей на уши такую липкую и уже надоевшую мне лапшу, она натянуто улыбается, но ей действительно нравится слушать его бред. Она вливает в себя глоток какого-то омерзительного на цвет коктейля и часто моргает от смущения. Боже, как же скучно все это, думаю я, и как же всегда нескучно все, что касается этого программиста Акоша. Но он почему-то никогда не предлагает мне перчаток, когда я забываю дома свои, а Таир и дверцу в машине открывает, и всегда пропускает вперед. И насколько бы глупыми ни показались мои аргументы, но ведь эти детали, эти бусинки и есть то, из чего плетутся отношения, складываются романы, получается любовь. При чем здесь перчатки? Странно, я вроде в итоге не выпила ни капли алкоголя, но в моей голове и в грудной клетке вдруг начинают переплетаться никак не связанные между собою вещи: Акош ушел на минутку и не возвращается

уже полчаса как минимум, почему он не позвонил, если действительно решил уйти, почему не написал и почему у этой дуры такие ненатурально надутые губы? Ну ведь реально некрасиво! Таир настолько увлечен своей банальной беседой, незатейливым флиртом, что все это время не замечает, как я стою у него за спиной. Я выхватываю космополитен у него из-под носа за секунду до того, как его рука тянется к нему. Он оборачивается и недоуменно улыбается, мол, что ты здесь делаешь, какого черта опять все рушишь?

— Это мой муж, — говорю надутым губам совершенно равнодушным голосом. — Опять он девочек путает. Ну зачем ты так, котик?

Таир начинает нервничать, достает из кармана сигарету. Я не понимаю, почему он просто не пошлет меня и не познакомится с этой брюнеткой всерьез, да хотя бы назло мне? Он почему-то играет по моим правилам и не смеет мне перечить. После того вечера в кинотеатре мы поговорили: признавался в любви, я сокрушалась, удивлялась, предлагала остаться друзьями. Скучно. А потом начался следующий виток отношений, который называется — «Лиличка» Маяковского. Это когда ни себе, ни людям.

Одними глазами умоляет меня замолчать и уйти, но одними глазами для меня всегда мало. Брюнетка попеременно смотрит то на меня, то на Таира, ожидая от него отрицания, умоляя его прогнать меня, даже если я и жена ему.

— Ну? Скажи ей, — толкаю его в бок. Он продолжает нервничать, не скрывая трясущихся пальцев. Сует сигарету в губы, потом достает обратно.

Они оба напряжены, это начинает меня веселить, и я чувствую опьяняющую власть над ситуацией, понятную только женщинам. Я выплескиваю остатки космополитена прямо на барную стойку перед Таиром, облив немного и его брюки. Он отшатывается от неожиданности и, кажется, ругает меня нецензурными словами. Полушепотом и почти про себя, поэтому я не в состоянии расслышать. В левом углу у барной стойки появляется Акош и ошарашенно обводит взглядом нашу веселую троицу. Молчит. Не двигается с места. Девушка с надутыми губами хватается сумочку, которой тоже досталось жидкости от моего дебоширства, кидает Таиру вполне справедливое «идиот» и уходит прочь. Мне хотелось бы, чтобы к нам подошел Акош, взял меня за руку и увел куда-нибудь подальше. Встряхнул бы меня хорошенько, посмотрел в глаза, сказал бы, что я дура, что пора бы оставить в покое этого несчастного Таира, потому что у меня есть он. Мне бы этого очень хотелось. Мне этого очень хочется. Но ведь это Акош, молчаливый и спокойный. Уравновешенный. Никакой. Меня хватается за локоть не он. А Таир. Вот именно поэтому я ухожу с Таиром. Потому что, придурок ты неуверенный в себе, я девушка и у меня больше прав быть неуверенной в себе, так уж в нашем мире устроено, смирись и делай что-то с этим. И не стой там за барной стойкой, прикидывая, какая я стерва, зачем я сюда пришла с тобой и одновременно пригласила Таира (ведь ты наверняка решил, что именно я позвала его сюда, ведь вероят-



ность совпадения ничтожна, учитывая, что солидный дипломат не станет тусить в столь сомнительных заведениях). Таир хватает меня за локоть и тащит к выходу. Я могла бы сопротивляться, вырваться, подойти к Аكوшу и рассказать все как было. Честно признаться, что я хочу остаться с ним. Но усталость берет верх, причем не только физическая усталость, ведь уже первый час ночи, а день выдался нелегкий, но и усталость быть сильной. Пусть кто-то возьмет меня за локоть, потащит к выходу, решит, куда и зачем мне ехать. Обыкновенная женская слабость, на которую я, по некоторым подозрениям, все же имею право.

— Подожди, — говорю я Таиру, — я сейчас.

— Ты не посмеешь уйти. Зачем ты тогда все испортила?

— Я на минутку. Клянусь.

Вырываюсь и, проталкиваясь через одетых в верхнюю одежду людей, подвыпивших и сонных, устремляюсь к Акошу. Как в фильмах, когда происходит что-то сентиментально-дебильное, но важное для персонажей, под медленную романтическую музыку и многозначительный замедленный кадр. Он стоит у барной стойки как вкопанный, не в состоянии ни пошевелиться, ни хотя бы притвориться, сделать вид, что собирается что-то сделать. Ждет, что вот сейчас я доберусь до него и обовью его шею вечно мерзнущими руками, не говоря ничего, положу голову ему на плечо и все встанет на свои места. И кажется, что, в принципе, это не очень сложно осуществить, не нужно литературы и столько писанины, чтобы просто подойти к нему и сделать это. Но ты же знаешь, придурковатый мой друг, в реальности все по-другому. Хуже, чем в вязком сне. Когда хочешь до чего-то дотронуться, до чего-то простого и близкого, вытягиваешь руку — и понимаешь, что это невозможно сделать, сколько ни старайся. Все тщетно. Я подхожу к нему вплотную и говорю:

— Извини, я пойду уже.

— Да, конечно, — отвечаешь дебильный ты.

Выжидаю немного: а вдруг образумишься? Собираюсь уходить.

Оборачиваюсь:

— Кстати, там твой дружок.

— Какой дружок?

— Ну этот, поэт.

— Иштван?

— Да. Он, кажется, пьян, грузил меня исповедью о своей графоманской участи.

— Он не графоман.

Мне хочется сказать что-нибудь колючее в отместку за его тупое ничегонеделание. Хочется обжечь, ранить, неважно, чем именно, все равно этого будет мало.

— Ты знаешь, ему немало лет, он давно пишет. Если бы он написал что-то стоящее, его бы давно заметили.

— Уходи.

— Нет, ну серьезно. Посмотри правде в глаза, я не знаю, что он там пишет, но он сам мне только что рассказывал, что посылал свои стихи во

всевозможные издания и все отказывают. Это ли не показатель его бездарности?

— Просто уходи, ладно?!

— Да что ты его все время защищаешь? Мир клином, что ли, сошелся на этом твоём поэте?!

— Мир что?.. — не понимает Акош.

— Мир клином... Между твоим Иштваном и миром точно какие-то непонятки!

— Он гениален.

— А-а, да? Он гениален, а всему миру и невдомек, ха-ха-ха.

— Между Иштваном и миром — такие, как ты, — он огрызается, кажется, руки сжимаются в кулаки.

Ты готов убить меня за этого бездарного поэта, да? Нет, ты готов убить меня за то, что я уйду с Таиром. Уйду потому, что ты, дорогой, ни на что не годишься.

— Давай пойдем посмотрим на этого гения, прямо сейчас, хочешь?

— Я пропускаю его оскорбление мимо ушей, мне хочется уколоть его больнее.

— Ты пьяна.

Кто-то снова хватается за руку, грубо и резко. Конечно, Таир. «Опять этот айтишник?» — «Да, подожди минуту, я же сказала...» — «Нет, ты мне объясни, почему он здесь и ты стоишь с ним разговариваешь? Может, не такой уж он просто знакомый?» — «Он друг, я говорила, я просто пришла с ним сюда, нам нужно было поговорить!» — «А, да, о чем?» — «О поэте».

Акош раздраженно отворачивается, заказывает себе воду, он ведь не пьет алкоголь ни при каких обстоятельствах, я ведь уже рассказывала о его непреклонной принципиальности во многих вопросах. Алкоголь вредит его здоровью и каким-то подозрительным ценностям, он не берет в рот ни капли. Никогда. Я подхожу к Акошу, хватаю его за рукав пальто, которое почему-то до сих пор неуклюже висит на его сутулых плечах, и, встречая серьезное сопротивление, тащу за собой. Я помню, что не выпила ни капли, но веду себя так, словно опорожнила три стакана виски подряд. Возможно, я неправильно помню. Неужели непонятно из моего рассказа, что я не всегда все правильно помню? Таир пытается меня остановить, но у него плохо получается, невыпитый виски с колодой придает мне необычайную храбрость и наполняет силой, обычно мне не присущей. Главное, пусть все они думают, что я пила. Пьяным красивым девочкам все можно. Кое-как мы доходим до того места, где сидит Иштван, уже совершенно никакой. Он сидит за стойкой, уронив голову на согнутые руки. Кажется, вот-вот отключится полностью.

— Полюбуйся на своего гения.

Иштван, заслышав меня, поднимает голову и мило улыбается:

— А, это ты, а я так боялся, что ты не придешь.

— А я боюсь, она пришла, — говорит ему Акош, специально на русском, так как замечание скорее адресовано мне.

А я боюсь — пришел Таир и все испортил, думаю я, но вслух ничего не отвечаю. Кажется, ситуация начинает выходить из-под контроля, и теперь я выгляжу просто обыкновенной выпившей идиоткой.

— Нет, серьезно, я почувствовал в тебе родственную душу, — продолжает нести свою пьяную муть поэт.

— Вот видишь, — нагло ухмыляюсь Акошу, — а ты говоришь, между Иштваном и миром — я.

— Что? — не понимает Иштван и не получает ответа. Ведь на самом деле он совсем здесь ни при чем.

— Кто это? — брезгливо спрашивает меня Таир. Иштван в таком виде действительно похож на непросыхающего бомжа, и недоумение Таира вполне объяснимо.

— А, это любимый поэт Акоша, — отвечаю я, впиваясь в рукав его свитера, чтобы позлить айтишника. — Гений нашего века, неужели ты не слышал это прославленное имя: Иштван Ковач?

— Не слышал, — не веря и с пренебрежением отвечает Таир.

Все это не на шутку бесит Акоша, но он, как всегда, старается всем своим видом показать равнодушие и безучастность. Я не понимаю, чего я от него хочу. Нет, я не влюблена в него, я уже говорила выше: то, что между нами, — оно немного из другой области. Это когда ты знаешь, что он влюблен. Он знает, что ты знаешь, и знает, что до последнего будешь изображать, что не знаешь. Но от этих закодированных, заштрихованных знаний вам обоим хорошо друг с другом. Это как если приставить друг к другу два магнита: они не могут соединиться, но вот это трение между ними, это попытка слиться во что-то единое и совершенная невозможность это сделать. Как это называется? И тем не менее меня ужасно злит его нерасторопность, мне обязательно нужно, чтобы он что-нибудь уже сделал. Но он продолжает притворяться, что все о'кей.

Ему становится ужасно жаль бедного поэта, и он старается заступиться за него.

— Прекрати, тебе никогда не понять его стихов.

— А, да? Таир, ты же понимаешь по-венгерски?

— Да, а что?

И обращаюсь к поэту:

— Скажите, вот в том сборнике, что вы подарили Акошу в тот день, есть одно стихотворение на девяносто первой странице. Не помните, что за стихотворение?

Он закатывает глаза, изображая умственную деятельность, затем извинительно пожимает плечами. Акош полушепотом подсказывает ему название стихотворения по-венгерски.

— А! Да, конечно! Вы хотите прочесть? — спрашивает Иштван, не подозревая ничего. Хорошо, что он пьян и не понимает, что мы нагло над ним подтруниваем.

— Да, пожалуйста! — издевательски всплескиваю руками.

Если бы Акош мог, он дал бы мне пощечину. Но он не может. Он только смотрит с искренней ненавистью и думает о том, что дал бы мне пощечину, если бы мог.



Иштван извлекает из кармана пальто огромный смартфон с расцарапанным экраном, ищет в нем свои стихи, опубликованные в сети. Радостно протягивает мне телефон, в опьянении позабыв о том, что я не знаю венгерского. Я передаю телефон Таиру, мол, «прочти, как тебе?», заранее интонацией давая ему понять, какой ответ ожидаю услышать. Таир бегом читает стихотворение и, пожимая плечами, возвращает телефон Иштвану.

— Не мое. По мне — это слабые стихи.

Я не говорила, что Таир страшный циник?

Иштван пошатывается на высоком стуле. Сходит с него. Принимает телефон и, растерянно бродя взглядом по экрану собственного телефона, поднимает глаза на Акоша, словно ища защиты.

— Он не разбирается в поэзии, — говорит Акош.

— Он атташе по вопросам культуры, — уже почти заливаясь нервным смехом, говорю я.

— Да, весьма плохие стихи. Да и не стихи вообще. Пойдем отсюда.

Иштван падает. Я не преувеличиваю сейчас. Он реально падает. Скорее всего, это результат опьянения, все-таки и глаза у него уже помутнели. Акош тут же бросается к нему, а мы с Таиром озадаченно переглядываемся.

— Убирайся прочь, — сквозь зубы цедит Акош, пытаясь поднять беднягу.

Столпившиеся вокруг пытаются помочь ему, а мы с Таиром стоим и ошарашенно смотрим то на бедного поэта, то друг на друга.

— Пойдем, он пьян, — подытоживает Таир, и мы поворачиваем к выходу.

Уходя, я замечаю ту самую брюнетку с надутыми губами. Она стоит чуть поодаль и с нескрываемой неприязнью наблюдает за происходящим, меряя меня презрительным взглядом.

— Как ее звали? — совершенно не в тему спрашиваю Таира.

— Кого?

— Ну, ту твою, с надутыми губами, у барной стойки.

— Анна.

Ну вот и все, рабочий день давно подошел к концу, Анне не терпится сменить каблуки на балетки и вырваться из этого душного офиса. Я и не замечала раньше, что у нее силиконовые губы. Ах, как бесконечно я устала, мне неловко и стыдно. Все-таки это виски, я сама никогда не стала бы так сильно унижать человека, но менять что-либо поздно. Никакие извинения не помогут, любые оправдания опустят меня еще ниже. Как хорошо, что я назначила Иштвану на завтра, сегодня я не готова к этой встрече. Да и завтра как я посмею заглянуть ему в глаза? Я выхожу из кабинета и прохожу мимо Анны. Как странно, она так изменилась за все эти годы. Машинально отдаю последние распоряжения, бедняжка, ей придется прокорпеть здесь еще час, — а затем говорю:

— Ты знаешь, ты ведь на самом деле тогда понравилась Таиру.

Анна смотрит на меня исподлобья, черный локон ниспадает на поллица, она убирает его пальцами за ухо.

— Вашему мужу?

— Да.

Кажется, ей стало неловко. Она думает, как бы мне ответить, но я ухожу. Неужели она думала, что я никогда не вспомню ее? Я выхожу из здания и отправляюсь домой.

А попадаю на бульвар на набережной. Неспроста я оказалась в той эпохе своей жизни именно сегодня, недаром настоящее сегодня настолько сплелось с событиями прошлой жизни, ведь все это должно было привести к чему-то. По тому, как измазанное нефтяными разводами море запахло временем, я понимаю, что все должно произойти сейчас. Не знаю, что именно, но всей своей сущностью готовлю себя к развязке. Сегодня апрель, теплый весенний день, прохожие в ветровках и с улыбками первой влюбленности, а я зябко кутаюсь в свой легкий плащ и чувствую, как по-зимнему дрожат пальцы. Я хочу перчатки, кожаные, с утеплением, кажется, кончики пальцев уже посинели. Я иду и пытаюсь согреть руки дыханием, но получается плохо. Я иду вдоль Каспийского моря и думаю о том, насколько оно не похоже на Дунай, и в то же время оно сейчас и есть Дунай, бурлящий и грязный, с корабликами, набитыми до отказа туристами. Иду, мои волосы перебирает поднявшийся вдруг порывистый ветер, и я перестаю различать разницу между тем, что происходит сейчас, и тем, что уже отжило и, казалось бы, отмерло и перестало быть моей частью. Казалось бы. После той дурацкой ночи мы продолжали общаться. Я сослалась на свое опьянение, неловко извинилась, Акош сделал вид, как всегда, что ничего особенного не произошло, и наказал впредь контролировать количество выпитого. Но оба мы понимали, что по-прежнему уже не будет, что дефис, выросший между нами после моего злополучного комментария о болезни поэта, перерос в целое предложение пустоты. В целую главу, а то и книгу.

Вот мы мчимся по пустой ночной трассе на его мотоцикле, я обхватываю его со спины, и чем крепче вжимаюсь в него, тем скорее он от меня ускользает, а я силюсь понять, как такое вообще возможно. Я специально распустила волосы. Пусть ветер дотронется до его шеи и плеч ароматом моих терпких и сладких духов, пусть прикоснется, и пусть это наколкой останется в его воспоминаниях потом, когда я безвозвратно исчезну. Но мы мчимся — и ветер уносит мой аромат все дальше нам за спины.

— А у меня сюрприз! — кричу я. Да, да, как назло, уносит назад, но мои локоны все равно умудряются хлестать по твоей бледной коже, обжигая, надеюсь, все твое нутро.

— Да?

Ты ведь хочешь услышать что-то приятное, да? А за что, скажи мне? Почему ты считаешь, что ты заслужил вообще что-то хорошее? Да, ты всегда меня поддерживаешь, помогаешь, прилетаешь по первому зову и даже печешь мне блинчики с шоколадом, рецепт которых вызубрил по



одному моему капризу. Но этого недостаточно, когда речь идет о таких глобальных вещах, как отношения, понимаешь?

— Я выхожу замуж!

Ты жмешь на газ, и, если внутри у тебя когда-нибудь жили бабочки, они все сейчас подошли. В эту самую секунду.

— Да? Круто!

— Ты рад за меня?

— Еще бы!

Ты. Я буду писать о тебе, обращаясь к тебе, призывая тебя, привораживая. Мне все равно, что я сама все испортила и в тот вечер положила конец всему. Явись, приди, материализуйся. Сейчас и здесь. Мне нужно сказать тебе что-то очень важное. Я и сама не знаю что, но в такие моменты не важно, что говорить, главное, как говорить и как смотреть, как отводить взгляд и перетаптываться на месте. Это ведь гораздо важнее иногда, чем дурацкие слова, правда? Я только теперь это понимаю, теперь, спустя столько лет, бреду по бакинскому бульвару, насильно погружая себя в тот день, когда видела тебя в последний раз. Ведь иногда невозможность сказать что-то — важнее любых нагромождений слов, правда? Тогда, в кинозале, я пошла за Таиром. И уже тогда было понятно — я выбрала. Все, что происходило дальше, напоминало мучительную агонию наших с Акошем отношений. И, насколько бы больно мне ни было потерять Акоша, я счастлива с Таиром. И не думаю, что жалею о своем выборе. Но.

Я иду и чувствую, что кто-то следует за мной. Сначала мне кажется, что я сама себе это нафантазировала; затем шаги приближаются, и чем быстрее мои, тем скорее догоняет меня преследователь. А потом я слышу чье-то горячее отрывистое дыхание прямо в мой затылок. Со страхом останавливаюсь, собираюсь обернуться, но не решаюсь.

— Это ведь ты, Иштван? — говорю стоящему за моей спиной преследователю.

— Ну, допустим, и Иштван, — с одышкой отвечает Иштван. Ну или тот, который якобы Иштван. Ветер заглушает его слова и смазывает голос.

— Жаль. А я пыталась материализовать Акоша.

— Что ж...

— Я ведь сильно обидела тебя тогда?

— Да, нехило. Я ведь иду за тобой с самого офиса. Не стал дожидаться завтрашнего утра.

— Что ты хочешь?

Мы так и стоим. Я — спиной к нему, как вкопанная, не оборачиваясь. Он — все так же ко мне вплотную, буквально шепча ответы мне в затылок.

— Мне нужны деньги.

— Для чего?

— А ты не знаешь?



— Знаю. На публикацию твоей лебединой песни... на книгу. Стихов. Да ведь?

— Ну да.

— А это точно ты?

Он отвечает, но мне не слышно.

— Да, я знаю, я могу просто обернуться. Но вдруг тогда это не ты?

А мне очень нужно, чтобы это был ты.

— Тогда это я. Ведь все не случайно, ты не знаешь? Я Иштван.

— А фамилия?

— Забыл.

— Это все из-за той болезни, о которой ты говорил?

— Да, именно. Дай мне денег.

— Сколько?

— Сколько примерно стоит публикация книги?

— Хм... качество, тираж... много показателей.

— Тысячи три. Мне хватит.

— Что, прямо сейчас?

— Да.

— Но это много.

— Да, но ты ведь хочешь, чтобы я оказался Иштваном, да?

— Да.

— Тогда это нормальная цена.

— Хорошо... Скажи, в том стихотворении, помнишь? Которое ты дал нам почитать в «Симпле»... О чем там было?

Сначала не слышно, но его фраза заканчивается: «...не могу».

— Вспомни. Иначе ты не Иштван.

— Хорошо... Там было про смерть.

— Ты ведь простишь меня?

— Дай денег на книжку. Прощу.

— А что с Акошем? — Ветер перехватывает вдох. Я плотно сжимаю губы и сначала осторожно вдыхаю. — Не знаешь, он ведь так и не простил меня за тот случай?

— А это ты уже с ним сама разбирайся.

— Где?

— Сходи на пирс, дойди до самого конца. Ха-ха-ха. Вот там и разбирайся.

— Все-таки ты придурак.

— И все-таки я Иштван.

Лезу в сумку, я сняла сегодня пару сотен наличными. Протягиваю набитую купюрами руку за спину, якобы-Иштван выхватывает деньги, видимо, пересчитывает.

— Здесь мало.

— Да, остальное снимешь с карты. — Протягиваю следом карту, называю код. — Больше условленной суммы все равно снять не сможешь, там лимит. Завтра я ее заблокирую.

— Хорошо.

И он уходит. Я долго думаю, обернуться ли, ведь, скорее всего, никакой это не Иштван, это, скорее всего, обыкновенный проходимец, неизвестно на что рассчитывавший изначально. Которому просто повезло, что я такая дура. Но мне очень хочется думать и верить, что это все-таки тот самый поэт, неизлечимо больной... Стоп.

— Стой! — все так же не оборачиваясь, кричу встречному ветру.

— Что? Что еще? — Его голос доносится уже издалека, обрывками.

— Ты ведь был неизлечимо болен! Прошло уже много лет! Ты ведь умер, по идее!

— Ха-ха-ха, ну, допустим, и умер. Ты думаешь, мертвые гуляют по аду и раю, а не по бульвару? А-ха-ха.

Стою как вкопанная. Долго. Не знаю, сколько времени проходит, минуты, часы, а может, годы? Затем срываюсь с места. Все ускоряю шаг, перехожу на быстрый бег и устремляюсь к пирсу. Освещение на бульваре ночью слабое, уже нет ни души, лишь издалека виднеются фигуры полных влюбленных. На пирсе никого. Иду к самому его краю, в самый конец. Не зная зачем, но чувствуя, что именно так и надо. Что это единственный правильный путь. Вибрация телефона не дает сосредоточиться на переживаниях, приходится ответить. Звонит Таир, мой муж, раздраженно спрашивает, долго ли я еще собираюсь висеть на работе. Почти все, скоро еду — нагло вру и продолжаю идти к краю пирса.

— Подожди, — останавливаю пытящего в трубке Таира, — помнишь стихотворение этого бомжа в «Симпле», которое ты раскритиковал? В Будапеште...

— Ну?

— О чем оно было?

— Давно было... Что-то про кладбище или смерть. Ты чего это вдруг?

— Скоро буду.

* * *

А я ведь знала, что это ты. До нашего расставания и даже до знакомства с тобой я знала — это ты, в пустой темноте ночи, на фоне мерцающего ночного Баку, стоишь на краю пирса с опущенной головой, глядишь в воду и собираешься утопиться. Ты, такой уравновешенный на первый взгляд, такой спокойный и гармоничный. Ты всегда знаешь, какое блюдо закажешь в ресторане, во что оденешься в утро понедельника. Ты, такой всегда предсказуемый и нерешительный. Стоишь на краю и собираешься закончить все это раз и навсегда.

Ночная тьма наполнена твоим именем, им наполнен этот солоноватый морской воздух. Имя твое — легенда в моих воспоминаниях, в каждом моем стихотворении звучит его окончание, тщательно зашифрованное. Какая тоска, какое отчаяние — понимать, что знание мое бесполезно, оно ничего не изменит, и ты все равно сделаешь, что задумал.

Я знаю, там не может быть никого другого. Это другому, стороннему глазу, может показаться, что просто полуночный романтик стоит на краю и сочиняет стихи, наслаждаясь безмолвием, наступившим вместе с темнотой вслед за унесшимся мимо, куда-то дальше, ветром. Но меня не провести.

— Подожди, — говорю я парню, стоящему на краю.

Он оборачивается. Видимо, настолько задумался, что не услышал шагов.

— Мы знакомы? — Он недоволен, что кто-то потревожил его уединение.

— Акош... Ты...

— Что? Почему вы мне тыкаете? — Интересно, что даже состояние предсмертного ужаса не отменяет условностей между людьми.

— Акош... — умоляющим голосом.

— Ну, что вы хотите? Можете оставить меня в покое?

— Твой русский заметно лучше... Не надо на «вы»...

— Хорошо. Что ты хочешь?

— Не прыгай.

— С чего ты взяла, что я собрался прыгать?

Я внимательно всматриваюсь в это испещренное ямками-оспинами лицо, в эти незнакомые мне зеленые глаза, мохнатые брови. Нет, это не Акош. Как же я могла так обознаться? Ведь это точно был он, я узнала его со спины, по его манере стоять и сомневаться, по морскому воздуху, в котором плавали его тревоги... А теперь передо мной стоит совершенно чужой человек, недоумевающий, что мне от него надо.

— Ну, в такой час вы здесь одни, в таком месте... Ничего другого и в голову не приходит.

— Теперь на «вы»? —

— Да, извините, я вдруг поняла, что вы не Акош.

— А я вдруг понял, что я Акош. — Он усмехается и тянется в карман джинсов, извлекает смятую пачку сигарет.

— Акош не курит.

— После такой, как ты, закуришь. — Он заливается нервным смехом. У меня мерзнут пальцы.

— Так холодно... — Я старательно дышу на пальцы, стараясь согреться.

Он, который не Акош, не сходя с края, достает из кармана куртки кожаные перчатки и протягивает мне.

— Но ведь сейчас апрель... Откуда у вас перчатки?

Он усмехается. Я надеваю перчатки, с утеплителем. Рукам становится значительно теплее, и я проваливаюсь в какую-то необъяснимую негу. Мне так хорошо, как никогда не было и уже навряд ли будет. Мне зябко, у меня мерзнут пальцы, а этот парень протягивает мне те самые перчатки, которые не догадывался предложить все предыдущие разы. Теперь это вроде как не Акош, но продолжение Акоша.



— Я, пожалуй, все-таки прыгну, — говорит он почти спиной ко мне, но я уверена, что шурясь.

— Зачем, вы же не собирались?

— Да, но тогда я не был Акошем.

— Но даже если теперь ты Акош, то теперь ты правильный Акош, ты протянул мне перчатки.

Он закатывает глаза, немного отворачивается. Затем, опустив голову, смотрит на морскую гладь. Луна тонет в нефтяных разводах, и наши с ним отражения тонут вместе с ней. Мне так хочется, чтобы это все-таки был Акош, но я все еще не решаюсь поверить в это. Мешают сомнения.

Он делает шаг вперед и оказывается на самом краю. Следующий шаг — и он упадет в морскую пучину, проглатываемую тьмой. Мне хорошо, потому что согрелись руки, и плохо, потому что это все-таки не он.

— И ты ведь не станешь бросаться только потому, что я оскорбила какого-то поэта? Да, пусть он талантлив и дорог тебе, но это ведь все равно не повод, правда?

— Еще какой повод, кстати. Вот стоял, думал, зачем же мне топиться, а вот и ты подросла с таким славным поводом. Как звали поэта?

— Иштван Ковач.

— Так, значит, все-таки помнишь...

— Хватит играть со мной! Ты понятия не имеешь, кто это такой! Ты не знаком с его стихами, ты вообще о нем ничего не знаешь!

Он заливается каким-то диким, животным смехом.

— А ты, можно подумать, знаешь! Ха-ха-ха! Прочитируй же, давай!

— Идиот, там все по-венгерски! Я не знаю венгерского!

— Зато я знаю! И поэта этого знаю и люблю! Я — Акош! — Он продолжает смеяться. Боже мой, пусть же он заткнется, наконец. Лучше отсюда уйти, правда, все это перестает быть смешным и реальным.

— Тогда скажи мне, о чем стихотворение на девяносто первой странице!

— Ты что, проверяешь меня?

— Да!

— Я реальнее тебя.

Цепенею. Не в состоянии вымолвить ни слова. Это поддельный Акош, настоящий никогда не разговаривал со мной настолько нагло. Он не носил таких модных курток, он был скромнее и никогда бы не стал смеяться так по-злому.

— Акош сейчас утонет, — вдруг серьезно говорит он. Который Акош. И который совершенно незнакомый парень. Кажется, это вовсе не он смеялся минуту назад.

— То есть? — недоумеваю.

— Тебе ведь нужно, чтобы он утонул.

— Почему ты так считаешь?

— А почему снова на «ты»?



— Но ведь теперь ты Акош?

Он мнет гримасой лицо, озабочено и злобно, кусает нижнюю губу, о чем-то думая.

— Ты ведь хочешь, чтобы он утонул?

— Не знаю. Но мне так хочется знать, как было бы, если бы я осталась с ним.

— С такой чокнутой, как ты, я точно брошусь отсюда. — Смех с дрожью в голосе.

— Ты — не он.

— Неужели до сих пор сомневаешься?

— Блин... Между нами был неразрешенный вопрос. И его все равно невозможно разрешить, я постоянно мучаюсь этим... Между нами всегда так. Как в семьях, где не принято говорить о чувствах. Сколько ни ходи к психотерапевту, все равно не сможешь поговорить нормально с родителями о своих переживаниях.

— Да. А если умер — тогда ведь легче? Если он жив, ты постоянно мучаешься, потому что думаешь, что можно найти пути решения вопроса. Думаешь, а как бы было, останься я с ним? А если его просто уже нет? Тогда, сколько ни мучайся, уже ничего не исправить. Так и перестают мучиться.

— Неправда. Мертвецы еще настойчивее.

— Чушь.

— Откуда ты знаешь?

— Ха-ха-ха. — Теперь смех совсем тихий.

Какое-то время мы стоим молча, в условной ночи, огнях города и абсолютной тишине. Он смотрит на волны, я — ему в спину, с каждой следующей секундой начиная верить, что это все-таки Акош, что это должен быть Акош, иначе к чему все эти броджения по фрагментам прошлого? Я чувствую реальность всего происходящего настолько четко, физически, кожей и мурашками на ней. Сомнений совсем не осталось. Какое же это счастье, быть вот так, рядом с ним, за ним, как тогда, на мотоцикле. Я подойду сейчас ближе, обхвачу его руками, и он все поймет. Невидимым ластиком сотрется дефис, некогда образовавшийся между нами в результате такой непростительной глупости. Я делаю шаг.

И он делает шаг. Прыгает вслед за утонувшей луной.

И все перестает.

* * *

Незнакомый зеленоглазый парень со слипшимися от воды бровями выплывает через минуту, без труда добирается до края пирса и, ухватившись за край, ловко забирается обратно на сушу. Я подбегаю к нему с бешено колотящимся сердцем, хватаю за мокрый рукав, с которого капает грязная вода, обнимаю его и даю волю слезам.

Он молчит. Гладит мои волосы, безвозвратно портя укладку.

— Послушай, — полушепотом говорит незнакомец, — я сейчас пой-
маю тебе такси, тебе не надо здесь оставаться.

Отталкиваю его от себя, вопрошаю одними глазами. Он пытается
страхнуть с себя как можно больше воды, начинает подпрыгивать попере-
менно то на левой, то на правой ноге.

— Это ты только что не утонул! — Даже не знаю, как звучит сейчас
мой голос.

— Ты? Мы знакомы?

Я отступаю на шаг.

— Ну ты же Акош...

— Он утонул. Я подхватываю сейчас воспаление легких.

Смотрю на него, не в силах ни пошевелиться, ни вымолвить ничего.

— Пойдем уже! — Он подходит и хватается меня за локоть. — Не
могу оставить тебя здесь, чего доброго, еще прыгнешь следом за своим
Акошем.

— Но ведь настоящий Акош не спрыгнул, — чуть слышно говорю
я. Кажется, он плохо расслышал. — Это ты им притворился, да и то не
утонул, но сам он — жив, понимаешь? Я сейчас открою фейсбук, а он там,
постит свои дурацкие фотки с семьей и набирает лайки.

Мотает головой и тихо произносит:

— Нет.

— Что нет?

— Его там нет. Он умер. Он утонул, и чем скорее ты с этим сми-
ришься, тем лучше.

Я достаю смартфон и открываю фейсбук. В ленте нет оповещений о
нем, и это немного странно, ведь он достаточно активный пользователь, а
мой откровенный интерес приводит к тому, что в ленте через пост — его
записи и фото. Я набираю его имя в поисковике — ничего нет. Ничего не
понимаю. Ищу по-всякому. Его нет. Он удалил меня из друзей. Или во-
обще удалился из фейсбука.

Я смотрю на него с сомнением. Наконец выговариваю:

— Да, поймай мне такси.

Мы идем от пирса к бульвару, он — промокший и наверняка уже
простудившийся, и я — спокойная.

Он захлопывает дверь и, не оборачиваясь, идет дальше вдоль до-
роги, пытаюсь поймать следующую машину. Он наверняка простудится,
надеюсь, обойдется без пневмонии. Все-таки прохладно, а вода в такое
время не для плавания. Я называю адрес, и машина трогается с места.

В кабине мне становится значительно теплее, я с удовольствием
вдавливаюсь в кресло и открываю фейсбук на смартфоне. Красный ярлы-
чок уведомляет об очередном обновлении. Со смутным чувством кликаю
«открыть». Перепост от Таира: очередная дипломатическая статья. При-
опускаю стекло окна, вдыхаю: Каспий.

Станислав ЛИВИНСКИЙ

СЕРДЕЧКО ИЗ СКРЕПКИ

* * *

Не писал целый год, но опять записал
чуть-по-чуть бестолковые песни.
Так, наверное, все, кто хоть раз умирал,
возвращаются после болезни.

Там такие же звезды и та же луна,
тот же запах травы и арбуза,
виноград, а под ним голубая стена,
даже кошка по имени Муза.

Кто-то носом клюет на крутом берегу,
кто-то спит головой на опилках.
Неужели и ты превратился в слугу
и у слова теперь на посылках?

Облака, ниже — горы, одетые в снег,
и смешные барашки на спуске.
Над обрывом застыл одинокий абрек,
понимающий только по-русски.

* * *

От напасти до новой напасти,
изучая судьбу в ретроскоп,
то печешься о формуле счастья,
то читаешь с утра гороскоп.



И пока не сыграл еще в ящик,
из последних стараешься сил.
Всем хорош — говорят — работающий,
с головой, вот еще бы не пил.

Жил как все, не мечтал о дуэли.
Но опять, к своему же стыду,
налетаешь на рифмы и мели,
на свою уповая звезду.

Только сколько бы ты у Эрато
ни был кем-нибудь вроде слуги,
не приблизит тебя император
и твои не оплатит долги.

* * *

Сразу так и не вспомнит теперь человек —
сколько лет и когда день рождения.
Покупает продукты и пялится в чек,
достает самогон и соленья.

Я к такому и сам отношусь типажу,
что в занюханной ходит футболке.
Протираю глаза и на дятла гляжу,
что на дереве, в красной бейсболке.

Беспокойная птичка, которую я
испугал, и она улетела.
Потому что у дятла семья и друзья,
и работа, и важное дело.

Потому и запомнил, как раньше детьми
мастерили сердечко из скрепки.
Вот свинцовая косточка, на же, возьми,
заряди в самострел из прищепки.

* * *

Кем бы был, когда бы не любил, —
человеком и не человеком.
И красив, и в меру мягкокрыл,
и во сне не дергал бы ты веком.



Не храпел. Влюблялся бы на раз,
сорок жен сменил и сорок песен.
А теперь ты вешалка, каркас.
Интересен и не интересен.

Птичку зазываешь — чик-чирик,
на девицу смотришь с подозреньем.
Это не душа, а только крик.
Жги теперь ее местоименьем.

И зеркальной капелькой, как ртуть,
процветай на желтой дряблой коже.
Помогите, граждане, чуть-чуть!
Но никто не выйдет, не поможет.

* * *

Ловить все время отголоски
и воспевать во цвете лет
могилы, крестики, березки,
закат, похожий на рассвет.

Как, сам того не понимая,
мальчонка мучает щенка
и рыбка (даром что немая)
вдруг умоляет рыбака.

Какая движет ими сила,
о чем их жгучая печаль?
Жаль Александра, Михаила,
ну а себя ничуть не жаль.

* * *

Пройдешь вдоль морских панорам
по камешкам в потной рубашке.
Закажешь себе двести грамм,
лимончик на маленькой шпажке.

И будешь смотреть сквозь стекло,
как мыс изгибается саблей
и, скептикам вечным назло,
в бокал заплывает кораблик.

И чувствовать, что хорошо,
 обживши плетеное кресло.
 Скорее же выпей, дружок,
 пока это все не исчезло.

* * *

Хлебнув холодного рассола,
 на кухне куришь полугольи,
 с татуировкой на плече.
 В окошке каркает ворона,
 плетется школьник полусонный,
 короче, все в таком ключе.

Когда бы все так было просто,
 не задавал бы я вопросов —
 кого боюсь? кого люблю?
 Воспринимал бы дождь и ветер,
 деревьев шелест на рассвете
 как разговорчики в строю.

Пускай вокруг кошмар, унылость,
 а для меня такая милость,
 когда по воле божества
 презерватив висит на ветке
 и экзотической расцветки
 повсюду мертвая листва.

* * *

Сойдешь на фабрике «Восход»,
 плетешься долго вдоль заборов.
 Как изменилось все за год —
 не кладбище, а целый город.

Поправив лавочку и крест
 и оперевшись на лопату,
 закуришь. Господи, окрест
 одни фамилии и даты.

Все изменяется, течет:
 уже несносен воздух жгучий

и солнце голову печет,
а через час заходят тучи.

На небе молния сверкнет,
и снова станет тихо-тихо,
как будто там — парадный вход,
а может быть — пожарный выход.

И ты, печальный садовод,
смахнешь с креста налипший листик
и, туфли от земли очистив,
уйдешь опять на целый год.



...Нам сейчас трудно даже вообразить, каким на самом деле был Новосибирск в 1922 году, но факт создания литературного журнала многое говорит о людях, которые жили тогда в нашем городе, — жестокие демиурги революции, они искали в этой революции поэзию: «...И как только наша родная Сибирь, израненная и истерзанная лихолетьями дней колчаковщины, начинает зализывать кровоточащие раны на своей черно-бурой шкуре, как только она начинает подниматься на свои крепкие лапы, в то время, когда речь не может идти о “роскоши”, — тут же, вопреки всем и всему, зарождается мысль о журнале, и мысль эта зарождается и осуществляется в 1922 году» (И. Гольдберг).

А в марте 1927 года, когда журналу «Сибирские огни» исполнилось пять лет, В. Зазубрин отмечал: «...“Сибирские огни” есть огни, костер, разложенный в тайге в то время, когда еще хлестал свинцовый дождь гражданской войны. Костер был разложен в чрезвычайно трудных условиях, на снегу, тут же у пустых окопов».

...О, суровые романтики классовых битв! От вас мало осталось фотографий, и даже могилы некоторых из вас неизвестны, но один из незабываемых памятников вам — литературный журнал, который выходит уже 100 лет.

Сто лет! Вам бы понравилось, вы любите масштабные проекты, вы мыслили вселенскими категориями — и мы, ваши потомки, вспоминаем вас благодарно и слышим ваши обветренные голоса, сохраненные для нас стенографистами...

Дмитрий Рябов,

начальник отдела общественно-политической жизни

ПЯТИЛЕТНИЕ «СИБИРСКИХ ОГНЕЙ»

Торжественное заседание, посвященное пятилетию журнала «Сибирские огни», 21 марта 1927 г. в Новосибирске. Стенограмма. Публикуется по: «Сибирские огни», 1927, № 2, стр. 174—206. Орфография и пунктуация частично сохранены.

И. Гольдберг. Товарищи, разрешите торжественное заседание, посвященное празднованию пятилетия журнала «Сибирские огни», открыть.

Разрешите сказать здесь первое слово Сибирскому союзу писателей, от имени и по поручению которого я выступаю.

Пять лет — ведь это еще не юбилей. Пять лет — еще не астрономическая цифра. В дореволюционное время над таким юбилеем смеялись бы, так как для времен дореволюционных, чтоб праздновать юбилей, нужно было пятьдесят, сто лет, самое меньшее — 25. Но мы живем в эпоху, когда исторический период не измеряется столетиями. Мы пере-

жили 10 лет, которые ознаменовали собою большие перемены, ряд эпох. Мы живем в момент, когда считают не годами, а эпохами, и поэтому пять лет существования какого-нибудь общественного или культурного учреждения или предприятия — это не пять лет, а целая эпоха, ряд эпох.

Поэтому наш праздник, скромный праздник «Сибирских огней», — наш праздник сибирской литературы приобретает большое общественное значение. Сибирский союз писателей, сибирская литература в том виде, в каком она сейчас начинает жить и разворачиваться, была собрана и пущена по таежным сибирским дорогам «Сибирскими огнями». Эти дороги теперь уже проторены, и многие надежды осуществлены.

Но не мешает оглянуться назад и два-три слова сказать о том, какие надежды были у сибирских литераторов в дореволюционное время. Ведь мечта о сибирском журнале зародилась у сибиряков давно. В кандалной, колониальной, отсталой Сибири уже в 1789 году работал первый журнал — пресловутый «Иртыш, превращающийся в Ипокрену». Правда, не здесь и не сейчас нужно об этом распространяться и делать такие далекие исторические экскурсии, но это говорит о том, что на нашей далекой окраине живая мысль уже давно пробивалась и искала себе верных путей. Мы будем говорить о ближайших днях после 1905 года, когда, с одной стороны, общественная мысль была загнана в подполье, внешне подавлена, а с другой стороны — в подполье копила свои силы и оттуда делала вылазки к легальным проявлениям. И в области литературного собирания, в области выявления сибирских литературных возможностей в эти годы видим мы ряд попыток.

В годы, предшествовавшие революции — в 1915 и следующих годах, преодолевая ряд препятствий, строятся сибирские журналы, — создаются «Сибирские записки», «Сибирский студент» и т. д. Но все эти попытки были обречены на бесплодие, — и не только потому, что тогда существовала своеобразная политическая атмосфера, а еще и потому, что силы общественные были слабы, что так называемая «общественность» не могла давать жизнь культурным начинаниям. Для того времени сибирский журнал считался роскошью, второстепенным, чем-то таким, до чего мы еще не доросли. И характерно, что все эти попытки создать журнал были попытками филантропическими. Это были попытки отдельных групп и людей.

Несмотря на то, что нам помогали в создании сибирского журнала такие авторитетные люди, как Максим Горький, мы не могли создать этого журнала, потому что была такая общественная атмосфера, в которой все культурные начинания были как бы экзотическими, оранжерейными цветами и должны были хиреть.

Но после этих лет, которые уже в далеком прошлом, мы пережили многое, мы перешагнули огненную, кровавую и грозную грань, и после этой грани революционных лет начинается новая действительность. И как только наша родная Сибирь, израненная и истерзанная лихолетьями дней колчаковщины, начинает зализывать кровоточащие раны на

своей черно-бурой шкуре, как только она начинает подниматься на свои крепкие лапы, в то время, когда речь не может идти о «роскоши», — тут же, вопреки всем и всему, зарождается мысль о журнале, и мысль эта зарождается и осуществляется в 1922 году. Об этом нельзя забывать, об этом необходимо сегодня вспомнить...

Мы, сибирские писатели, обязаны «Сибирским огням» не только тем, что они существовали и дали нам плацдарм, где мы могли бы развернуть свою работу и найти приложение своих творческих сил. «Сибирские огни» с первого же дня своего существования сделали больше: они раскрыли дверь для всех, у кого билась в крови творческая мысль. Они не замкнулись в кружок, в группу, в направление. И таким путем они явились собирателями тогда еще слабой, зарождающейся и неокрепшей еще сибирской литературы.

И за это сегодня, в день празднования юбилея нашего журнала, мы должны сказать большое спасибо тем, кто руководил нашей работой и помогал существованию и жизни «Сибирских огней».

«Сибирские огни» дали возможность собраться всему тому, что сейчас есть в сибирской литературе. Они дали возможность не только печататься и не только облегчили условия индивидуальному литературному творчеству, но, больше того, — создали коллектив.

Об этом коллективе — об организации сибирских писателей в союз — мы также давно мечтали, но у нас ничего не выходило, и ни один человек не мог создать в Сибири коллектива писателей, несмотря на отдельные попытки. Была большая текучесть и малая дисциплинированность среди писателей.

Здесь были больше индивидуалисты, и для того, чтобы сковать, создать коллектив, нужны были большие усилия и большая работа. Работа эта была проделана «Сибирскими огнями» и проделана блестяще. Вот главное и основное, за что мы можем благодарить «Сибирские огни».

Не моя задача говорить о достижениях и недостатках «Сибирских огней». Ведь каждое большое дело не бывает без темных пятен и пятнышек. Конечно, и здесь и были промахи, и были ошибки, они будут и дальше, но надо их простить. Не ошибается ведь только тот, кто ничего не делает, а кто много делает, много и ошибается. Конечно, мы эти неизбежные ошибки сегодня простим «Сибирским огням» — дадим им амнистию.

Я не хочу намечать перспективных путей «Сибирских огней», но несколько слов о дальнейшей работе журнала сегодня надо сказать.

«Сибирские огни» дали возможность собраться сибирякам-писателям, дали возможность выявиться новым литературным силам и помогли им сорганизоваться в Сибирский союз писателей. Всюду, везде, в каждом нашем глухом углу сибирском появились новые силы, появился писательский молодежь, который еще слаб, но, может быть, что-нибудь даст и, может быть, даст что-нибудь большое. Этот молодежь требует дальнейшего руководства, требует дальнейшего пестования, требует дальнейшего бережного к себе отношения, — но такого бережного отношения, чтобы

не переборщить, чтобы не залить нашу молодую сибирскую литературу излишне большим количеством сырого и безнадежного молодняка, который занимается литературой дилетантски, неряшливо и бесталанно. Этот молодняк растет количественно и качественно, и мы видим, как на каждом шагу зарождаются группы рабоче-крестьянского литературного молодняка, с которым, над которым и для которого необходимо работать. И впереди одна из основных задач «Сибирских огней» — стать ближе к этому молодняку рабоче-крестьянских писателей затем, чтобы стать еще ближе, значительно ближе к молодому рабоче-крестьянскому сибирскому читателю. И это та большая задача, которую должен и может преодолеть журнал, и он ее преодолет при поддержке Сибирского союза писателей, при поддержке общественных и культурных сил Сибири.

От имени Сибирского союза писателей я заверяю «Сибирские огни», что мы наши силы на это дадим, мы постараемся этот молодняк дотянуть до хорошего, толстого журнала — «Сибирских огней». Мы попытаемся сами, вторгнувшись при согласии и при помощи редакции «Сибирских огней», в самые недра журнала, расширить его рамки и сделать его еще ближе к массам, к культурным рабоче-крестьянским массам...

Пятилетний путь «Сибирских огней» — славный путь. Очень громких, очень цветистых слов, конечно, об этом скромном деле говорить не приходится. Сегодняшний праздник — скромный праздник. Тем ближе он нам и дороже.

«Сибирские огни» светили ровным светом, но по таежным дорогам огни эти горели и хорошо освещали извилины и пути путаных троп. Пусть они, товарищи, светят хорошо и дальше! Я думаю, это пожелание вы вместе со мной поддержите. Пусть «Сибирские огни» разгораются и дальше! (*Аплодисменты.*)

Организационное бюро по устройству сегодняшнего заседания наметило президиум для дальнейшего ведения этого заседания. В президиум предлагаются: тов. Сырцов — секретарь Сибирского Краевого Комитета Партии, тов. Оленич-Гнененко — заведывающий отделом печати Краевого Комитета Партии, тов. Ансон — от СибкрайОНО, тов. Черемных — от Общества изучения производительных сил Сибири, тов. Нагорская — от общества художников «Новая Сибирь», тов. Шацкий — от редакции газеты «Советская Сибирь», тов. Негроров — от военной печати, тов. Кибардина — от ассоциации книжников, тов. Басов и Вегман — от редакции журнала «Сибирские огни», тов. Доронин — от юнсекции Сиб. союза писателей и следующие товарищи от Союза сибирских писателей — Зазубрин, Итин, Урманов, Тихменев, Никитин, Низовцев, Стрижков.

Товарищи, которых я перечислил, я прошу пойти сюда и занять места. (*Президиум занимает места.*) Сейчас мы приступаем к заслушанию приветствий. Первое слово для приветствия предоставляется тов. Сырцову, от Краевого Комитета Партии. (*Аплодисменты.*)

Тов. Сырцов. Товарищи, организующая роль литературы получила небольшую иллюстрацию в нашем сегодняшнем собрании. Я думаю, что

та самоотверженность, с которой участники собрания преодолели стихийное бедствие*, доказывает, что у «Сибирских огней» есть достаточное количество почитателей в Новосибирске. Во всяком случае, такая погода для НКПС (Народный комиссариат путей сообщения. — *Ред.*) служит достаточным основанием к тому, чтобы прекратить перевозки, но литература своих перевозок не прекращает и в это время. (*Аплодисменты.*)

«Сибирские огни» — дитя революции. Выстрелы пушек бронепоездов и шум крестьянской войны сопровождали рождение в Сибири этого журнала. Героический период революции нашел свое отображение — и очень удачно — в «Сибирских огнях», и несомненно, что этот период нашей революции таит в себе, содержит еще очень много материала и ждет своих отображений. И, быть может, самые крупные, самые удачные, обобщающие произведения будут даны тогда, когда мы отойдем на несколько исторических шагов назад, и тогда явится возможность создать монументальные полотна, изображающие и дающие обобщающую картину этого славного героического периода Российской революции.

В это время нашим писателям нужно копить материал, нужно копить эскизы, и «Сибирские огни» внесли в это дело чрезвычайно много ценного, и материал их не только ценен для Сибири, но ценен и для всего Союза.

Но, товарищи, «довлеет дневи злоба его». И, наряду с отражением этого периода пролетарской революции, наша литература, в том числе и сибирская литература, и «Сибирские огни», должны уделить и уделяют внимание современности.

Наше первое пожелание заключается в том, чтобы «Сибирские огни» в дальнейшем этим темам современности отвели твердую и достаточно удобную жилплощадь на своих страницах.

«Сибирские огни» не оказались скороспелкой. Суровый климат и холодные веяния, тяжелые условия, равнодушие и непонимание со стороны значительных кругов не привели к тому, чтобы журнал завял, захирел. Он прошел через самые тяжелые испытания. Позади остается славное, мужественное пятилетие. У «Сибирских огней», несомненно, очень много заслуг, но количество этих заслуг обязывает и заставляет нас выдвигать новые и новые требования.

Когда я приехал год тому назад в Сибирь, мне пришлось познакомиться с книжкой одного писателя-коммуниста, выходца из деревни. В этой книжке мне ярко запомнилось несколько строк, имеющих отношение к «Сибирским огням». Этот писатель держался того мнения, что лучше не иметь в Сибири толстых журналов, как «Сибирские огни», лучше не строить больших каменных зданий, не строить мостовых, а дать мужикам достаточно медикаментов.

* В юбилейный вечер погода была исключительно неблагоприятной, бушевал снежный ураган.

Такое странное противопоставление, такое странное сравнение для нас является совершенно понятным, и в этих словах, хотя и сказанных представителем нашей партии, партии, руководящей революцией и представляющей самое передовое в нашей стране, несомненно виден типичный и очень ярко выраженный рецидив мелкобуржуазной крестьянской ограниченности, с которой нам придется в дальнейшем иметь очень и очень много дела. Для нас — работников и писателей, — в той или иной мере связанных с революцией и рабочим классом, совершенно ясна ограниченность, узость, ужасная некультурность такой постановки вопроса.

Путь революции несет очень много препятствий рабочему классу. В своем пути нам придется преодолевать очень много препятствий, и одним из препятствий и является такое проявление мелкобуржуазной, в частности крестьянской, ограниченности. Рабочему классу необходимо терпеливо, вдумчиво, но настойчиво разъяснять крестьянству, своему союзнику, неправильность этих и аналогичных им взглядов. Рабочий класс в своем развитии и в своем строительстве, и хозяйственном и культурном, будет не один раз еще наткаться на эти и подобные им препятствия и преодолевать этот узкий, мелкобуржуазный практицизм, в котором говорит не рассудок, а предрассудки.

Литературе, в частности «Сибирским огням», связанным с революцией, рожденным в грохоте революционной борьбы, конечно, в этом деле будет всегда верным и надежным помощником рабочий класс. Эти цели и задачи должны быть поставлены соответствующим образом и разъясняться в соответствующем виде и журналом «Сибирские огни», — для того, чтобы «Сибирские огни» и в дальнейшем могли выполнить свою роль, свои задачи и свою миссию организатора и культурного строителя, — они должны быть всегда теснейшим образом связаны с рабочим классом и находить все новые и новые пути связи с союзником рабочего класса, с крестьянством, которое несет не только помощь рабочему классу, но и некоторые препятствия в виде своих предрассудков, некоторой культурной отсталости. Эти все препятствия необходимо будет преодолевать.

У «Сибирских огней», в тех условиях, которые были на протяжении этих пяти лет, создалась определенная связь с рабочим классом, есть связь и с крестьянством — как в лице постоянного круга читателей «Сибирских огней», так и в лице той части крестьянства, которая стала на дорогу творческой, самостоятельной писательской работы.

Нам необходимо внедриться глубже в рабоче-крестьянскую среду, и наше второе предложение заключается в том, чтобы «Сибирские огни», в предстоящей после этого юбилея работе, с помощью всех друзей журнала, это дело осуществили.

Один персонаж одного из последних или предпоследних рассказов Горького говорит о Сибири следующее: «Вы не можете себе представить, до чего богата Сибирь. Сибирь — это вымя симментальской коровы, но доить ее не умеют».

Для того, чтобы использовать эти сказочные богатства Сибири, для того, чтобы использовать их на благо социалистической страны, нужны не только капиталы, которые могли бы поднять эти сказочные богатства, но нужен и соответствующий, все более и более повышающийся, культурный уровень строителей: рабочего класса, крестьянства и тех представителей интеллигенции, которые в той или иной мере или в той или иной форме связали свою жизнь с делом великого строительства социализма в нашей стране.

Литература, в частности ее славный сибирский представитель — «Сибирские огни», является одним из мощных рычагов поднятия культурного уровня, которого до зарезу не хватает в нашей стране, и особенно в такой отсталой в культурном отношении ее части, как наша Сибирь.

Третье мое пожелание заключается в том, чтобы «Сибирские огни» и в дальнейшем так же правильно и с еще большим успехом находили точки приложения своего рычага в этом деле поднятия культуры. Дать здоровый, вполне отвечающий современности литературный материал — это значит не на словах, а на деле строить новый, здоровый быт, который был бы вполне достоин тех великих задач, которые сейчас стоят перед нами.

К сожалению, мы должны сказать, что в условиях нашей сибирской действительности литературное произведение часто подменяется пулькой с распасовкой. Наша обязанность заключается в том, чтобы помочь «Сибирским огням» успешно выдержать конкуренцию с этим нездоровым явлением быта; мы должны помочь «Сибирским огням» окончательно изжить подобные пульки с распасовкой. Мы должны создать условия, благоприятствующие для успешной конкуренции «Сибирских огней» с этими явлениями.

Надо сказать, что неуспех в этом деле означал бы, что социалистическое строительство пасует перед мелкобуржуазной и крестьянской стихией.

Торжество пульки с распасовкой, а не «Сибирских огней», было бы одним из проявлений мещанства и кулацкой стихии. В наших условиях, в условиях строительства, необходимо ко всему критическое отношение. Побольше критики и побольше самокритики. Мы часто строим, не разобрав, что и к чему. Может быть, поэтому у нас, в Новосибирске, много больших зданий, но мало хороших и удобных помещений. Это происходит по недостатку культурных навыков, это происходит по отсутствию должных методов, наметки, неустойчивого отношения к делу. И в отношении литературы мы должны культивировать всячески и помогать развиваться не элементам расслабленного снобизма, а творческим силам. А эти творческие силы заключаются в умении поправлять себя, переделывать и упорно работать. Тем, чего у нас еще не хватает, может быть отчасти и объясняется то обстоятельство, что критический отдел «Сиб. огней» не принадлежит к числу самых сильных отделов этого журнала.

Но в последнее время мы имеем ряд благоприятных симптомов, показывающих, что в этом деле мы начинаем продвигаться вперед с кое-ка-

кими уроками для себя. Есть симптомы, которые показывают желание, и доброе желание, помочь разобраться в том, что у нас делается под очень многими «потолками».

Но успех этого дела определяется не только добрыми желаниями. Он определяется и соответствующими средствами. Эти средства будут выковываться в процессе нашей работы над собой.

Это пожелание большего успеха и настойчивой работы мы адресуем нашим беллетристам.

Будет очень печально, если мы через несколько лет на таком же торжестве будем говорить о некоторых беллетристах, на которых мы возлагали большие надежды и которые не оправдали этих надежд, и в результате превратились в публицистов, в посредственных критиков.

Я думаю, что в отношении большинства наших писателей этого мы на будущем торжестве не скажем, потому что все, что есть творческого, сильного в нашей писательской среде и той писательской поросли, которая начинает группироваться вокруг сибирских центров и, в первую голову, вокруг «Сиб. огней», — это требование жизни устойчиво работать над собой — осуществится.

Очень часто приходится слушать жалобы со стороны тех писателей, которые по своему общественному положению вынуждены разрывать свое время и свои творческие силы между задачей обслуживания своих непосредственных литературных планов и общественной нагрузкой, которую налагают на них партийные и многие общественные организации.

Наши писатели, связанные с рабоче-крестьянской средой, находятся в особых условиях, и наши писатели — рабоче-крестьянские, — которые вздумали бы — по примеру писателей буржуазных — уходить «в келью под елью», были бы обречены на гибель.

Сила и творческая мощь наших писателей — рабоче-крестьянских — заключается в тесной связи с рабоче-крестьянскими массами. Отсюда и необходимо в той или иной мере, кроме обслуживания задач литературных, участвовать в деле строительства. Конечно, для плодотворной работы не нужно, чтобы писатель-коммунист или писатель-общественник, близкий к революции, все время торчал на нашей стройке и мешал бы плотникам и строителям. Но нужно, чтобы он заходил на эту стройку, чтобы набирался известных впечатлений и завязывал новые связи с рабоче-крестьянской массой.

В жалобах на общественную нагрузку есть много правильного. И это правильное нужно учесть нам — представителям общественных организаций и партийных органов — и нужно внести чрезвычайно серьезные коррективы. Нужно очень чутко отнестись к этим жалобам. Но не нужно допускать, чтобы эти жалобы прикрывали жажду жизни «богема», чтобы они прикрыли собой некоторые элементы маразма. И я думаю, что будет более целесообразно, если наши писатели-общественники вместо жалоб на чрезмерность общественной нагрузки попытаются практически поставить вопрос рационализировать это дело и предъявить

требования на установление коллективного договора между профсоюзами и писательской средой. После некоторого обсуждения этого вопроса мы найдем условия, которые в этом отношении пошли бы навстречу здоровым и правильным требованиям, раздающимся из писательской среды.

С гордостью и радостью отмечая славное пятилетие и громкие заслуги в течение этого пятилетия за «Сибирскими огнями», как литературным и организующим центром сибирской общественности, мы желаем «Сибирским огням» во втором пятилетии таких же и еще больших успехов. Желаем успешного творчества, ярких красок и возможного полнокровия. *(Бурные аплодисменты.)*

Председатель. Слово для приветствия от КрайОНО предоставляется тов. Ансону.

Тов. Ансон. В своем вступительном слове тов. Гольдберг указал, что пять лет — это не юбилейный срок и не астрономическая цифра. Но, товарищи, если говорить о пятилетнем существовании, да еще в Сибири — провинции некультурной, может быть, более некультурной, чем другие окраины, пятилетнее существование при такой обстановке, во всяком случае — юбилейная дата, которая должна быть отмечена.

От имени Краевого Отдела Народного Образования я горячо приветствую юбиляра и тех работников, которые создают журнал «Сибирские огни». Мы видим, что тираж «Сибирских огней» начинает расти. Но рост этого тиража крайне слаб. Имея в Сибири десяток тысяч учителей и политико-просветительных работников, мы должны «Сибирские огни» сделать достоянием не одной тысячи работников просвещения.

Не секрет, что целый ряд даже окружных библиотек не имеет «Сибирских огней», и работники библиотек не знают об их существовании. Это положение совершенно ненормально.

Первое пожелание Краевого Отдела Народного Образования редакции «Сибирских огней» и работникам, занимающимся распространением журнала, — довести его до всех библиотек, довести до массы работников просвещения.

Второе пожелание — материал, который помещается в «Сибирских огнях», использовать в ВУЗах, техникумах, школах 2-й ступени в учебном отношении. Это не значит, что журнал нужно превратить в журнал другого типа. Это значит, что нужно больше распространить журнал и привлечь к его материалу работников просвещения. В работе этот материал использовать можно и должно.

Третье пожелание редакции «Сибирских огней» — поставить у себя хорошо отдел политико-экономический, который почти совершенно отсутствует в журнале, и отдел критического обозрения, для того, чтобы наши читатели могли познакомиться с новыми литературными произведениями.

Четвертое и последнее пожелание «Сибирским огням» — светить и греть дальше и привлекать на свой огонек новых работников, которых еще много в себе таит Сибирь.

Г. Черемных. Да, пять лет, конечно, большой срок для «Сибирских огней». Когда «Сибирские огни» возникали, когда они делали первые шаги, то сами инициаторы и организаторы журнала не верили в столь долгое его существование.

Мне вспомнилась одна беседа, во время которой старались определить — долго ли будет существовать этот журнал? Тут один из самых ярких, энергичных работников «Сибирских огней» говорил, что «Сибирские огни» просуществуют один-два года, а потом они неизбежно закроются, чтобы возродиться снова через несколько лет.

К такому сомнению были, конечно, основания. «Сибирские огни» возникли в период героический, в начальный период творческой работы после тяжелых лет мировой и гражданской войны. Идея организации журнала была понятна и законна, но питалась она энтузиазмом небольшой группы людей, значительная часть которых оказалась в Сибири случайно, приехала ненадолго и работала мимоходом. Придет время, те, что создавали «Сибирские огни», уедут. Смены нет. «Сибирские огни» потухнут.

И становилось вполне понятным, почему самые близкие «Сибирским огням» лица сомневались в их долгом существовании. Но «Сибирские огни» дожили до пятилетнего юбилея. Теперь они находятся в другой обстановке, правда, обстановке не героической, а будничной, но зато при наличии объективных условий, которые обеспечат существование «Сибирских огней» и в дальнейшем. Если раньше они возникли в результате работы небольшой группы людей (прочтите «Памятное пятилетие» Сейфуллиной. Как мало было тогда писателей и как радовались каждому новому), — в настоящее время «Сибирские огни» работают уже в благоприятном окружении. С чувством «Сибирских огней» одновременно происходит и пленум союза сибирских писателей.

Это дает право сказать, что «Сибирские огни» в данный момент в своей производственной части имеют достаточно мощное обоснование. Сибирские писательские силы выросли, культурная жизнь существенно изменилась. Она становится достоянием широких масс. Интеллигенция, в частности научные работники, которая в период возникновения «Сибирских огней» стояла вдали от советской действительности, на положении любознательных наблюдателей, в настоящее время уже достаточно вошла в общую советскую работу, сорганизовалась и представляет собой советски настроенную общественную силу.

Мы имеем научно-общественную организацию в виде Общества по изучению производительных сил Сибири, от которого я имею честь приветствовать «Сибирские огни».

«Сибирские огни» за это пятилетие проделали большую работу, — они объединили, вырастили писателей Сибири. В этом отношении «Сибирские огни» ставили перед собой двойную задачу: они стремились дать не только художественное слово читателю, но обеспечить условия для развития растущих талантов. Те, кто хотел в художественном отде-

ле найти чеканные, вполне отлитые формы, подчас испытывал некоторое разочарование. Но вначале это было неизбежно. В дальнейшем, я думаю, «Сибирские огни» будут уделять больше внимания к работе над формой художественного произведения.

Нашли ли «Сибирские огни» своего читателя? Этот вопрос, мне кажется, то же самое, разрешен. Какой журнал более всего читается в Сибири? Несомненно — «Сибирские огни». Нельзя читателя мерить исключительно тиражом. Тираж зависит не только от того, насколько журналом интересуются, но и от материальных возможностей читателя. При малом тираже «Сибирские огни» были достаточно широко распространены. И один купленный номер проходит через десятки рук.

За эти пять лет в журнале произошли некоторые изменения. Основной отдел — художественный — в общем развивался и креп. Отдел «критика и библиография» вначале был поставлен хорошо, а затем он сошел почти на нет. Нам нужно выразить «Сибирским огням» пожелание, чтобы они восстановили былое величие этого отдела.

«Сибирские огни» давали место и научным статьям, но здесь не было проведено определенной системы. Научно-общественная мысль получала в «Сибирских огнях» освещение спорадически. Вина ли в этом только «Сибирских огней»? Не только их, но и научных работников. Отличительная особенность творчества научных работников заключается в том, что они большей частью пишут академические трактаты. Они не могут научную мысль вложить в рамки острой публицистики так, чтобы она сейчас же нашла свое место в журнале и сделалась достоянием широких слоев населения. Этот недостаток старый, традиционный. Мне бы думалось, что теперь своевременно «Сибирским огням» позаботиться о научном отделе журнала и создать свой кадр научных публицистов.

«Сибирские огни» выявляли слабо современные экономические и политические проблемы Сибири. Я не помню ни одной статьи, которая бы серьезно, глубоко проработала проблему индустриализации Сибири, имеющую в настоящее время громаднейшее значение в сибирской экономике.

То же самое нужно сказать и по вопросу о наших взаимоотношениях с ближайшим Востоком, где происходят события, в которых более других заинтересована Сибирь.

Я думаю, что в следующее пятилетие в этом отношении «Сибирские огни» будут значительно пополнены. Нужно ли нам останавливаться в «Сибирских огнях» на этих вопросах? Конечно, необходимо. Сейчас говорили, что Сибирь — это симментальская корова, но мы ее не умеем доить. По-моему — Сибирь все-таки в меру своих сил доится хорошо, но, чтобы в дальнейшем она давала большее количество ценностей — сибирскую симментальскую корову надо подкормить. Надо поставить Сибирь на рельсы широко развивающейся страны, вывести ее из полукOLONиального состояния. Необходимо уделить Сибири больше внимания.

«Сибирские огни» должны стать трибуной, с которой будут освещаться сибирские вопросы с исчерпывающей полнотой, трибуной, которая будет выковывать общественное мнение, трибуной, вокруг которой объединится советская сибирская общественность. (*Аплодисменты.*)

Председатель: Слово для приветствий предоставляется редактору «Советской Сибири» тов. Шацкому. (*Аплодисменты.*)

Тов. Шацкий. Товарищи, 1927 год — это год юбилеев. Вероятно, этой весной и этим летом мы будем праздновать очень много юбилеев. Это случайное совпадение пятилетнего юбилея «Сибирских огней» с десятилетними юбилеями, которые нам предстоят и которые мы уже праздновали, наводит на некоторые мысли. Нужно сказать, что артелью даже и юбилеи править веселее и лучше. Основное значение того факта, что у нас есть «Сибирские огни» и что такой толстый журнал к удивлению многих существует у нас в течение пяти лет, — значение этого факта усугубляется тем, что он является заслугой не только редакции «Сибирских огней», что возможность существования такого журнала в такой недостаточно культурной области, как Сибирь, была создана теми общественными условиями, которые были определены событиями, десятилетний юбилей которых мы праздновали и будем в этом году праздновать.

«Сибирские огни» — не партизан, не одиночка, и в этом отношении он резко отличается от тех толстых журналов, на которые по внешности он очень похож и которые фактически являлись партизанами, одиночками, пытавшимися создать видимость общественности. Все значение «Сибирских огней» именно в том и заключается, что они развиваются в атмосфере могучего роста общественности в низах, широчайшего размаха общественной жизни, о которой мы раньше, в период расцвета толстых журналов, не могли и мечтать. В этой большой работе по освобождению дремлющих сил нашего социалистического отечества, которая особенно важна в таких отсталых, исторически обиженных краях, как Сибирь, — в этой огромной работе «Сибирские огни» сыграли колоссальную роль. Они сыграли большую роль по собиранию старых сил на службу рабочему классу, по выявлению новых культурных сил, особенно в области художественной.

То, что «Сибирские огни» существуют уже пять лет, является аттестатом зрелости нашего журнала, показателем того, что журнал завоевал себе право на существование. Об этом сейчас уже не может быть разговоров. Поэтому мы — читатели, друзья «Сибирских огней» — имеем право не только хвалить этот журнал и доказывать его право на существование, но и предъявлять ему некоторые требования. В похвалах, комплиментах «Сибирские огни», слава богу, уже не нуждаются. И вот первое требование, или, если хотите, по-юбилейному выражаясь, пожелание, заключается в следующем. 5 лет «Сибирских огней» — это событие, товарищи. Но, к сожалению, сейчас не только пятилетнее существование «Сибирских огней», но и каждая книжка «Сибирских огней» является событием. О каждой книжке «Сибирских огней» разговаривают за полмесяца, а

иногда — за месяц, за два месяца до ее выхода. Этому событию каждый раз посвящаются большие статьи в печати.

Это нехорошо, товарищи. Нехорошо, когда культурное явление мы воспринимаем только в виде *события*, т. е. из ряда вон выходящего явления. Нужно, чтобы наш журнал «Сибирские огни» перестал быть событием; нужно, чтобы «Сибирские огни» стали заурядным явлением нашей общественной жизни, нужно, чтобы мы так привыкли к ним, чтобы совершенно перестали их замечать, — как мы не замечаем и не отмечаем специально каждого номера газеты «Советская Сибирь». Это первое мое пожелание. Второе пожелание заключается в том, чтобы «Сибирские огни», которые уже много сделали для того, чтобы организовать наших художников, писателей, публицистов, в своей работе следующего пятилетия взяли упор не только на организацию писателей, не только на организацию культурников-специалистов, но и на организацию читателей. В этом отношении были бы слишком вредны всякие иллюзии на тот счет, что у «Сиб. огней» имеется огромный кадр читателей, — что будто бы может быть доказано какими-то арифметическими и даже алгебраическими выкладками. Такая ошибка, такие иллюзии были бы очень вредны. В этом случае лучше ошибиться в худшую сторону, чем в лучшую.

Мое второе пожелание «Сиб. огням» конкретно выражается в том, чтобы журнал наш к концу следующего пятилетия имел, подобно «Сов. Сибири» сейчас, около 30 000 подписчиков. Конечно, я выражаю это пожелание с одним условием: с тем, чтобы нынешнее соотношение между «Сов. Сибирью» и «Сиб. огнями» оставалось тем же самым. (Смех.) Я думаю, что Сибирь — страна еще чрезвычайно молодая и растущая — сумеет такие тиражи выдержать, сумеет, в конце концов, превратить «Сиб. огни» в журнал, имеющий тысячи и десятки тысяч подписчиков. (Аплодисменты.)

Тов. Нагорская. Товарищи, я приветствую пятилетие журнала «Сиб. огни» от имени общества художников «Новая Сибирь».

Как относились раньше наши художники к журналу «Сиб. огни», до этого года? Художники смотрели на этот журнал как на журнал, который можно читать в свободное от работы время, как на журнал, в котором можно получить кое-какие сведения о Сибири, нужные и приезжему художнику, и местному художнику-сибиряку, который зачастую мало знает свой край.

Теперь художники смотрят на этот журнал немного иначе. На организованную арену художники наши вышли недавно: только в этом году, и в этом же году журнал это показывает, со своей чуткостью отражает эти первые организованные шаги художников, объединившихся в первое общество художников. «Сиб. огни» в своем первом номере помещают отчет о нашей художественной выставке, в следующем номере — говорят о съезде художников Сибири; в номерах же, которые будут выходить в дальнейшем, нам обещано отражать и частные, индивидуальные шаги в работе того или иного художника. Это для нас очень ценно; мы считаем

журнал своим, определенно нам близким. Я думаю, что это, конечно, отразилось и на числе подписчиков «Сиб. огней». В этом деле и мы, художники, приняли, конечно, участие. Я получаю сведения от различных городов и знаю, что наши филиалы зачастую подписываются на «Сиб. огни» целиком. Например, красноярские художники подписались на шесть годовых экземпляров.

Недавно мы были взволнованы, правда, на один только день, собранием, организованным по инициативе СибкрайОНО, по вопросу об организации журнала «Сибирское искусство». К сожалению, это не состоялось. Предполагаемый журнал на этом собрании превратился в маленький литературный листок, и мы, конечно, были разочарованы. Тем более мы ценим «Сиб. огни» как художественное слово и как орган, отражающий нашу жизнь и работу.

Вот и все. Привет «Сибирским огням».

Тов. Троицкий. Товарищи, наш Новосибирский музей приносит свое горячее поздравление «Сиб. огням» по поводу их пятилетнего юбилея. Те краеведческие странички, которые открыл у себя журнал «Сиб. огни», ставят его в ряды борцов за изучение Сибири, за выявление ее производительных сил и их использование. Но это использование возможно только при общем культурном подъеме страны. Эту задачу «Сиб. огни» выполняют своим художественным словом. Они поднимают культуру в массах. И поэтому музей приносит еще раз поздравление им и желает полного успеха. (*Аплодисменты.*)

Тов. Кибардина. Сиббюро секции работников печати приветствует «Сиб. огни» в день их пятилетнего юбилея. Констатируя неуклонный рост интереса к «Сиб. огням» не только в Сибири, но и в самых отдаленных уголках СССР, Бюро выражает уверенность, что «Сиб. огни» будут крепнуть и жить. (*Голос из президиума: «Правильно!»*) (*Аплодисменты.*)

Председатель. Товарищи, у нас есть ряд телеграфных и письменных приветствий. Мы их зачитывать не будем здесь. Их можно будет прочесть в журналах и газетах.

Затем у нас будет приветствие Рабиса в виде концерта, а сейчас объявим небольшой перерыв и после него заслушаем доклад и концерт.

Председатель. Слово для доклада на тему «Проза “Сибирских огней” за пять лет» предоставляется т. Зазубрину.

В. Зазубрин. Если т. Сырцов говорил о плохой погоде, то мне нужно говорить о хорошей. Эта хорошая погода вынуждает меня сделать один организационный вывод.

Дело в том, товарищи, что у нас сегодня хорошая погода — нас не только не ругали, нас не только не замалчивали, нас приветствовали. Очень рентабельно т. Сырцов и вексельно т. Ансон. Эти приветствия все-таки взяли известное время, и поэтому я свой доклад сокращаю. Заранее прошу извинения у тех писателей, деятельности которых, может быть, я мало коснусь.

Товарищи, в конце 1921 года инструктор Сибполитпросвета по отделу ЛИТО, сибирский поэт Вяткин, подал сметные предположения на 1922 год заведывающему Сибполитпросветом тов. Басову. Он писал: «Считаю необходимым забронировать для снабжения пролетарских писателей Сибири (а попутно и для обслуживания аппарата ЛИТО) 16 стоп писчей бумаги, 8 дюжин карандашей, 8 дюжин ручек, 16 дюжин перьев, 0,8 ведра чернил». (Смех.) По отделу МУЗО тогда же была сделана заявка на 2 000 роялей, на 2 000 гитар, на 3 000 мандолин, на 6 000 скрипок, на 40 000 (сорок тысяч!) балалаек (смех), на 15 тыс. аккордов рояльных струн и т. д. По отделу школьному было запрошено 9 000 микроскопов и 4 500 телескопов (смех) из расчета по одному микроскопу на школу и по одному телескопу на две школы. Словом, если бы все шло по тому плану, который был представлен в Сибполитпросвет, было бы очень неплохо. И тов. Сырцову тогда не пришлось бы говорить о торжестве пухляки с распасовкой. К сожалению, жизнь рассудила по-своему. В школах нет не только телескопов, но кое-чего и другого более важного.

Струны же, по сообщению «Советской Сибири», при этом не струны Сибполитпросвета 21 года, а последней закупки из Карской экспедиции, проданы и отправлены на север... на лески. Конечно, леска хорошая вещь, но все же мы считаем такое использование струн мелкобуржуазным уклоном, проявлением крестьянской ограниченности (смех), той самой, о которой упоминал здесь т. Сырцов.

Теперь писатель пишет не только на казенной бумаге, но и на своей. К сожалению, только казенная бумага у него отнимает больше времени, чем своя.

Но все же, товарищи, несмотря на скромные сметные предположения Сибполитпросвета, мы к 5-летию журнала имеем 250 печатных листов (кругло) прозы. Басов скажет: 190. Не верьте — он скуп (смех, аплодисменты) и недоплатил за эти 60 листов. У нас лист в «Сибогнях» — эксплуататорский. В нем не 40 000 печатных знаков, а 58 000. Для наглядности можно сказать, что у нас есть 10 томов прозы, 10 романов по 25 печатных листов каждый. Мне сегодня нужно рассказать, таким образом, о 10 романах в 25 листов каждый. Задача непосильная, как бы я ни был словоохотлив. К счастью докладчика и слушателей, проза «Сибирских огней» подана читателю так, как подается жареная птица в тайге. Эта птица с перьями жарится в глине. Если мы снимем глину, снимем всю тяжелую и ненужную оболочку, очистим от лишнего и возьмем в руки сибирскую литературу, поспевшую к 5-летию юбилею, то она будет весить несколько повестей и десятков рассказов. Задача моя, следовательно, облегчается. Рассказать о десятке рассказов гораздо проще.

«Сравнение — не доказательство», — говорят французы. «Всякое сравнение шатко», — говорят немцы. Пусть критики изрекают неопровержимые, «не шаткие» истины. Я — беллетрист, и о сибирских писате-

лях буду говорить, как товарищ о товарищах. Я позволю себе воспользоваться своей, так сказать, «ведомственной» терминологией.

Здесь говорили, что «Сибирские огни» есть огни, костер, разложенный в тайге в то время, когда еще хлестал свинцовый дождь гражданской войны. Костер был разложен в чрезвычайно трудных условиях, на снегу, тут же у пустых окопов.

По огням можно определить характер жилья. У нас, конечно, не светлооконные небоскребы, а огонек где-то у чума. Это несмотря на то, что мы владеем бездной строительного материала. Но мы или варварски портим его, или проходим мимо (как известно, лесу у нас больше сгорает, чем используется).

Как-то я ехал с одним нашим комиссаром. Глядя в окно вагона, он говорил, что у нас страна отсталая, лес гниет, горит и т. д. «Вот, — говорил он, — во Франции к каждому дереву подвешена чашка и в нее стекает смола». Нам до Франции далеко, у нас домов не хватает, не только чашек. Мы пляшем у костров. Строительство же наше часто развертывается только на бумаге. В газете нередко мы видим жирный, тяжелый заголовок — «Новый завод. Новая мощная электростанция». Не думайте, что в заметке под таким заголовком, под такой «шапкой» вы найдете описание этого нового завода, вновь пущенной электростанции. Ничего подобного — вы там найдете описание проекта постройки, на которую еще и деньги не отпущены. (Смех.) В литературе у нас тоже много таких тяжелых «шапок» (роман, отрывки из романа), под которыми или ничего не сидит, или сидит «птичка-невеличка». Но вы ошибетесь, если скажете, что у нас нет литературы. Литература у нас есть, и даже сибирская.

Термин «сибирская» может встретить много возражений. Могут сказать, что раз наша литература на русском языке, то она русская. Но ведь негр Ренэ Маран пишет по-французски. Однако это еще не значит, что он создает французскую литературу. Сибиряк — метис, следовательно, элементы туземного творчества он внесет в литературу. Но, скажут нам, Пушкин тоже был метис, и, тем не менее, он глубоко русский поэт, хотя негры и провозгласили его своим национальным гением. Не будем спорить. Это тема особая, требующая особых исследований. Ими займется профессор. Я же считаю, что нельзя совершенно отмахиваться от этого вопроса, так как факторы биологические, экономические, географические и другие не могут не играть известной роли, не могут не класть своеобразного отпечатка на творчество сибиряков. В Сибири все эти факторы налицо. Здесь налицо взаимодействие культур — русской и туземной. Мы вправе употреблять термин «сибирская» и требовать от писателя в его вещах этого «сибирского».

Если вы придете в фруктовую лавку, то сразу различите тончайший запах чарджуйской дыни и пресную немоту русской. Книга сибиряка-писателя должна цвести всей гаммой цветов Сибири. Слово «сибирская» не должно быть пустым звуком. Сибирский писатель должен сделать его ощутимым на вкус.

Нам скажут, что мы областники. Да, областники, но в лучшем, высоком смысле этого слова. Областники потому, что любим, изучаем, стараемся познать свою страну. Мы не хотим походить на Иванов Непомнящих, мы хотим быть детьми Сибири. Я думаю, что Флобер был карфагеняном, когда писал «Саламбо», так как необходимо проникнуться духом страны, чтобы создать вещь, достойную и ее, и эпохи. Мы понимаем областничество как изжитие туризма в искусстве.

Конечно, были писатели-областники узкие, сепаратисты. Но сейчас всякий сепаратизм мы осуждаем и отвергаем.

По-моему, всех сибирских писателей можно разбить на три категории. Первая — тоскующие и горюющие, ахающие и любующиеся. Вторая — осваивающие Сибирь, берущие ее крепко, деловито, по-хозяйски, готовые биться за нее.

Если метишь на мой мешок,
Буду метить в башку тебе я...

Для этих писателей Сибирь часто — идеология.

Третья категория — использующие Сибирь как материал, как фон. Для них Сибирь — не идеология, а, если так можно выразиться, технология.

В наш век, в век радио, авиации и кино, когда мы чувствуем, как дышит наша страна, и вместе с тем видим и слышим, как вздымается грудь всего мира, о каком сепаратизме можно говорить? Наконец, есть еще один фактор, уничтожающий сепаратизм, — это наш Октябрь, как канун мировой революции. Ожидание прихода мировой пролетарской революции, борьба за этот приход объединяет сейчас людей всех цветов кожи. Наша Октябрьская революция — начало такого соединения. Вопрос мирового объединения трудящихся жизнь ставит и разрешает диалектически — через национальное самоопределение к Интернационалу. Все это помогает нам чувствовать себя не только детьми Сибири, но и детьми всего СССР, чувствовать себя братьями всем тем, кто борется за объединение мира под знаком Коммунистического Интернационала.

Итак, товарищи, мы у костра. У костра — Березовский, Сейфуллина, Пушкарев, Правдухин, Басов. Березовский, по «рассказам бабушки», знал, какие дрова нужно класть в костер; он положил в огонь сухие, смолистые сутунки своих двух повестей. Сейфуллина принесла «Четыре главы» кизяку, собранного в оренбургских степях. Кизяк, как известно, есть и в Сибири, поэтому такой вид топлива со стороны сибиряков не встретил возражений. Басов свалил остатки дома, подожженного его «Матрешкой». Пушкарев — «Толпу» белых и красных. Правдухин ходил вокруг костра, подбадривающе покрикивал, посылал даже письма неизвестному «другу» о «взлетах и взрывах революции» и пренебрежительно сплевывал в огонь: «Суровая страна Сибирь. Не любит искусства... Поэзия требует малявинских красок и огромных пламенных образов. А где они в Сибири?..»

Костер разгорался. На огонек подходили новые люди. Березовский почему-то заподозрил, что в дальнейшем дрова стали поступать не с госсклада, плюнул и ушел. (Смех.) А у костра не умолкали рассказы. Сейфуллина рассказывала о правонарушителе Гришке, о большевике Софроне, о красной гвардии. Иногда она вскакивала, становилась в позу и кричала: «Застрашим Европу, товарищи!» Но о Сейфуллиной уже много сказано другими, и я о ней говорить сегодня не буду. Я считаю, что нужно говорить о тех, на ком наши критики не останавливались.

Я буду говорить о писателях в том порядке, по возможности, в каком они подходили к костру. У Глеба Пушкарева — в одном из лучших его рассказов «Надо воротиться» — предВИКа (председатель волостного исполнительного комитета. — *Ред.*) говорит так: «Товарищи! Поволжье голодает! Товарищи, да разве мы можем молчать!..» ПредВИК этот в вечной суете, слово сказал: «и летит дальше... Слово бросил, пищу дал — лети дальше, оживляй новых, поддержи...». Писатель часто с читателем обращается по примеру своего предВИКа — «слово бросил — летит дальше». Часто кажется, что Пушкарев пишет конспекты, что серьез он только еще предполагает писать, но ему некогда, к тому же: «Товарищи, да разве мы можем молчать! Революция требует». И в печать идут конспекты. «Старое кончилось — нового нет, а душа ищет его, рвется: дай его, дай! Люди обновилась: песни новые, сказки другие».

Пушкареву не удалось алтайцы. Пушкарев пишет о туземце так, как когда-то писали «кающиеся» дворяне о крестьянах. Я думаю, что этой «болезнью» кающегося дворянина страдает не один сибирский писатель, когда подходит к изображению туземца. Уж очень мы его жалеем, боимся обидеть, стараемся представить как можно лучше. Я думаю, что туземцы не нуждаются в этой жалости. Туземца нужно давать стихийно и просто, как стихийен и прост он сам. А то выходит уж очень неубедительно: «Дик Алтай. У него все свое: своя душа, свой склад, своя прелесть, простота. И народ свой: тихий, скромный, с прекрасной душой младенца, младенца гор».

Хорошо показал Пушкарев только мужичонку — Никиту Куликова, до анекдота жадного и ограниченного, ничего не видящего дальше своей семьи, краюшки хлеба и бабы. «Наше дело маленькое... Нам бы тово... Прокормиться...»

Никита Куликов, нищий и голодный, убил старуху с целью грабежа (взял мешок муки). Арестованный, на следствии он, вспоминая убитую, крестится и говорит: «Царство ей небесно. Може, ей лучше теперя...»

С звериной цепкостью держится Никита за семью. Сбежав из катажки, он, как крот в нору, ночами таскает домой хлеб. Убил он старуху для того, чтобы накормить своих голодных детей, убил «без сердцов, а так»... (У Пушкарева вообще убивают «так», без злобы, без особой надобности.)

Никита Куликов — цельная и живая фигура, созданная художником без натяжки и фальши. «Надо воротиться», несомненно, как я уже

говорил, лучшая вещь Пушкирева. В других своих рассказах писатель, к сожалению, часто говорит с ненужным смешком об очень скорбных и тяжелых вещах. Анекдотический разрез, в котором Пушкирев повествует о расстреле красных белыми, кажется неуместным, ненужным, как царапина на зеркале.

Писатель много видел, он богат материалом, но серьезно проработать его не успел.

Из тайги вышел Максимилиан Кравков, и в рассказе из своих «Саянских скитаний» заявил, что ему, когда «кончается пустыня... становится грустно»...

Стихия Кравкова — тайга, простор, безлюдье. «Я волен, как зверь в этих каменных, задремавших дебрях». «Великое одиночество охватило меня и как будто прибавилось мне еще свободы». Уйдя из тайги, он говорит: «Я вспоминаю пламенное солнце, синий блеск взволнованной реки и беспредельную свободу таежных дебрей».

Кравков не только любит и знает тайгу, но и умеет ее показать. Он рисует ее со всеми ее противоречиями. Она и жестокая, и добрая, и богатая, и голая. В ней живут честные и наивные, как дети, тунгусы, рыщут хищные приискатели — русские. В тайге режут человека за несколько крупинок золота и в тайге же тунгусы думают, что «великий грех — убить человека», и когда проливается кровь, память об ней навсегда остается у племени... «Вырастет новый лес на иссохших гарях, умрут старики и за соболями отправятся молодые охотники, а убийство по-прежнему будет жить в их беседах». Тунгусам органически противно убийство. Они поднимают руку на себе подобного в исключительных случаях. Кравков рассказывает, как однажды племя было вынуждено казнить одного из своих охотников, испорченного «водой, которая жжет». Приговор привести в исполнение поручили старухам, так как они все равно скоро умрут.

Кравков берет на свои полотна людей сильных, смелых. Он берет охотника, вырезавшего пучок шерсти со спины у спящего зверя — сохатого. Кравкову для его рассказов нужны сильные одиночки. Человека-одиночку Кравков всегда противопоставляет стихии и коллективу. В этом, собственно, Кравков весь. Современность во многих его вещах подшита белыми нитками. Начинается, например, рассказ с того, что его действующие лица выходят из сельсовета и отправляются в тайгу. Больше сельсовет автору и его героям не нужен. Упомянут он так, как раньше обычно упоминалась погода... «Однажды в сырой осенний вечер...» А по ходу действия видно, что оно могло развертываться с одинаковым успехом и в сухой летний вечер, и в ясный весенний и т. д. Чаще всего современность у Кравкова выступает только как внешнее обрамление рассказа. Похоже на то, что автор, вводя в начале повести две-три фразы о гражданской войне, торопится намазаться дегтем от надоедливых комаров и уйти в тайгу. Тем современных писатель, конечно, не избежал и умышленно их не обегал вообще, но всю мощь событий революции он

использует для того, чтобы еще резче подчеркнуть твердость, независимость и героизм своих бойцов-одиночек. Герои Кравкова мечтают, сидя в тайге, достать такую пушку, из которой бы «пальнуть» раз и смести сразу и Колчака, и всех его приспешников. Плис с Архиповым, окруженные солдатами, сладострастно заряжают патроны и с радостной дрожью предвкушают прелесть поединка. Человек, приговоренный к повешению, мечтает о динамите, о гремучем студне, которым он в момент казни смел бы всех палачей. Словом, для лучших и «любимых» персонажей писателя — бомба — панацея от всех бед.

Вслед за бомбой Кравков вводит в рассказ женщину. Она играет весьма немаловажную роль. При этом женщина у него обязательно красивая. В «Эпизоде» красивая женщина делит с Баландиным напряженные минуты опасности и победы, в «Ассирийской рукописи» она неразлучна с героем, в «Медвежьей шкуре» она — исходная точка, ради нее идут на охоту, с мыслью о ней убивают медведя; в «Двух концах» женщина хоть на секунду, но радостно озаряет сознание человека, приговоренного к смерти.

Словом, схема рассказов у Кравкова такова — герой, бомба, женщина. Кравков долго работал в кино. Это, вероятно, сказалось на его умении строить вещи сюжетно. Кравков сюжетен и авантюрен. Читатель с одинаковым интересом следит за действующими лицами его рассказов независимо от того, где они «приключаются» — в городе или в тайге. Писатель умеет держать читателя в напряжении. Иногда только его герои «приключаются» приключений ради. Тогда читатель, перевертывая последнюю страницу, разочарованно вздыхает. Не всегда удерживается Кравков от соблазна — повесить на таежную красавицу-пихту несколько безвкусных елочных украшений.

Приходилось слышать разговоры о том, что Кравков напрасно берется за такие вещи, как смертная казнь при царе. Это, мол, уже описано Андреевым. Можно, конечно, писать о смертной казни и в революцию, может быть, это даже нужнее, но нельзя утверждать, что Андреев — идеал, предел, его же не преjdeши, и что эта тема уже исчерпана. Товарищи, ведь наши политкаторжане (и Кравков вместе с ними, так как он политкаторжанин) на днях только праздновали десятилетие своего освобождения из тюрем. Всего только десять лет, как они сняли кандалы. Разве могут они забыть царскую тюрьму, царских тюремщиков и палачей, и разве у нас в литературе есть хоть что-нибудь более или менее полно отражающее тысячелетия каторги, отбытой нашими революционерами? Таких вещей еще нет, товарищи. Поэтому мы должны приветствовать всякую попытку отобразить героический подпольный период борьбы с самодержавием. Упрекают Кравкова в чрезмерном индивидуализме, в идеализме. Пусть так. Пусть он не дает массы, борьбы классов, но он дает одно из слагаемых действенной, революционной массы — сильный характер. К тому же не надо забывать, что Кравкову, как писателю, всего пять лет от роду.

Одновременно с Кравковым, вышедшим из тайги, из степи вышел К. Урманов. Урманов рассказал о киргизах, мечтающих, что после переворота (контрреволюционного) каждому из них достанется по две русских бабы. Киргизы Урманова плохо разбираются в событиях гражданской войны и мечутся от одного берега к другому. От его коммунистов сильно несет великодержавным российским душком. Вот как говорит один из них о киргизах: «А хорошо бы им, чертям косоглазым, революцию подпустить! Вот бы забегали! И-их!» И он же в другом месте презрительно цедит: «До революции вам еще далеко». С коммунистами у Урманова неблагополучно. В лучшем случае они — крестьяне. Красноармеец-коммунист, говоря, например, о Ленине, для большей убедительности проводит параллель между ним и Христом.

Крестьян писатель дает крепко. Они «настоящие» у него, со всей своей узостью и ограниченностью, их видишь. Крестьяне Урманова дальше деревни и пашни ничего не знают и знать не хотят. Они с одинаковой усмешкой говорят о белых и красных:

Ленин, Троцкий и Колчак
Научили — чак да чак!

Коммуну его крестьянин встречает со злобной иронией: «Не ужиться ей тут... Мороз неподходящий, сурьезный».

Но ведь была же гражданская война в Сибири, были восстания, были белые, красные. Ничего или почти ничего этого мы не найдем в вещах Урманова. Писателя больше занимают маленькие люди в революции («Собеседник»), их маленькие несчастья. Стержень всех этих личных драм довольно однообразен. В «Занозе» красноармеец, вернувшийся домой, не застаёт невесты (за другого вышла), в «Пестряди» Петруха Гуляев, вернувшийся с войны, нашёл свою жену изнасилованной и беременной, в «Мари» мужик приходит с войны инвалидом и жена убегает от него и т. д. Мир героев Урманова невелик, он покоится на двух китах — на пашне и бабе.

Мы не хотим смешивать мировоззрения Урманова с мировоззрением его героев, но надо поставить в упрек писателю те места, где он за своих мужиков сам начинает махать кулаками и уже за кавычками чужой речи продолжает говорить крестьянским языком. И затем, почему-то все его вещи написаны в минорном тоне. Почти в каждом рассказе в тон автору подвывает унылый ветер и шумит жухлый лист или сухой тростник. Над этим писателю надо задуматься.

(Окончание следует.)

Вениамин ВЕГМАН

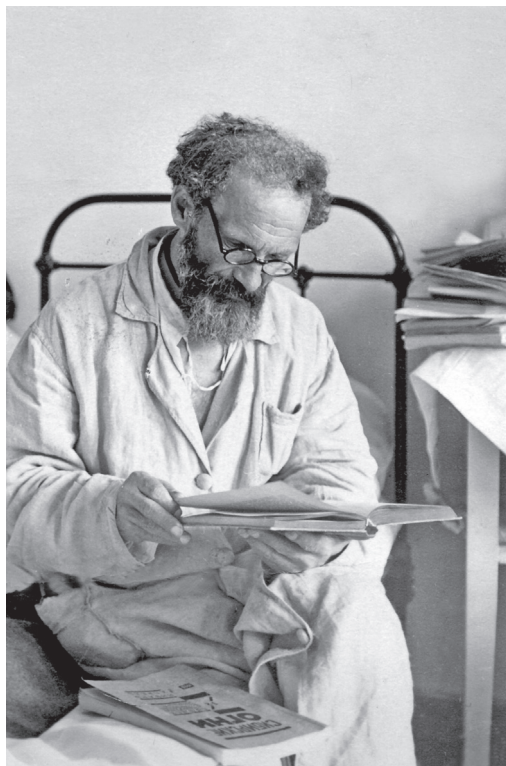
СИБИРСКИЕ ОГНИ

Статья Вениамина Вегмана, посвященная пятилетию «Сибирских огней» (1927), публикуется впервые. Документ хранится в Государственном архиве Новосибирской области (Ф. П-2. Оп. 5а. Д. 9. Л. 1—7). Орфография и пунктуация машинописного подлинника частично сохранены. Редакция «Сибирских огней» благодарит Государственный архив Новосибирской области за предоставление документа.

Прошло только пять лет... Пять лет бурной жизни, жизни столь богатой многочисленными и разнообразными событиями на всех наших фронтах, что порой начинает казаться, будто прожито не пяти-, а пятидесятилетие, целая эпоха. Эпоха же требует, чтобы были подведены итоги.

Если же подводить итоги, то нельзя выкинуть за борт деятельность журнала «Сибирские огни». Правда, в общей цепи советского строительства Сибири этот журнал занимает более чем скромное место, но признать должны, что он — необходимое звено, без которого вся цепь не сомкнулась бы.

За истекшее пятилетие несколько литературно-общественных журналов возникло в Сибири. Вначале же только «Сибирские огни». Только этому журналу удалось преодолеть все препятствия, укрепить, упрочить свое положение, пустить глубокие корни, даже дать некоторые заметные ростки. Одно это обстоятельство уже говорит за то, что «Сибирские огни», как бы, повторяем, ни были скромны его роль и значение, имеет все права на то, чтобы о нем вспомнили в этот юбилейный год, тем более что существование журнала тесно связано с ростом и



Вениамин Вегман читает свежий номер журнала «Сибирские огни». 1926.

Государственный архив Новосибирской области. Ф. П-11796. Оп. 6. Д. 133а. Л. 55

развитием культурного строительства Сибири, с подъемом ее общественной жизни.

Скромные итоги, однако, уже подведены в ряде статей, напечатанных в «Сибирских огнях». Здесь же я хочу поделиться только немногими личными воспоминаниями, а попутно и некоторыми соображениями.

* * *

Почему-то держится глубокое убеждение, будто журнал обязан своим возникновением и существованием исключительно воле и желанию ряда... <...> (Одна страница утрачена. — *Ред.*) ...посмотрел на дело иначе. Журнал не закрыли, но освободили редакцию от Березовского. Вместо него ввели в редакцию меня, а Березовский вскоре переехал в Москву, где продолжал безнадежно будоражить общественное мнение и так же безнадежно настраивать партийные круги против сибирского журнала, позволяющего себе преступную роскошь печатать повести беспартийной Сейфуллиной и не помещать рассказов партийного Березовского. Теперь, как мне известно, Березовский нисколько не изменил свой взгляд на «Сиб. огни», но это теперь, а тогда...

Покажется странным, но это факт, что в то время, как за пределами Сибири, даже в Москве и Ленинграде, где имеется много солидных толстых журналов, к «Сиб. огням» отношение самое благожелательное, дружелюбное, внимательное, в самой Сибири и среди сибиряков не раз раздавались по адресу «Сиб. огней» враждебные голоса. В этом отношении Березовский имел попутчиков хотя бы в лице одного местного поэта, который в 1924 году выступил на столбцах «Красноярского раб<очего>» с громовой статьей против «Сиб. огней». Этот поэт нашел, что «Огни» слабо греют и мало светят и вместо вывода, что следует раздуть пламя, дабы оно жарче грело и ярче светило, поэт высказался за необходимость совершенно потушить огонь — пусть Сибирь останется и без тепла, и без света. Этому «пожарному» была дана должная отповедь, утешением да послужит нам тот факт, что теперь и этот «пожарный» уже ратует за «Сиб. огни», по крайней мере недавно он признался, что если когда он и выступал против «Сиб. огней», то делал это из чувства личной обиды: его, видите ли, жившего в Красноярске, не слишком усердно привлекали к активному сотрудничеству в «Сиб. огнях». Нечего, думаю, прибавить, что это признание — не убедительная оговорочка.

Была полоса, чего греха таить? Когда нашумели «противоогневцы», но теперь эта полоса прошла, да и <не> нам в наши дни требовать прекращения «Сиб. огней», когда этот журнал с каждой книжкой качественно улучшается, когда он находит все более широкое распространение, все более широкий круг читателей и когда ширится круг его сотрудников.

Нынешнее положение журнала «Сиб. огни» свидетельствует о том, что напрасны и неосновательны были тревоги за судьбу журнала: солиден был фундамент, заложенный в 1922 году, и прочно утрамбовывался этот фундамент в 1923 году.



Редакция журнала «Сибирские огни». Слева направо: Д. Г. Тумаркин, М. М. Басов, В. Д. Вегман, В. П. Правдухин. 1922 — 1923.
 Государственный архив Новосибирской области. Ф. П-11796. Оп. 6. Д. 133а. Л. 8

Зима 1922—1923 года особенно мне памятна. Именно в эту зиму редакция вела самые оживленные споры о судьбе журнала, его характере, направлении, будущности. Раза два-три на неделе собирались мы для бесед, прений и совместной читки. На беседы и читки приходили помимо членов редакции и находившиеся в Новосибирске сотрудники журнала, а порой и посторонние — приглашенные и по собственному почину.

Если бы стены могли говорить, то стены квартир по Потанинской, 26, где жили Правдухин и Сейфуллина, и Советской, 3, которую я занимаю сейчас, многое могли бы рассказать об этих беседах и читках.

На Потанинской, 29 (вероятно, имеется в виду Потанинская, 26. — *Ред.*), Сейфуллина три раза читала свой «Перегной» и под влиянием нашей критики, которая всегда носила самый дружественный и теплый характер, три раза принуждена была переделать эту повесть. Кстати замечу, что под влиянием наших замечаний Сейфуллина раза три перерабатывала свою повесть «Путники», до сих пор оставшуюся незаконченной.

На Советской, 3, была забракована «Щепка» Зазубрина. Прослушать читку этой повести собралось человек двадцать пять — тридцать. Д. (неясно, кто имеется в виду. — *Ред.*) и В. Итин читали эту повесть вслух. Оба они страстно желали видеть эту повесть напечатанной. Слушатели внимали читке с затаенным дыханием. Жгучие споры разгорелись вокруг этой повести. Споры велись главным образом не по вопросу о том, насколько художественно это произведение, сколько в плоскости того, насколько целесообразно и по разным соображениям своевременно напечатать эту повесть в советском журнале. Мало голосов высказалось в пользу



этой повести. Зазубрин взялся ее переделать, отшлифовать острые углы ее, сгладить рискованные места. Переделку читали уже в более узком кругу. Для «Сиб. огней» нашли ее неподходящей. Посоветовали отправить в «Красную новь». А. Воронский повесть принял, обещал напечатать, уплотил даже гонорар, но повесть света и по сию пору не увидела. Теперь Зазубрин рад, что повесть в свое время не была напечатана, теперь он сам ее находит не вполне удачной. Сейчас он занят совершеннейшей проработкой темы, легшей в основу «Щепки».

На Советской, 3, несколько раз читалась и другая повесть Зазубрина — «Общежитие». Ругали «Сиб. огни», ругали редакцию за напечатание этой повести, которая, несомненно, не совсем правильно понята и расценена была многими читателями.

А как бы ругали редакцию, если бы она дерзнула напечатать первый вариант «Общежития»!..

Производили совместные читки других авторов (В. Итина, Кравкова), а равно стихи наших поэтов. О стихах обычно докладывал В. Итин.

Место не позволяет подробно останавливаться на этой стороне деятельности редакции «Сиб. огней». Однако сказанное в достаточной степени убеждает, что тщательно отбирался и подготавливался материал, который публиковался на страницах «Сиб. огней». Редакция журнала придерживалась традиций совместной читки беллетристических произведений. Эта традиция служила некоторой границей, что если на страницах



Дом на Советской, 3 (угол ул. Свердлова), в котором с октября 1922-го по 10 мая 1930-го Вегман занимал угловую квартиру.

У второго окна сидит сам Вениамин Давыдович. [1922 — 1930].

Государственный архив Новосибирской области. Ф. П-11796. Оп. 6. Д. 133а. Л. 66

журнала и будет напечатано какое-нибудь слабое произведение, то во всяком случае никак не унижает произведение, заслуживающее некоторого внимания и представляющее некоторую ценность. (Так в тексте. — Ред.)

И тем не менее случались досадные недоразумения. И как обидно, что эти недоразумения связаны с двумя весьма ценными произведениями, принадлежащими перу А. Караевой, писательнице, начавшей на страницах «Сиб. огней» свою литературную карьеру и желавшей, как видно, тесно быть связанной с этим журналом. Я имею в виду повести А. Караевой — «Берега» и «Медвежатное». Если первая повесть была возвращена автору действительно по недоразумению, вследствие совпадения ряда случайных обстоятельств, то вторая по оплошности чрезмерно торопливого редактора художественного отдела, который, найдя эту повесть слабой, самолично на свой страх и риск вернул рукопись автору, не дав ее на просмотр никому из членов редакционного коллектива.

Бывали досадные недоразумения, совершались досадные ошибки. Не ставить же каждую ошибку в укор редакции. На ошибках ведь учимся. Впрочем, не очень много таких ошибок совершила редакция, совесть редакции во всяком случае чиста.

* * *

Крупным достижением «Сиб. огней» надо признать то, что журнал за время своего сравнительно недолгого существования успел объединить вокруг себя почти все творческие силы Сибири. Журнал искал не только читателя, но и писателя. Журнал создавал кадр писателей из нарождающегося <ся> рабоче-крестьянского молодняка. Пока что не особенно велико число уже успевших из среды молодняка выступить на литературную арену, но факт тот, что армия пишущей братии успела уже значительно разрастись. Эта армия сейчас объединена в Союзе сибирских писателей, а этот Союз есть несомненно детище «Сиб. огней». Кто из членов Союза не считал своим долгом работать для «Сиб. огней», кто из этих членов не старался попасть на страницы этого журнала? И какие бы ни велись меры из-за влияния над подрастающим молодняком, фактом остается та непреложная истина, что этот молодняк тянется и рвется к «Сиб. огням».

* * *

Крайне несправедливо поступают те, которые делают оценку журнала «Сиб. огни» только по его литературно-художественному отделу. Поступающие так умаляют значение журнала. Будем поэтому справедливы и воздадим должному должное.

Если посмотрим все до сей поры вышедшие книги журнала, то среди них немало найдем таких, которые не смогут блеснуть или хвастнуть своим беллетристическим отделом.

Скажу больше: журнал часто запаздывал выходить только потому, что не хватало подходящего беллетристического материала.

"СИБИРСКИЕ ОГНИ":

Вегман

7

Прошло только пять лет... Пять лет бурной жизни, жизни столь богатой многочисленными и разнообразными событиями на всех наших фронтах, что порой начинает казаться будто прожито не пяти, а пятидесятилетие, целая эпоха. Эпоха же требует, чтобы были подведены итоги.

Если же подводить итоги, то нельзя выкинуть за борт деятельность журнала "Сибирские Огни". Правда, в общей цепи советского строительства Сибири этот журнал занимает более чем скромное место, но признать должны, что он — необходимое звено, без которого вся цепь не сомкнулась бы.

За истекшее пятилетие несколько литературно-общественных журналов возникло в Сибири. В начале же только "Сибирские Огни". Только этому журналу удалось преодолеть все препятствия, укрепить, упрочить свое положение, пустить глубокие корни, даже дать некоторые заметные ростки. Одно это обстоятельство уже говорит за то, что журнал "Сибирские Огни", как-бы, повторяем, не были скромны его роль и значение, имеет все права на то, чтобы о нем вспомнили в этот юбилейный год, тем более, что существование журнала тесно связано с ростом и развитием культурного строительства Сибири, подъемом ее общественной жизни.

Скромные итоги, однако, уже подведены в ряде статей, напечатанных в "Сибирских Огнях". Здесь же я хочу поделиться только немногими личными воспоминаниями; а попутно и некоторыми соображениями.

Т.-----

Почему то держится глубокое убеждение будто журнал обязан своим возникновением и существованием исключительно воли и желанию ряда

Первый лист публикуемой машинописи.

Государственный архив Новосибирской области. Ф. П-2. Оп. 5а. Д. 9. Л. 1

Буду еще откровеннее: я знаю таких читателей и подписчиков журнала, которые — не в обиду будь сказано беллетристам и поэтам — художественный отдел книги даже не разрезают, а ищут в каждом номере совершенно другой материал.



Говоря об этом другом материале, мы должны в первую очередь отметить исторический материал, систематически появлявшийся <ся> в каждой книге журнала и всегда спасавший книгу от провала. Ни за одним отделом журнала, даже за его беллетристическим отделом, не следила с таким вниманием столичная и провинциальная печать, как за историческим.

К сожалению, другие отделы журнала не велись так систематически, как беллетристический и исторический. Статьи по экономике и политике появлялись с большими переборами, были на страницах журнала случайными гостями, не ставили проблем, не разрабатывали и не освещали волнующие вопросы.

Лишь в последнее время начал в журнале систематически появляться краеведческий материал. Этот материал должен занять и, по всей вероятности, займет свое вполне определенное место в журнале.

Если наши старания должны быть направлены к тому, чтобы сделать «Сиб. огни» боевым органом, действительно влияющим на нашу партийную и советскую общественность, то следует улучшать не только его литературно-художественный отдел, задающий, так сказать, тон всему журналу, но и все остальные отделы.

Призывом к работе в этом направлении позволяю себе закончить свои краткие отрывочные, если хотите, юбилейные заметки.

Вениамин Давыдович Вегман (1873—1936) — революционер, публицист, журналист, историк, архивист.

Окончил четырехклассное училище. С 1890 года участвовал в народовольческих кружках. В 1903 году примкнул к большевикам. В 1914 году был арестован, сослан в Нарымский край.

В 1917 году переехал в Томск, в июле был избран председателем Томского губернского комитета РСДРП. В июле 1918 года был арестован, вывезен в Екатеринбург и заключен в тюрьму. В июле 1919 года был освобожден красными.

В декабре 1919 года командирован в распоряжение Сибревкома и назначен членом Томского губбюро. В июле 1920 года назначен начальником Сибархива.

С 1920 года работал в Новониколаевске чрезвычайным уполномоченным по организации Сибирского советского государственного театра оперы и драмы. Один из создателей журнала «Сибирские огни». Возглавлял краевой Истпарт и Архивное управление, был председателем театральной комиссии.

К 1923 году был заведующим сибирским отделом Главлита. Совместно с А. Н. Туруновым составил указатель книг и журнальных статей «Революция и гражданская война в Сибири» (Новосибирск, 1928). Входил в редакционный совет «Сибирской советской энциклопедии».

Арестован 25 апреля 1936 года. Погиб 9 августа 1936 года, по всей видимости совершив самоубийство.

К 85-летию Новосибирской области

Татьяна СВИРИДОВА

НОВЫЕ ИСТОРИИ СТАРОГО БЕРДСКА

Город-призрак

Вряд ли найдется в Новосибирской области человек, который не слышал о старом Бердске хотя бы самую малость. Будь то легенды, истории старожилов или результаты исследований — темы эти вызывают интерес, подобно тому как зачастую увлекают нас явления, ушедшие безвозвратно.

В 2021 году старшему соседу Новосибирска исполнилось 305 лет. Из них только 64 года — это история нового города. Все, что происходило раньше, — история старого Бердска. Она-то и будоражит умы современников и заставляет углубляться в прошлое, отыскивая в пыли веков все новые и новые факты.

В 1950 году, когда началось строительство Новосибирской ГЭС, у бердчан появились необычные заботы. Им предстояло переселение, при котором перевезти требовалось даже собственные дома! Это было невиданное явление. «Наш старый город жил тогда какой-то особенной жизнью. Трудно было свыкнуться с мыслью, что это его последние месяцы. Переселение шло все быстрее. По главной улице теперь день и ночь громыхали самосвалы, железными прицепами гремели лесовозы, проносились бортовые машины, груженные до отказа домашним скарбом. Ветер гнал над садами и дорогами облака желтой пыли. Мы... шли по улице, где вместо домов громоздились уже одни развалины». Так писатель-бердчанин Ефим Медведев запечатлел Бердск времен переселения в книге «Если есть у тебя мечта».

В 1957 году жизнь из Бердска ушла навсегда. Людям, покидавшим город последними, на память остались печальные виды опустевшего города-призрака, который теперь всецело переходил к двум новым владельцам — воде и истории...

Старожилы рассказывают, что подготовку к затоплению нельзя было сравнить ни с чем ранее пережитым: все постройки разбирали по бревнам и кирпичам, а туалеты и погребка закапывали. Оставшийся же после переезда мусор погребали под землей на глубине двух штыков лопаты. По дворам ходила комиссия — проверяли, насколько чистым остается ложе будущего водохранилища.

Но разве можно было обеспечить абсолютную очистку территории?!



Спустя десятилетия старый город показал, что осталось в песках истории. Находки свидетельств прошлой жизни порой удивляют, ведь помимо таких простых предметов, как подкова, замок или кованый гвоздь, изредка на поверхность выходят уникальные артефакты.

Находки

В 2020 году в Сретенскую церковь Бердска передали оклад старинной иконы с изображением святых Митрофана Воронежского и Тихона Задонского. Его нашли в руинах старой Сретенской церкви, что была построена в 1808 году. Историческая справедливость восторжествовала — предмет перешел следующему поколению священников и прихожан.

Но, к сожалению, не всякий найденный в старом Бердске артефакт становится общим достоянием — чаще, попадая в руки коллекционеров, предметы уходят в неизвестном направлении. И хорошо, если удастся хотя бы взглянуть на них и получить хоть какую-то информацию. Так случилось с крестом — Знаком отличия Военного ордена (ЗОВО) времен Русско-японской войны.

Отправной точкой в поиске информации стал номер, который и вывел на владельца награды. Им оказался Лука Чеботарь, младший унтер-офицер 52-го драгунского Нежинского полка, который был отмечен «за мужество и храбрость, оказанные в боях против японцев». Как награда оказалась в Бердске — можно только предполагать, а достоверно известно лишь одно: в метрических книгах Сретенской церкви села Бердского в разделе о рожденных за годы, когда Чеботарь мог родиться, он не значится. Более подробная информация может находиться в Российском государственном военно-историческом архиве, а следовательно, эта история еще ждет изысканий.



**Знак отличия Военного ордена.
Найден в старом Бердске в 2020 г. частным лицом**

Запах из прошлого

В старом Бердске пахнет речной тиной и рыбой. И казалось бы, вода не оставила шанса почувствовать что-то еще. Но в 2008 году при обнаружении остатков небольшой деревянной постройки, предположительно цирюльни, нашлась россыпь свинцовых тюбиков с кремом для бритвы. Не было в этом никакого открытия — историков и археологов интересуют вещи поважнее. Но если бы существовал музей запахов, эта находка наверняка заняла бы в нем почетное место, ведь крем, пролежав под водой больше полувека, до сих пор не утратил запах! Сладковатый, мятно-прогорклый, он так и рисует в воображении сцены

из ушедших времен. Только теперь в ожившем старом городе к нему примешиваются и другие запахи — свежескошенной травы из палисадников, деревянных домов, жареной рыбы, чистого речного песка. Каждый услышит что-то свое...

Несмотря на то что последние дни старого Бердска пришлось на середину XX века, все же многие знают и более раннюю его историю. К счастью, исследования в этой области не стоят на месте и даже давно известные эпизоды пополняются новыми фактами.

Бердский жрец

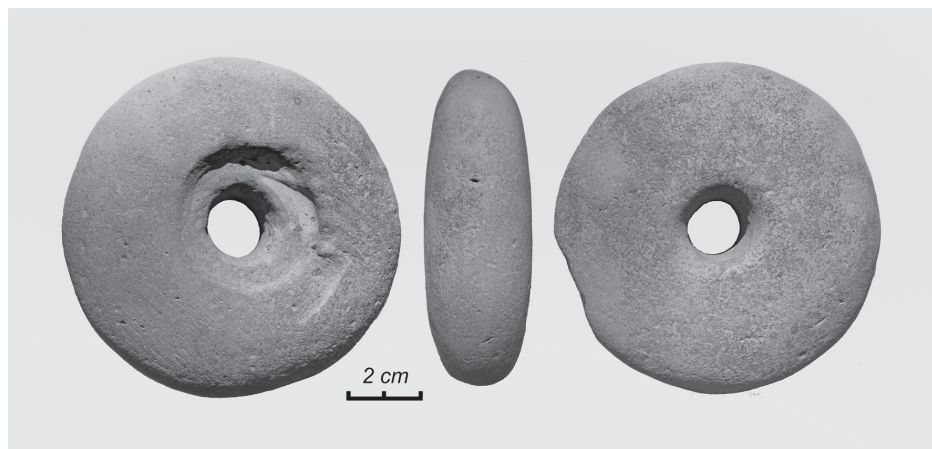
Острог, с которого в XVIII веке началась история Бердска, исследован лишь по немногочисленным письменным документам. Иных материалов нет, и вряд ли они появятся: над местом, где он стоял, — море. И все же иногда вода «отдает» свежие артефакты. Мол, возьмите, изучите, следующий будет нескоро. И вот ученые преподносят очередную порцию информации, которая дает пищу для ума и будит интерес.

Так, в 2020 году в Бердском историко-художественном музее появился экспонат из незапамятных времен, позволяющий сделать новые выводы о причинах выбора места под строительство Бердского острога.

Навершие булавы, обнаруженное на территории старого Бердска, прошло несколько экспертиз, и выяснилось, что время его происхождения — эпоха раннего металла.

Булава — одна из разновидностей статусного оружия. Находка такого предмета на территории старого Бердска говорит о том, что до появления острога там находился какой-то памятник, возможно, погребение, в котором был захоронен не простой человек, может быть, вождь или жрец — служитель культа.

Ранее исследователи Новосибирского государственного краеведческого музея нашли в этом же районе два каменных инструмента — топор и тесло, хронологически относящиеся к одной эпохе — ранней бронзы (приблизительно рубеж 4—3 тысячелетия до н. э.). Булава же — это первая такая находка в Новосибирской области. Ближайший ее аналог был найден в Омской области в могильнике Боровянка-17, где также был найден и каменный топор. Более



Навершие булавы, найденное на территории старого Бердска в 2020 г.





того, наша булава по форме настолько совпадает с булавой из Боровянки, что создается впечатление, что если уж их делали не в одном месте, то определенно по одному образцу.

Любопытно, кстати, что в Бедфордском музее (Англия) есть реконструкция именно такого типа булав.

Группа исследователей Института археологии и этнографии СО РАН пришла к выводу, что нетипичная форма «бердского» навершия указывает на то, что в свое время камень, из которого она сделана, показался нашим предкам необычным и, возможно, был воспринят как дар или знак богов.

Новый артефакт позволяет говорить о том, что место Бердского острога было освоено задолго до появления оборонительного пункта, а именно более чем за пять тысяч лет до того, и имело стратегическое и, возможно, ритуальное значение.

Но не только найденные в старом Бердске предметы рассказывают историю. Все большую ценность для исследователей приобретают другие источники информации. Архивные документы — поле, на котором каждый желающий сделать открытие будет удовлетворен с лихвой. Можно только гадать, сколько непрочитанных документов в разных архивах ждут своего часа!

Мещанин Горохов

В 2021 году в Государственном архиве Иркутской области были открыты важные документы, касающиеся биографии купца Владимира Александровича Горохова.

Имя этого человека на слуху у каждого, кто интересуется историей старого Бердска. До 2008 года здесь, под водами Обского моря, находилась могила купца. А при его жизни была мельница, производившая муку высшего качества. Успешное дело приносило хороший доход, что в сочетании с щедростью владельца мельницы позволило превратить Бердское в процветающее село (статус города Бердск получил только в 1944 году).

Знали Горохова и в Новониколаевске: на углу улиц Барнаульской (современная Щетинкина) и Каменской находился торговый дом «В. А. Горохов», а в 1895 году Владимир Александрович вошел в комитет по постройке собора Александра Невского с обязанностями казначея.

Купеческий период биографии Горохова в какой-то степени изучен. Что же касается первой половины жизни — информация была крайне скудной. И вот появились сведения, позволившие значительно дополнить его жизнеописание.

Как ни удивительно, но большую часть этих данных «предоставило» дело о взыскании денег: совсем еще молодой Горохов пытался добиться справедливости, вступив в судебное разбирательство с неким купцом Домбровским. Но обо всем по порядку.

Важнейшая информация о происхождении содержится уже в самом заголовке: «Дело по прошению Минусинского мещанина Владимира Горохова о взыскании с купца Домбровского денег за службу». Сразу два факта! Горохов — мещанин из Минусинска! Поле поисков документов расширилось еще на один город, ранее не фигурировавший в биографии Горохова.

Но, конечно же, удовлетвориться только титульным листом и не заглянуть дальше было бы непростительно. И вот узнаем, что взрослую жизнь выпускник

Иркутской мужской гимназии, будущий купец мукомольного дела начинал... с продажи вина. Неожиданно и любопытно.

«В 1868 году я поступил на службу к Иркутскому первой гильдии купцу Якову Савельеву Домбровскому в качестве доверенного при одном из оптовых его винных складов*. Кроме того я должен был исполнять и другие возлагаемые на меня обязанности, за что заключенным контрактом и договорились получать жалование с Домбровского 300 рублей серебром в год с готовым со стороны Домбровского столом.

В скором времени я получил назначение поехать в село Витимское Киренского округа для заведования вновь открываемым оптовым складом вина, торговли припасами, разного рода товарами и виноградными винами. А так как с открытием упомянутого торгового дома торговля под моим управлением стала расти и достигла больших размеров (так что в течении двух с половиной месяцев равнялась 300 тысячам) и мне самолично стало невозможным заведовать всеми делами, то я должен был нередко приглашать для помощи посторонних известных мне лиц, производя им, разумеется, плату из собственного жалования 300 руб., во внимании чего Домбровский обещал мне вдобавок к жалованию переплачивать по 10 копеек с каждого проданного со складов литра вина и по 5 коп. с рубля товаров, припасов и виноградных вин.

Но письменного факта на прибавку мне жалования от Домбровского я не требовал, а верил его обещаниям за ручательствами честного слова. Подобного рода доверие с моей стороны было сделано на видах того, что он мой хозяин и что средства его всегда позволяют уплатить мне договоренные проценты с рубля вдобавок к жалованию. <...>

Причина же раздоров между мною и Домбровским следующая: в июне месяце 1870 года Домбровский по приезду в Витим требовал от меня продажи вина 35 градусов с таким, чтобы приобретение было в его пользу. Исполнение подобного рода предложения влекло за собой мою личную ответственность перед законом, а равно и перед Домбровским... <...>

Но так как на подобного рода предложение я не согласился, то Домбровский прикомандировал к витимскому складу служащего, еврея, Гусинского, приказав мне сдать ему все наличные остатки вина, припасов и товаров, которых отпуск должен был производить Гусинский, имея, вероятно, в виду, что Гусинский, независимо от меня, будет буквальным исполнителем противозаконных распоряжений Домбровского».

Далее последовала проверка витимского склада, и решение проверяющего было не в пользу Горохова, что и послужило причиной его увольнения по собственному желанию.

«Теперь же мне оставалось только одно, что-бы покорнейше просить и ожидать милости от Домбровского, который на просьбы мои не хотел обратить никакого внимания, а между прочим, требовал от меня возвращения таких фактов, которые в настоящее время и при моем положении могут служить для меня единственной опорой; в этих письмах проглядывает несколько неблагородные действия со стороны Домбровского и отступление от законов правительства. Но на подобного рода сделку я не согласился и тем окончательно вооружил его против себя. После чего Домбровский уже стал выказывать свою влиятельность, выразившись так: "если ты представишь против меня что-нибудь (те самые письма), то я постараюсь, сколько бы мне это не стоило, сослать тебя в Якутск".

* Здесь и ниже орфография и пунктуация подлинника сохранены.



Все вышеизложенные действия и угрозы Домбровского как человека богатого, заставляют меня искать защиты Вашего Высокопревосходительства и, в тоже время, покорнейше просить об удовлетворении меня Домбровским причитающимися по расчету деньгами и возвращения неправильно задержанного им моего векселя на сумму 4 600 руб.»

Из этого документа видно, какими деловыми и человеческими качествами обладал молодой Горохов.

К сожалению, дело было перенаправлено в другую канцелярию, и нам неизвестен исход. Но из дальнейшей биографии мы знаем, что Горохов не оказался в якутской тюрьме, куда, по всей видимости, Домбровский и грозился упечь неудобного законопослушного служащего, — биография продолжилась в других сибирских городах — Киренске (из документов стало известно, что в 1880 году он уже был киренским купцом 2-й гильдии), а затем Томске и Бердске.

А было ли завещание?

В мае 2008 года произошло событие, которое привлекло большое внимание к истории старого Бердска: останки купца 1-й гильдии В. А. Горохова, похороненного в 1907 году в склепе белокаменной Сретенской церкви, перенесли в новый Бердск.

Причина понятна: могила находилась на дне Обского водохранилища, где по всем человеческим обычаям ей не место. А вот предшествующее погребение (Горохова хоронили трижды!) породило слухи о том, что купец, умерший в Москве, завещал похоронить себя в Бердске. И якобы именно по этой причине его останки были с Ваганьковского кладбища перевезены в Сибирь.

Однако есть немаловажное обстоятельство: никто никогда не видел этого завещания, а значит, настоящая причина перезахоронения все же остается невыясненной. Просто очень уж складно подходило к этой истории предположение о последней воле купца, вот и закрепилось оно в хронике посмертных событий. Но стоит подчеркнуть: истинная причина столь непростых действий — эксгумации и транспортировки умершего в начале XX века за три тысячи километров — неизвестна.

Старобердский лапидарий

Теперь могила купца Горохова находится на территории Преображенского кафедрального собора. И все больше людей узнают об этом человеке, внесшем вклад в развитие Бердска, а также сыгравшем определенную роль и в истории Новониколаевска.

На могиле Горохова — осколок надгробной плиты. «Владимир Го» — только и осталось от выбитого на камне имени. При каких обстоятельствах плита раскололась — можно только догадываться. По словам старожилов, на чьих глазах старый Бердск сравнивали с землей, кладка Сретенской церкви была такой прочной, что ее никак не могли разломать, — пришлось взрывать...

Рядом с захоронением Горохова — еще несколько надгробных плит, своеобразный лапидарий — экспозиция образцов старинной письменности, выполненных на каменных плитах. Иоанн Беляев, священник Гавриил, отроковица Алевтина Вишнякова. Есть еще два безымянных фрагмента.



В 2020 году из старого Бердска перевезли еще один надгробный камень, установленный в 1903 году на могиле статского советника Ларионова. За полтора года удалось найти немало информации об этом человеке.

Статский советник

Николай Михайлович Ларионов родился 11 ноября 1861 года. Место рождения неизвестно.

В 1881 году окончил Петербургский учительский институт и начал преподавать в Череповце Новгородской губернии в учительской семинарии в должности учителя физики и математики.

Чин статского советника он получил в 1889 году, в возрасте 28 лет. Также был награжден медалью в память царствования государя императора Александра III и двумя орденами — Святого Станислава III степени и Святой Анны III степени. К слову сказать, орденом Святого Станислава III степени некогда был награжден писатель А. П. Чехов за общественную и благотворительную деятельность.

В 1899 году Ларионова пригласили занять должность инспектора народных училищ Томской губернии. Тогда в губернии было два района: северный и южный. Ему предложили инспектировать училища южного района, в который входили Барнаульский, Змеиногорский, Бийский и Кузнецкий округа, — всего около восьмидесяти училищ. Сохранился, например, документ 1901 года, в котором он докладывает об открытии в заселке Рубцовском Змеиногорской волости школы на тридцать пять учеников.

Его работа была связана с открытием учебных заведений, обеспечением их материальной базы и организацией процесса в целом. Николай Михайлович знал передовые на тот момент методы обучения, которые активно внедрял в образование.

Так, в Барнауле, где поселился Ларионов по приезду в Сибирь, его стараниями был открыт музей наглядных пособий, в котором собиралось все, что на тот момент было ново и важно для обучения. Здесь же он организовал и библиотеку. Ее открытие было осложнено отсутствием денег, но статскому советнику было известно, как действовать в подобных ситуациях: он написал письма издателям Российской империи с просьбой пожертвовать книги для барнаульской библиотеки и для музея. Итогом этой переписки стало собрание из более чем двухсот книг.



**Надгробие статского советника
Н. М. Ларионова**

Помимо книг в недавно открывшийся музей прислали популярный в то время «волшебный фонарь» — прообраз современной электронной доски и проектора. В прибор вставлялся источник света, объектив с двумя линзами, слайд — и на белой стене появлялось изображение. Такие приборы с конца XIX века начинали применяться в обучении многим дисциплинам.

Так Ларионов занимался продвижением передовых технологий. И благодаря его работе эти технологии тиражировались и внедрялись по всей Сибири.

Годовое жалование статского советника Ларионова составляло 900 рублей, плюс 500 рублей он получал на проезд, поскольку жизнь его была связана с командировками. На оплату квартиры и канцелярские принадлежности — еще 600 рублей в год.

В 1903 году Николай Михайлович написал прошение на предоставление отпуска с 1 мая по 1 сентября с сохранением жалования. Известно, что отпуск ему предоставили. А в июле 1903 года Ларионов прекратил работу, потому что с 1 числа на его место уже назначили другого человека.

И вот здесь исследование перестает апеллировать к документам и начинаются предположения. Вероятнее всего, такой длительный отпуск потребовался по состоянию здоровья. Но почему Ларионов оказался именно в Бердске?

Известно, что 27 сентября в селе при мельнице купца Горохова была открыта первая в округе ремесленная школа. Скорее всего, Ларионов был причастен к этому событию и наверняка должен был присутствовать в торжественный день в селе Бердском. Зная о болезни, но желая, видимо, продолжать заниматься любимым делом — просвещением народа, возможно, Ларионов прибыл в Бердское, чтобы приглядывать за подготовкой к открытию школы и одновременно поправлять здоровье. Известно, что в то время Бердское имело репутацию благоприятного для оздоровления места, где располагались заведения лечебного профиля. Например, кумысолечебница для туберкулезных больных.

Но до открытия школы Ларионов не дожил.

Запись в метрической книге Сретенской церкви села Бердского, которая хранится в Государственном архиве Новосибирской области, подтверждает некоторые догадки. Инспектор народных училищ 2-го района Томской губернии, статский советник Николай Михайлович Ларионов, 41 год — умер от чахотки. Погребен 3 июня 1903 года в церковной ограде. Погребение совершали протоиереи Гавриил Вишняков с псаломщиком Иоанном Россовым.

В записи из метрической книги указывается лишь причина смерти, однако по-прежнему непонятно, почему похоронили Ларионова в Бердске, а не в Барнауле, где, по всей видимости, проживали родные покойного.

Как стало известно, у статского советника были жена и сын. Вот, правда, жизнь мальчика была непродолжительной, о чем свидетельствует документ, в котором говорится, что в 1905 году Юлия Евгеньевна Ларионова пожертвовала 1 000 рублей (больше, чем годовое жалование покойного мужа) на стипендию для ученика Барнаульского реального училища в память об умершем сыне...

Неизвестно, были ли еще дети у статского советника или с уходом из жизни сына род Ларионова завершился — пока об этом история умалчивает. Но исследования не прекращаются, а значит, есть надежда узнать новые факты о жизни человека, внесшего вклад в развитие Сибири на рубеже XIX—XX столетий.

Как видно, даже из несуществующего старого Бердска продолжают поступать новости. Артефакты, фотографии и документы продолжают открываться искателям сокровищ. Так, например, найденная несколько лет назад в Новоси-



Электростанция в селе Бердском, построенная по проекту А. Д. Крячкова

бирском государственном университете архитектуры, дизайна и искусств фотография электростанции в селе Бердском рассказала о том, что там была постройка архитектора Крячкова! Ранее этот факт был неизвестен, а теперь он может стать отправной точкой нового исследования.

Будущим искателям исторических кладов еще предстоит сделать массу открытий. Главное — научить их по совести распоряжаться наследием старого Бердска. И тогда новости из города под водой продолжат летопись его прерванной когда-то истории.

Люди и организации, благодаря которым осуществлены исследования, описанные в этом материале: Государственный архив Иркутской области, Государственный архив Новосибирской области, Бердский историко-художественный музей, видеокomпания «Студия 21», Бердский архив; доктор исторических наук А. Бородовский, иеромонах Владимир (Бирюков), заместитель руководителя Сибирского центра колокольного искусства А. Талашкин, руководитель технического отдела Сибирского центра колокольного искусства В. Васильев.



Литературная премия «Иду на грозу»

Валерий КОПНИНОВ

ЧЕЛОВЕК — ЧЕЛОВЕКУ

Из всех наук, безусловно, медицина —
самая благородная.

Гиппократ

Вместо пролога

Давным-давно (почти тридцать лет назад) в обычном сибирском городе Барнауле жили-были студенты-первокурсники театрального отделения института культуры. А я в то время работал на этом курсе преподавателем режиссуры и актерского мастерства. Первый семестр прошел в трудах праведных, впереди воевсю маячили новогодние праздники. По сложившейся на кафедре театральной режиссуры доброй традиции я поставил со студентами новогоднюю сказку для детей, да и сам в стороне не остался — взял на себя почетную роль Деда Мороза. И уже в двадцатых числах декабря мы поехали по городу — в детские сады, в школы и на предприятия — веселить ребятшек и поздравлять их с наступающим Новым годом.

В один из дней гастрольная дорога привела нас в Алтайскую краевую детскую больницу (ныне — Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства). Перед этим очень удачно отыграв утренник на кондитерской фабрике «Алтай», мы ехали в больницу с чувством выполненного долга и в отличном настроении, то и дело «улучшая» его шоколадными конфетами, которыми щедро угостили нас сотрудники фабрики.

Повалил снег, придав городу чистоту и праздничность, возможную только зимой и только перед Новым годом. Наш оранжевый пазик пробивался сквозь снежную пелену, и там, за пеленой, встававшей за стеклами, казалось, маячило то самое новое счастье или по меньшей мере каждодневная радость.

Во дворе больницы студенты схватились играть в снежки, а потом быстренько скатали кривобокого снеговика, и, когда мы с ворохом костюмов шли по коридорам больницы, снеговик, видимый в окна, приветствовал нас рукой-веткой с надетой на нее чьей-то варежкой, подобранной тут же во дворе.

А потом... А потом, когда мы готовились к представлению — переодевались и гримировались, — к нам подошел доктор, поблагодарил за то, что не оставили больных деток без внимания, помолчал и с явно сдерживаемым волнением добавил:

— Ребята, очень вас прошу, постарайтесь!.. Сыграйте так, чтобы детки улыбались почаще... Чтобы запомнили.

— Мы всегда стараемся, — успокоил я доктора. — Можете не сомневаться.

— Дело в том, что это детки особенные, — вздохнул доктор. — Мы — отделение гематологии. И для некоторых из детей этот Новый год — последний...

Конечно, мы старались, как никогда до этого. Детки смеялись. А внутри у меня, в горле, все время стоял какой-то ком, который мне приходилось сглатывать, чтобы веселым дедморозовским голосом басить: «Я приехал к вам на праздник в ледяной коляске и Снегурочку привез из волшебной сказки!..» Видел, что со студентами происходит нечто похожее. Когда закончилось представление, мы прошлись по палатам и поздравили тех, кто не ходил и не смог выйти в фойе к елке. В каждую палату заглянули...

Потом я отправил студентов по домам, а сам никак не мог уйти из больницы. Найдя укромный уголок в коридоре, я вцепился в подоконник и, твердя как заклинание бессмысленную фразу: «Мужчины не плачут», не отрываясь смотрел на снег, по-прежнему красивыми крупными хлопьями летящий откуда-то с неба. Но теперь за снежной пеленой мне чудилась пустота.

— Вам плохо? — услышал я за спиной мужской голос.

Я повернулся и увидел совсем молоденького доктора — приблизительно моего ровесника — в белом халате, белой шапочке, с классическим стетоскопом на груди.

— Вам плохо? — повторил доктор.

— Да, доктор, мне плохо! — признался я. — Мы сейчас в отделении гематологии играли спектакль для детей... И-и-и... Не знаю... Что-то теперь болит внутри.

— У вас это пройдет, — заверил меня доктор. — Ваша боль — от слова «больница». Идите домой.

И я ушел. После жалел, что не спросил ни о чем. О том, что можно сделать и что делается, чтобы дети не болели и тем более не умирали. И через десять лет, и через пятнадцать я мысленно обращался к тому молоденькому доктору, почему-то мне казалось, что именно он знает ответы на все вопросы.

«Надо же, — думал я, — не доктор, а... без малого — философ! Мы ведь привыкаем к словам и не так их чувствуем, не так понимаем... Это ведь другой смысл: боль — от слова “больница”».

И вот почти через тридцать лет после той встречи судьба неожиданно (хотя можно ли сказать про судьбу — «неожиданно»?) вновь свела меня с этим доктором — с Кашириным Сергеем Дмитриевичем, детским хирургом, кандидатом медицинских наук.

Мы встретились, и я свои вопросы задал. Конечно, Сергей Дмитриевич — человек занятой: кроме хирургической практики в Алтайском краевом клиническом центре охраны материнства и детства, он преподает, ведет научные исследования, состоит в комиссии по лицензированию хирургов, в диссертационном совете и так далее. Но для подобных случаев, чтобы общение сделать возможным, человечество придумало почту, а в XXI веке сделало почту электронной. Мы переписывались — Сергей Дмитриевич и в эпистолярном жанре чувствует себя уверенно. И отдельное спасибо ему за то, что для толковых и обстоятельных ответов на вопросы он находил время — письма от него прилетали в мой почтовый ящик чаще всего за полночь.

Письмо первое

Валерий, вы спрашиваете — насколько успешно развивается научная база медицины (как на Алтае, так и в России в целом) и как это развитие отражается на каждом конкретном враче?

Наука... Да-с («да-с» — это мне невольно вспомнился чеховский доктор Астров, вы сейчас поймете почему). Помню, после окончания Горно-Алтайского медучилища я поехал работать в район фельдшером. Однажды даже роды принял. Я был совсем зеленый еще, ну вот считайте: в пятнадцать поступил, в девятнадцать окончил — как раз в медучилище учеба три года и шесть месяцев. И работа фельдшером стала для меня такой школой, такой наукой! Работа фельдшером в деревне (и чем дальше деревня отстоит от центра, тем показательней) — это дорогого стоит. Сельские врачи — они точно, по-настоящему врачи.

А что касается науки — наука приходит потом, когда ты поработаешь-поработаешь, да все больше ручками, ручками. Два года, три, пять, десять... Студент-медик учится шесть лет и затем год ординатуры, после чего получает сертификат по той или иной специальности: хирургии, педиатрии или кардиологии... И оттуда (с этой точки) все только начинается.

Впрочем, если у студента на момент окончания вуза есть идеи и рядом с ним окажется научный руководитель, который может помочь в работе, поделиться своим опытом, — можно пробовать свои силы и попытаться идеи воплотить. Так набирается опыт не только профессиональный, но и научный.

Это что касается хирургии. Я не могу говорить за другие специальности, а хирургия — вещь абсолютно прикладная. Просто изображать наукообразие в хирургии невозможно.

Ты какое-то направление берешь, в нем работаешь, что-то делаешь для того, чтобы улучшить результаты лечения, может быть, какие-то новые методики удастся придумать, создать изобретение (это уже высший пилотаж), внедрить его, чтобы оно было принято не только на местном уровне, — вот это для хирурга и есть занятие наукой.

Кто-то по неведению скажет: раз хирургия — практика, зачем тогда хирургу углубляться в науку? Давайте разберемся.

Хирург должен в совершенстве знать анатомию человека. Строение человеческого тела изучено, составлены анатомические атласы — не менее подробные, чем атлас Земли. И по большому счету человек не меняется. Но... Тут начинается самое интересное: хирурги с опытом (когда делятся этим опытом с молодыми коллегами) замечают, что каждая операция, даже вполне себе стандартная, имеет свои особенности. Взять, к примеру, банальную грыжу. Так вот, когда идешь на такую грыжу, про которую тома написаны всего-всего, ты чем дальше, тем яснее понимаешь, что все грыжи — разные. И эту разность ты начинаешь «просекать» только тогда, когда несколько лет проработаешь. Более того — в один прекрасный момент ты вдруг уясняешь, что вообще не знал, как грыжу оперировать. И только со временем приходит осознание, как надо это делать наилучшим образом, потому что у организма каждого человека много нюансов.

Анатомия практически одинакова, но есть какие-то особенности в анатомии, какие-то аномалии в анатомии, есть индивидуальные особенности в расположении внутренних органов (инверсии) — у кого-то печень почему-то оказывается слева, а не справа. Бывает, у кого-то кишечник развернут и тому подобное.

Анатомия — глобальная вещь, которую хирурги должны знать наизусть, и знание это поддерживается постоянным контактом. Это как иностранный язык — если ты им не пользуешься, то скоро забываешь. Так же и здесь.

Хирургу изучать анатомию по анатомическому атласу — все равно что путешествовать по странам и континентам у экрана телевизора. Помните, в советское время была такая телепередача Юрия Сенкевича (неплохого, между прочим, врача и ученого) — «Клуб кинопутешественников»? Про нее еще шутка в народе ходила: «Мы видим мир глазами Сенкевича». Эффект тот же! Нужно мир познавать своими глазами. И анатомию — своими глазами и своими руками. Поэтому мы, будучи студентами, учили анатомию не только по анатомическим атласам, но и в морфологическом корпусе. Это была настоящая учеба, потому что там мы видели реальную анатомию. Сейчас этого опыта у начинающих хирургов, к сожалению, нет.

Письмо второе

Да, Валерий, вы совершенно правильно меня поняли, хирургия — это опыт, опыт и еще сто раз опыт. Который копится, суммируется...

И все это накопленное и суммированное ставит медицинской науке (равно как и науке в целом — медицина не чуждается открытий физиков, химиков, математиков и т. д. и т. п.) определенные задачи, а в процессе выполнения задач происходит взаимопроникновение наук. Тем медицина оснащается технически. Если обернуться лет на десять-пятнадцать назад — с той поры появилось очень много нового. Взять, к примеру, шовный материал. Раньше шили кетгутом — это нитки, сделанные из кишок животных. А сейчас есть прекрасные хирургические нитки, с ними даже швы снимать не требуется — они рассасываются. И никому из хирургов даже в голову не придет, скажем, взять и зашить мочеточник кетгутом. Защить можно, но результат будет совсем не тот.

И в этом — тоже наука.

Научный процесс идет с двух сторон, встречаясь в одной точке. Идею генерирует мозг хирурга, руководствуясь требованием создания определенных условий для операции. И есть определенный современный этап технического развития, изобретения физиков, химиков, расчеты программистов, способные создать эти условия.

Та же микроскопическая видеокамера, которая многое изменила в хирургии. И, соответственно, позитивно повлияла на результаты лечения. Причем видеокамера сама по себе разработана без участия хирургов, но методика размещения камеры в организме, умение внедрить ее в оперируемый орган — это заслуга хирургов.

Давайте обратимся к родной для меня теме, по которой я защищал диссертацию, — к портальной гипертензии.

Работа над диссертацией начиналась издали — это тема давнишняя, существовала она многие годы и даже десятилетия. Портальная гипертензия — есть такое заболевание — сосудистый порок системы воротной вены. Взрослые тоже болеют портальной гипертензией, но у них это заболевание приобретенное, связанное с циррозом печени. А у детей это чаще всего врожденный порок или обструкция сосудов воротной системы в результате воспаления. Это если говорить коротко, не вдаваясь в патологию, не вдаваясь в детали, в анатомию...

А научная идея возникает следующим образом: если в медицине существует какая-то проблема, практикующие врачи, ученые, каждый с той или иной стороны, пытаются к ней подойти и каким-то образом решить. Если не удастся решить, то хотя бы привнести что-то новое, чтобы облегчить ситуацию пациентам. А в идеале — добиться полного излечения или реабилитации, длительной ремиссии и так далее.

И портальная гипертензия на тот момент не просто существовала как теоретическая проблема — у нас в Алтайском крае (мы, взяв эту тему, провели тщательные и масштабные исследования) оказалось очень много детей с этим заболеванием.

Основная проблема этой патологии — опасность желудочных и пищеводных кровотечений у детей. Потому что основная летальность у этих деток была в результате кровотечений, причем неожиданных, возникших как бы случайно, на фоне видимости полного здоровья. Это заболевание протекает латентно, преимущественно не проявляя себя ничем, пока не возникнет кровотечение.

Существовали разные методы лечения портальной гипертензии, но только те, что в медицине называются паллиативные, то есть временно улучшающие состояние больного. А полноценно вылечить раз и навсегда это заболевание было невозможно.

Ученые разных стран пытались эту проблему решать, и мы тоже подключились к этой теме, учитывая, что пациентов у нас на Алтае много, их никуда не отправишь, не переправишь, потому что они зачастую экстренные.

И задача наша стояла так: во-первых, выявить детей, больных портальной гипертензией, на ранних этапах — до того как у них возникнут серьезные осложнения. Проще делать профилактику, чем бороться с осложнениями. И уже во-вторых — к выявленным деткам подходить с дифференцированным лечением. В целом наши исследования были направлены на то, чтобы выявить пациентов, понять, у кого как протекает заболевание и какой метод лечения будет более эффективен, и добиться впоследствии не временного улучшения состояния пациента, а радикального излечения.

Предстояло найти способ хирургического лечения. В любой подобной работе возникают свои сложности. Имеет значение и то, что времена тогда были совсем другие. Я сейчас говорю не о конституционном кризисе и противостоянии президента Ельцина и Внеочередного Съезда народных депутатов — а мы начинали работу над темой как раз в 1993 году. В том году, когда на улицах Москвы строились баррикады и лилась кровь. Когда в очередной раз рушилась государственная система. Это не могло нас не тревожить (лихорадило страну, лихорадило и медицину), но мы — врачи, и наш первоочередной долг — лечить людей.

Так вот — это были совсем другие времена, другие условия, другие способы диагностики (тогда методы УЗИ еще только-только внедрялись). У нас в России по лечению портальной гипертензии уже был накоплен некоторый опыт, и, основываясь на нем, мы проводили и описывали исследования, разрабатывали новую методику. Для начала все проверялось на животных — на кроликах. Используя жидкий азот, мы выполняли криодеструкцию печени, сальника — для того чтобы посмотреть, как работают сосуды в воротной системе. И уже потом делали выводы и внедряли новые методы в хирургическую практику.

Сейчас диагностика и методы лечения стали более современными, лечение — более радикальным и патогенетически более обоснованным, но благо-

даря именно нашей научной работе, проделанной тогда, в девяностых, мы лечим портальную гипертензию более успешно. И этот факт — не медаль нам на шею, а вклад в общую копилку.

Р. С. Конечно, любое движение в науке основывается на предыдущем опыте: и опыте коллег-предшественников, и опыте непосредственных научных руководителей. В медицинской среде принято делиться опытом, делиться щедро и безвозмездно. Иначе медицина не развивалась бы и оставалась на зачаточном уровне.

Р. Р. С. Раньше мы и представить себе не могли, чтобы исследование практического характера шло без опытов на животных. Наша работа не есть нечто теоретическое, и позволить себе разработать теоретическую часть методики, а потом прооперировать пациента и посмотреть, что будет, — об этом не может быть и речи. Но это не значит, что животным приходилось «отдуваться» за человека по полной программе. Мы, разрабатывая тему, делали исследования: оперировали кроликов и выхаживали их после операции, затем брали у них гистологический материал (печень, сальник), и кролики после этого продолжали жить — мы их не выводили из эксперимента. Мы всегда к нашим лабораторным животным относились бережно.

Письмо третье

Забавно, Валерий, вы ставите вопрос о том, что возникает первым — научная идея, выявленная на основе анализа, или практическая проблема, на тот момент медициной не разрешенная. Еще философы Древней Греции безуспешно пытались найти ответ на вопрос: «Что было раньше — курица или яйцо?»

В работе ты часто упираешься в проблему — это как глухая стена, ты в нее упираешься-упираешься, и постепенно, в процессе, набирается материал, приобретается новый опыт, иногда — опыт негативный. Потому что избежать пациентов критических, с летальными исходами, невозможно при всем желании. И ты понимаешь — надо что-то делать! Срочно, не откладывая! Не просто рутинно оперировать, а что-то предложить такое, что, может быть, не сейчас, но потом, чуть позже, когда идея вызреет, облегчит и твою работу как хирурга, и, естественно, улучшит результат лечения. То есть у хирурга сначала идет практика. А не так: вымысел художественный или научный в голове родился — дай-ка я его буду воплощать.

В хирургии (она ведь прикладная вещь, и очень даже прикладная, говорил и еще сто раз скажу!) разнообразные теоретические умозаключения — они хирургическим сообществом мало принимаются. Ты можешь кучу всего напридумывать, насочинять теоретически, что-то даже научно обосновать, но пока ты не покажешь это в ходе операции, пока ты не покажешь результат оперативного лечения, твои научные изыскания будут выглядеть бледненько. Должен состояться практический выход. В совокупности должны быть актуальность, новизна и практический выход из того, что ты там «насочинял». Поэтому просто писать «беллетристику» в хирургической диссертации бес-по-лез-но (говорю по слогам, для полной ясности), сообщество этого просто не примет, в любом случае скептически к этому отнесется. В хирургии ты не можешь заняться каким-то научным течением, которое будет далеко, что называется, от операционного стола.

Опять повторюсь — диссертация должна иметь практический выход. Когда ты пишешь заключение в диссертации, ты должен указать, где это было при-

менено — конкретная дата, в той-то клинике, в той-то больнице, в регионе, стране... Это очень важно. Иначе ты исписал бумагу и просто положил в стол. Вот и все. В научной работе хирургического направления основополагающее — ее практическое применение. Здесь и сейчас. В том числе и в географическом смысле.

Медицина должна быть максимально приближена к человеку. Не каждый может поехать в Москву. И мы, поверьте, здесь, на Алтае (так же как и наши коллеги в Новосибирске, Красноярске или Хабаровске — да, собственно, во всех регионах России), и практику лечения совершенствуем, и наукой занимаемся, не испытывая никаких провинциальных комплексов. Есть один основополагающий принцип: там, где ты живешь, там и должен быть достаточно высокий уровень медицины, где ты живешь — там тебя вылечат, а если надо — спасут.

Письмо четвертое

Вы спрашиваете: а может ли наука резко, прорывно опередить медицинскую практику и сделать хирурга зависимым, вторичным? Спешу вас успокоить — нет, никогда. В медицине и тысячу лет назад, и сейчас (и в будущем вряд ли что изменится) все замыкается на контуре «человек — человеку». А человек — «это звучит гордо»! Путь в лечебной практике и само существование новой методики или нового операционного инструментария только начинается, когда методика или инструментарий попадает в руки хирурга.

И здесь исключительно важна личная смелость, образованность и профессионализм хирурга, который пойдет на осознанный риск, потому что любое внедряемое в практику новое — это зачастую на грани фола, это всегда страх осложнений.

Вообще, самое страшное для хирурга — страх потерять больного на столе от кровотечения, это самое кошмарное, что может хирургу присниться, потому что хирург, кровотечение не остановивший, — это... И слов-то нужных не подберу, и не с осуждением спеша, а, скорее, с горьким сочувствием.

Проблем хватает, и они, как бомбы с часовым механизмом, сулят не только системные разрушения в будущем, но и определенные жизненные угрозы. В медицине сложнее становится работать. Даже на войне (не дай бог, конечно, никакой войны) хирургу, что сталкивается со сложной и объемной хирургической работой, легче приобрести необходимый профессиональный опыт, чем в мирное время.

Начинающему хирургу опыт приобрести чрезвычайно трудно, а сейчас — особенно трудно. Я это знаю. Я много лет проработал доцентом на кафедре педиатрии, много лет занимался со студентами (и помню те времена, когда сам был студентом), потому и говорю ответственно. Когда мы в девяностые годы учились, мы приходили в палату — вот они, мамы, вот они, дети, — мы осматривали детей, животы им пальпировали. И никогда никаких возражений от родителей не слышали, мол, не хочу, чтобы ребенка смотрел какой-то там студент.

А как ему учиться, студенту?

Сейчас обучение в большей степени дистанционное, опосредованное — построили симуляционный центр, и все изучается на муляжах. А ведь это обязательно — прийти и посмотреть ребенка в палате. Нормальная мама к этому и отнесется нормально. Взаимоотношения врача с ребенком строятся по-особому: с ребенком нужно найти психологический контакт, пообщаться с ним и уже

только тогда подходить к обследованию. Этому тоже следует учить детского врача. Нужно искать возможности и способы обязательного контакта студентов с маленькими пациентами. Не обязательно же толпой заходить — зайти одному, с лечащим врачом, руководителем практики, посмотреть, хотя бы живот ребенку пропальпировать. Именно так навыки нарабатываются. При этом есть возможность посоветоваться, свой диагноз сверить с заключением опытного педиатра.

Но — увы! И то, что сейчас учебный процесс в некотором смысле формальный, нас, врачей, работающих достаточно давно, сильно беспокоит... (Чувствуется, как Сергей Дмитриевич, словно в живом разговоре, подбирает слова, чтобы быть максимально корректным. — В. К.) А при несовершенном обучении студенты теряются. Новое поколение — оно более пассивное, инфантильное. Да, есть ребята ушлые, дотошные, они сами придут, и спросят, и инициативу проявят. А я такого студента и за руку возьму, и приведу, и разрешу ему что-то там втихаря сделать, не во вред, конечно, больному, и что-то нужное и важное для него расскажу и покажу. Основная же масса такие: они пришли, и мы должны их учить. Ну, они чему-то там учатся (чему-нибудь и как-нибудь — почти по Пушкину), читают... Но этого мало — ответственность у хирурга крайне серьезная. А на чем ее строить, ответственность-то, если в практике — многое по верхам?

Обучение — процесс, безусловно, двусторонний. Есть такое выражение: «Хирургии нельзя научить, ей можно только научиться». Наставничество в хирургии, как и в любой другой прикладной специальности, чрезвычайно важно. Важно все, без мелочей, и позитивное, и даже негативное. Есть такие наставники, за которыми ты ходишь, смотришь, учишься, как надо делать. А есть такие, у которых учишься, как не надо делать. Именно учишься: смотришь на операцию такого хирурга и понимаешь — вот я так не буду делать ни за какие блага мира.

Раньше для студента, оканчивающего мединститут, сначала была субординатура (на шестом курсе мы как бы входили в хирургию), а потом ординатура. И это вхождение в профессию происходило на основе конкурсного отбора — и никак иначе. Пройти отбор (допуск в хирургию) для нас было счастьем.

Я вижу нынешнюю ситуацию так: некоторые ребята идут в хирургию формально, считая, что хирургия — это просто такая работа, с комплексом определенных мер, с наглядным, быстро достижимым результатом. А есть и другие, с реальным желанием помогать людям. Лечить для них — призвание. Но таких, конечно, единицы. Их много не бывает и никогда не было, наверное. Есть и третьи — с меркантильным интересом, хотя в медицине, особенно начинающему врачу, надеяться на какое-то воздаяние бессмысленно. И в целом в нашей профессии нужно руководствоваться следующим: делай добро без надежды на воздаяние.

Но справедливости ради скажу, я слышал, как в интервью Леонид Михайлович Рошаль — наш известнейший педиатр, детский хирург — говорил так: «Если пациент хочет отблагодарить доктора, не взятка имеется в виду, не деньги, нельзя ему в этом препятствовать». И он вспоминал, как сам лежал на операции в кардиологии и перед выпиской мучился, как бы отблагодарить своего лечащего врача, что бы такое сделать ему приятное. Благодарность пациента врачу — вещь ненаказуемая. А вымогательство и прочие подобные дела — недопустимы.

Р. С. Раньше (в те не столь уж далекие по историческим меркам времена, которые не принято нынче вспоминать добрым словом), когда я только начал работать хирургом, профессиональное сообщество было иное. Когда заканчивался рабочий день, мы не бежали врасыпную, кто куда. Мы собирались вместе, общались, в шахматы играли. В те времена машин ни у кого не было, все ходили пешком на работу, потому после работы и выпить могли по рюмочке. И я теперь понимаю, что вот это как раз и был важный момент некоего неформального постижения науки и профессии. Собирались настоящие мэтры медицины, практикующие врачи — такие доки в профессии. И без лишнего наукообразия они умели рассказать, объяснить, заинтересовать. Они знали такие вещи, которые молодые могли только подглядеть, подсмотреть. Только так можно научиться хирургии, проникнуться ей, чтобы она стала не просто работой с определенными часами работы — «от» и «до», а частью жизни.

Письмо пятое

Валерий, пожалуй, вы поняли главное: наука — это в какой-то степени постоянный внутренний процесс у хирурга. Это и потребность внутреннего роста, и необходимость адаптации к новым методам лечения.

Наука дисциплинирует хирурга. Потому что для начала ты должен все теоретически постичь. Ты берешь какой-то фрагмент науки (в области медицины это заболевание) — и ты, чтобы что-то сделать, развить имеющиеся знания и умения, ты в этой отрасли должен узнать все! Ты должен прочитать все. И свои, и зарубежные источники, то есть ты себя затачиваешь под то, чтобы в этом направлении у тебя не было пробелов. Это сильно дисциплинирует.

И когда, начитавшись этого всего, ты понимаешь — я вот этого не знал, я вот так не умею, начинаешь соображать — а дай-ка я вот так попробую и закреплю, а в том направлении буду работать иначе, учитывая вот этот опыт...

Следующим этапом происходит анализ изученного материала и его классификация. И это классификация, которая возникает по поводу даже самой банальной вещи: вот этот сосуд розовый, а этот красненький. Почему этот розовый, а этот красненький? Почему он разрастается? Почему сосуды тут прорастают, а тут не прорастают?

То, что знаешь досконально, переходит в область подсознания. И когда ты оперируешь, ты не думаешь о каких-то научных деталях, о прочитанных книгах на тему данной операции — ты делаешь свою работу. А когда вдруг по ходу операции у тебя возникают вопросы, сложности, проблемы — в нужный момент память, как служанка, вовремя выкатывает нужное знание.

Другой пример: когда у тебя сложный больной — ты его сразу не оперируешь. Необходимо посмотреть, подождать, в какую сторону пойдет клиника — такой момент выжидательной тактики. Звучит красиво, но... Наступает вечер, за ним бессонная ночь, и последующие бессонные ночи, которые буквально измывают. Ты ломаешь голову, думаешь — а как правильнее, а как неправильнее? Ты хватаешься за книжки, что-то читаешь — если сложный больной, ты всегда читаешь. Сколько бы медицинских книг, монографий до этого ни проглотил, все равно каждый раз перед сложной операцией сидишь, что-то читаешь, перелистываешь, вспоминаешь, картинки операций восстанавливаешь... И вот эти не то чтобы видения, а словно записанные на киноплёнку воспоминания о предыдущих клинических случаях из своего опыта или почерпнутые из книг — они постепенно выстраиваются в точную формулу. И ты приходишь утром к больно-



му, осматриваешь, оцениваешь клиническую картину — температура снизилась, новые болевые ощущения... И ты понимаешь — сегодня надо его оперировать. Озарение — нет, «озарение» громко и красиво звучит. Просто осознание того, что именно сегодня и именно вот так нужно строить операционный процесс.

Но перед осознанием (озарением) — работа, работа, работа... В этом тоже связь науки с практикой — и прямая, и опосредованная. И наука в этом контексте имеет то же значение, что и в работе «Наука побеждать» великого русского полководца Александра Васильевича Суворова.

Да, чуть не забыл (видимо, проникся суворовскими победными настроениями и в голове зазвучали бравурные марши): наука в хирургии должна быть соразмерна с практикой.

Есть, к сожалению, обратная тенденция совершенно ненаучного свойства. Яркий тому пример — эндоскопия. Время от времени возникает некоторая научная новизна, усиленно «проталкиваемая». В хирургии так быть не должно. Иногда (и очень даже часто) следует чуть-чуть придержать коней, изучить, посмотреть, как это будет. Когда началась эндоскопия — это был просто бум для всех! Ах, проколы, проколы... Раз техническая возможность появилась — давайте-ка мы будем все так делать. Столько дров наломали. Считалось, если клиника владеет эндоскопическим методом операций — это лучшая клиника! И только потом, когда проанализировали все, когда стали смотреть результаты, циферки посчитали: осложнения, летальность и так далее, — оказалось, что не все здорово. Во всем нужно соблюдать здравый смысл.

И в детской хирургии то же самое. Революция! Давайте каждую грыжу оперировать эндоскопически! Но ведь это три прокола надо сделать, завести эндоскоп, воздух накачать в брюшную полость. Ребеночка надо заинтубировать — сделать эндотрахеальный наркоз, а не просто внутривенный... И родители ведь многие на это ведутся, начитаются в интернете «умных» определений — «операция без операции». Ничего подобного — это три прокола, причем ребенок потом попадает в реанимацию, ему отдышаться нужно после операции.

А всю операцию можно сделать обычным путем, через небольшой разрез.

Письмо шестое

Предполагаю, Валерий, что вы немного устали от обилия медицинской терминологии, оттого и возник вопрос о Пушкине.

Вопрос этот задавался неоднократно, и ответ на него однозначный. Хотя вопрос, в силу авторитетности «пациента», не праздный.

Рана Пушкина на дуэли — для того времени смертельная. Нынешние врачи назвали бы последствия ранения Александра Сергеевича банальным перитонитом. По меркам современной медицины: вовремя сделанная операция, антибиототики — и солнце русской поэзии не погасло бы так рано.

Но «дела давно минувших дней, преданья старины глубокой», равно как и эволюция медицины, не имеют сослагательного наклонения.

Письмо седьмое

Решил еще раз написать о том, что в медицине старое — не враг нового. Это важно.

Есть в арсенале хирурга инструменты, которым сто и более лет, а их практическая значимость меньше не стала. Например, кровоостанавливающий за-

жим Кохера — швейцарского хирурга (он первым прооперировал щитовидную железу на рубеже XIX и XX веков), лауреата Нобелевской премии (хирурги, кстати, не так часто отмечаются Нобелевкой).

Я уже неоднократно писал, что хирургия — это самая консервативная профессия. Можно менять технологию изготовления, можно подбирать более современные сплавы металлов, но сам зажим Кохера как был востребован сто лет назад, так востребован и теперь.

Что касается постановки диагноза — да, многое изменилось кардинально. Тысячу лет назад Авиценна пробовал мочу на вкус и таким образом диагностировал сахарный диабет. Наука, особенно ее ближайшие сто, ну пусть даже двести лет развития, принципиально изменила методы диагностики. У нас сейчас много новых методов — МРТ, КТ, и в том числе уже упомянутые нами эндоскопические методы исследования.

Это все здорово!

Раньше банальный гидронефроз, опухоль в животе, определяли почти исключительно методом пальпации (метод правильный, крайне необходимый, но не всегда дающий полную картину заболевания) и по рентгеновским снимкам. Нет смысла отказываться от современной медицинской техники, нужно просто уметь использовать эту технику (не переоценивая ее значения), с максимальной пользой обращать технические возможности себе в помощь.

Поясню свою мысль.

Есть такое понятие — полипрагмазия. Это когда в лечении назначают много лишнего. Одну таблетку, пятаю, десятую... А есть еще полипрагмазия иного характера — когда одному и тому же пациенту назначают кучу всяких обследований: вот это мы сделаем, вот это на всякий случай сделаем, вот это давайте сделаем, а то вдруг чего, и так далее.

И вот когда пациент наобследует, соберет кипу разных бумаг с результатами — кто-то должен все эти разрозненные данные обследований проанализировать и понять. Никакая машина правильных выводов не сделает. Все равно все упирается во врача. Мы сделали КТ — а дальше что? В конечной инстанции необходим опытный, знающий врач, чтобы определить и понять заболевание, осознать, сделать выводы и правильно применить нужную методику вплоть до принятия решения — оперировать, не оперировать...

Письмо восьмое

Извиняюсь — вчера письмо дописать не успел, сегодня продолжаю.

Так вот: любое решение в хирургии — хоть мы консилиум соберем, хоть десять консилиумов соберем — все равно принимает один человек. Хирург, который будет оперировать.

Если ты не готов — ты просто не будешь больного оперировать. А если я понимаю, что это то самое («то самое» — я имею в виду болячку, требующую оперативного лечения), я готов это сделать, обоснованно рассчитывая получить хороший результат.

Принятие решения — это очень непросто и ответственно, особенно когда речь идет про экстренные операции, когда ты один и никаких консилиумов не предвидится. Я всегда переживаю за ребят, что работают в районных больницах. Сейчас у нас в Алтайском крае более тридцати районов вообще не имеют хирургов в больницах. А что делать, когда пациент есть, а хирурга нет? Выход

один — везти в другой район, и начинают пациента перевозить из района в район, а время теряется...

А детские хирурги вообще работают только в четырех районах края. Но все не так просто, даже если хирург есть, а случай экстренный, требующий немедленного хирургического вмешательства. Нужно точно определить цель операции, и времени на это не то чтобы мало, времени почти нет совсем. Счет идет на часы или даже минуты. И всякое бывает... А самый умный в таких случаях кто? Эксперт, который последним читает историю болезни. Вот она лежит перед ним, такая толстенная история болезни, там уже много кто этого больного смотрел-смотрел, оперировал-оперировал... Эксперт читает и выводы делает: «О-о, а вы, значит, не тот анализ сделали, о-о-о, да вы, судя по всему, не то УЗИ сделали, а это УЗИ не вовремя сделали...» И начинается...

А хирург, когда он был один на один с экстренным случаем, — он сделал то, что он знал, то, что он мог, и то, что он на тот момент считал нужным. И его нельзя осуждать за то, что пошло что-то там не так. То, что он сделал, — он сделал из благих побуждений.

Письмо девятое

Вот действительно существенный вопрос. Спасибо вам, Валерий, за него. Насколько важен личный контакт доктора с пациентом?

Сейчас бывает так: проводят консилиум (а больного из участников консилиума никто не смотрел), врач докладывает историю болезни, перечисляет все методы обследования, то-то и то-то. И на основе этого доклада принимают решение — по диагнозу, по тактике ведения и так далее, не посмотрев больного.

Ситуация выглядит так: как бы и обследования в комплексе есть, по ним все понятно, — зачем еще и больного смотреть?

Но от тактильных ощущений, от контакта, когда ты приходишь и смотришь больного, что-то происходит на уровне подсознания. Вот раньше были земские врачи. Это поразительные, выдающиеся диагносты. Они же просто смотрели больного, начиная с фразы: «Язык покажи». Обложен, не обложен? Как обложен? Справа, слева? Пульс у больного проверили (не зря же китайцы, например, по пульсу могут кучу диагнозов ставить) — и здесь то же самое.

Стало быть, есть дополнительные важные детали, которые читаются и открываются доктору с богатым опытом.

Пропедевтика болезни — это то, что ты знаешь, понимаешь, предполагаешь и изучаешь исходя из практики, из контакта с больным. Лечение болезни — это ведь не только монолог врача, по крайней мере этап диагностики, этап выбора тактики лечения — это диалог врача с больным.

Сейчас многие врачи не слушают больного — мол, зачем слушать легкие, если можно сделать снимок? А когда ты больного послушал, ты отметил: вот здесь дышит, а здесь не дышит, здесь с хрипами, а здесь без хрипов дышит, а здесь хрипы влажные, а здесь сухие... И вот на основании этого можно ставить диагноз.

Да, статический снимок нужен — он что-то показывает, но вот это «что-то» ты должен соотнести с тем, что ты сам смог увидеть и услышать.

Другой пример, с животом. УЗИ сделали — да, хорошо, нужно. Но когда ты пальпируешь, ты чувствуешь напряжение передней брюшной стенки или отсутствие напряжения. А УЗИ покажет тебе какие-то морфологические вещи,

анатомию покажет. И «ответа» от своего больного через один только снимок ты полностью не получишь.

Р. С. И вы еще спрашивали насчет врачебного искусства: хирургия — искусство или наука? Хирургия — это, наверное, сплав чего-то с чем-то! И ремесло. Не зря же про хирургию порой говорят, причем говорят начмеды или главврачи: «А-а, вы, хирурги, — цирюльники! Вам лишь бы разрезать, вы не думаете о деталях» — о патогенезе например. Не «лишь бы»! А разрезать правильно, в нужном месте и чтобы потом, когда разрезал, понимать, что дальше с этим делать.

Письмо десятое

Да, я очень хорошо помню эту фразу Жени Лукашина: «Иногда мне приходится делать моим пациентам больно, чтобы потом им было хорошо». И каждый раз, когда смотрю фильм «Ирония судьбы», за эту фразу цепляюсь.

В жизни не так все просто, как в кино.

Профессиональное выгорание в хирургии особенно выражено, особенно заметно. Проработав, скажем, двадцать или тридцать лет, уже всем нутром чувствуешь вещи, от которых устаешь, и думаешь: а может быть, всего этого и не надо, уж больно не хочется!.. И не только из-за мучительных переживаний оттого, что ежедневно видишь страдание, имеешь дело с болезнями. Не менее тяжело и то, что вокруг твоей работы — великое множество психоэмоциональных вещей, которых не должно было быть.

Опять же — возвращаясь к негативному отношению родителей, общества, СМИ... СМИ и интернет особенно в этом деле преуспели. Не понимая сути, журналисты иногда несут ну просто несуразное. Сейчас распространенное явление в Сети, когда известные люди — актеры, музыканты и так далее (многих из них я уважаю за то, что они талантливы и глубоки в своих профессиях) — рассуждают, например, о ковиде. Я не понимаю, зачем они это делают — из политических или каких-то иных соображений? Почему врачи не рассуждают и не указывают тем же музыкантам, как нужно ставить оперный спектакль? Врачи приходят в оперу и наслаждаются «Волшебной флейтой» Моцарта или не наслаждаются «Тангейзером» Вагнера, признавая право режиссера, дирижера и актеров на свое художественное решение.

Хотелось бы, чтобы уважение было взаимным.

Когда врачам доверяют — они способны на многое, даже на такое, что может со стороны выглядеть как маленькое чудо.

В 2013 году я вместе с коллегами разделил так называемых «сиамских близнецов» — в нашем случае «алтайских близнецов». И в том же году был признан лучшим детским хирургом России. Но дело, конечно, не в этом, вернее — не только в этом (признание — это тоже элемент доверия хирургу). Хирург берется за нестандартную операцию преимущественно в атмосфере доверия к его профессионализму. Разумеется, такое доверие нужно заслужить, точнее говоря — заработать у операционного стола.

Главное — обе девочки живут и жизнь их более правильная, чем до операции. Там было не самое сложное сращение: сращены печень, передняя брюшная стенка и некоторые элементы кишечника. Работало две бригады хирургов. Сросшихся близняшек благополучно разделили. Да, порок этим девочкам достался печальный, но, к счастью, не критичный для их жизни.



Когда ты видишь ребенка с грубым пороком и понимаешь, что можешь ему помочь, — это счастье, это необычайное внутреннее удовлетворение. Ты понимаешь, что можешь и что ребенку это поможет и это будет хорошо!

А есть другое — ты понимаешь, что в создавшейся ситуации ты ничего не исправишь (есть такая банальная фраза — «медицина бессильна») или можешь что-то исправить частично, но во всем остальном, глобально, этому ребенку помочь невозможно. Хотя и слово «невозможно» ни вслух, ни про себя не произносишь. Формулируешь так: шансы крайне малы, крайне... Ситуация печальная, и смириться с ней и как врачу, и просто как человеку — тяжело. И, может, как никто другой понимаешь родителей — они думают, надеются: ну можно же, ну медицина же у нас современная, что же вы ничего не делаете...

В жизни не все так просто, как в кино.

Очень важно (на мой взгляд), чтобы медицина в ближайшее время занялась диагностикой планируемых родов. Диагностика должна быть даже не перинатальной, по УЗИ, когда плоду уже двадцать восемь недель. Нужно опережать ситуацию. Когда родители только собираются завести ребенка — необходимо исследовать их хромосомный набор, выявить вероятность хромосомных заболеваний и предложить определенный курс лечения еще до зачатия. И вот такой уровень диагностики будет блокировать возможность рождения детей с врожденными пороками.

Письмо одиннадцатое

Валерий, согласен с вами, многих интересует такая тема: может ли наука с помощью хирургии усовершенствовать человека? И интересует давно. Помните роман замечательного нашего писателя-фантаста Александра Беляева «Человек-амфибия» с хирургом-виртуозом доктором Сальватором в центре сюжета? Уверен, что читали и помните.

Я думаю, единственное возможное усовершенствование — это замена определенных органов. К замене хрусталиков мы уже привыкли. Более новое — бионические протезы, слуховые аппараты, которые взаимодействуют с корковыми структурами мозга, и так далее. В определенном смысле человек может стать человеком-трансформером.

Вполне реально в будущем иметь возможность распечатать на специальном 3D-принтере печень для трансплантации, правда, мы еще не знаем досконально функцию печени, вернее, знаем, но на очень поверхностном уровне. Есть искусственное сердце, и оно вполне работает, но сердце — биомеханический орган, и с ним проще: оно просто перекачивает кровь как насос, а у печени более многообразные функции. Еще сложнее мозг — это отдельная вселенная. Но и над изучением мозга работают ученые (и работы им еще хватит на долгие-долгие годы). Но при этом анатомия человека не поменяется. Искусственная печень — такое возможно, но человеческий организм совсем без печени — нет.

И сути своей человек не поменяет. Проблемы — духовные, этические, интеллектуальные, психологические, эмоциональные — как были, так и останутся. И споры физиков с лириками время от времени будут повторяться с переменным успехом то одних, то других.

Философы говорят, что человечество развивается как социальная и даже цивилизационная структура. Много чего мы достигли в техническом плане, просто невероятных вещей, даже на нашем веку: компьютеры, сотовые телефоны...

Еще не так давно восторженно мечтали, и это выглядело научной фантастикой, что «будут такие телефоны, заходишь в будку — и видишь собеседника». Все это уже обыденность.

Хорошо? Пожалуй, да.

Но очень важно, чтобы наука не переходила за черту нравственности, игнорируя человеческую природу и само предназначение человека.

Искусственный интеллект, даже заключенный в человеческое тело, так и останется искусственным — при самом высочайшем развитии он не станет духовным, эмоциональным, восприимчивым. Не сможет да и не захочет размножаться.

Есть и другие крайности. Например: наука сейчас позволяет «нарожать» людей, ну, скажем, воинов для армии, таких как Безупречные в серии романов Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Воинов, выращенных вне семьи и подчиняющихся приказу хозяина. Рожденных без женщины, без матери. Без рода, без племени. Без родины, без флага. Матка — элементарный орган, создать искусственную матку — полость, в которую подсаживается яйцеклетка, — несложно. Технически человечество готово *это* делать. И в лабораториях *это* уже есть, и, возможно, *это* выйдет наружу. И такое развитие событий катастрофично для человечества не менее атомной войны.

Письмо двенадцатое

Не могу сказать, Валерий, что не ждал этого вопроса. По всей логике он из предыдущих ваших вопросов вытекал.

Есть ли у меня ощущение, что человеческий организм — это чудесное (божественное) творение? Вот — вопрос из вопросов!

Та информация о человеке, которой располагает современная медицинская наука, с учетом всех знаний, накопленных за многие века, — это просто крупинка от того, что представляет собой человеческий организм. Про иммунологию, про генетику мы знаем много, невероятно много, но в масштабах всего, что есть в человеке, — это крупинка. И мне кажется, человек так и останется непознанным.

Человек, по мнению Иммануила Канта, может познать явления объективного мира лишь до определенных пределов, проникнуть же в их сущность ему не дано. Человек сам для себя остается — и будет всегда оставаться — «вещью в себе».

Мы продолжим стремиться к познанию сути вещей, каждое поколение будет открывать что-то новое, но предела познания не достигнем. Потому что человек, что ни говори, скорее кажется божественным творением. Не может быть иначе.

Ну вот что такое биологическая оболочка? Мы жили, ели, пили, умерли, истлели — и все? Я думаю, что Вселенная не может позволить себе такого расточительства. Чтобы мы просто сгнили, и все?!

Есть что-то! Много тому подтверждений.

Взять, к примеру, закон сохранения энергии, а более того — закон сохранения материи, открытый Михаилом Васильевичем Ломоносовым еще в 1742 году и названный ученым «всеобщим естественным законом».

Ну не может быть так: раз — и все кончилось. Доказано, что человек состоит не только из материи — есть аура, к примеру. В принципе, аура существует материально, просто в современных условиях ее еще не научились видеть.

Мы многого не знаем. Как раньше про генетику ничего не знали и называли лженаукой. И мы не знаем сейчас ничего о человеческой биосфере, о той же ауре. Тех, кто видит ауру, мы называем ненормальными или — в лучшем случае — медиумами.

Чем больше я работаю в медицине, тем больше понимаю непознаваемость некоторых вещей. Иногда оперируешь ребенка — все начинается хорошо, и вдруг что-то идет не так, начинаются непредсказуемые осложнения, и выходишь из создавшегося положения с невероятным трудом. А иногда понимаешь, что у больного серьезная патология и шансов у него крайне мало. Но идешь и делаешь то, что должен. Делай то, что должен, а далее — будь что будет. И больной — выживает. И хочется назвать это чудом. Вот такой случается в хирургии диссонанс между тем, что могло бы быть, и тем, что произошло на самом деле.

Многие хирурги моего возраста уже не так сильно были атеистически заточены и в советское время. Я крещеный, решение креститься принял сам в 1991 году, будучи вполне зрелым человеком. А те хирурги, кто постарше, фактически все были атеистами. Но никто из них в душе не отвергал чего-то неуловимого и незримого (что может быть выше реальности), происходящего за операционным столом, такого, на что ты не можешь повлиять.

Ты делаешь свою работу, ты прикладываешь все — знания, умения и свою душу, но иногда молишься и во время операции, чтобы все прошло хорошо. Кто-то к Богу обращается, кто-то просто в космос свои мысли отправляет — это всегда присутствует. И чем больше ты работаешь в медицине, тем больше... не просто в это веришь, а в этом убеждаешься.

Как тут не вспомнить архиепископа Луку, в миру Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого? Он много за веру пострадал, за то и к лику святых священноисповедников причислен. А был он еще и великолепным хирургом, и Сталинскую премию даже получил как хирург. У архиепископа Луки всегда висела в операционной икона — он заходил и сначала молился, а на работу он приходил в рясе, что, разумеется, в советские времена считалось невозможным. Когда его в очередной раз судили и в очередной раз ссылали, государственный обвинитель спросил: «Скажите, а вот вы лично Бога видели? Чтобы утверждать, что он есть, — нужно его видеть! А ведь никто его не видел, Бога-то». На что архиепископ Лука ответил: «Вы знаете, я столько раз делал трепанацию черепа — вскрывал черепную коробку, — и ни разу там ума не видел! Чтобы утверждать, что он есть, — нужно его видеть! А кто его видел?»

Одна моя знакомая, очень верующая женщина (я почти двадцать лет назад оперировал ее внука — он сейчас взрослый парень и, кстати, учится в медучилище), сама врач, много лет проработала на скорой помощи, так вот она как-то сказала мне: «Хирургам за их профессию многое прощается Богом». Я спросил: «Почему?» «Потому, — ответила она, — что хирурги очень близки к этой грани — между жизнью и смертью. И за то жизненные огрехи им прощаются».

Есть некоторые апологеты такой теории: раз уж человеку начертано умереть, зачем хирурги вообще в это дело лезут? И зачем вообще врачевание — как Бог решил, так и решил. Но подобным глупостям в противовес существует замечательное правило: «Богу — Богово, а кесарю — кесарево». Делай что должно — Господь никогда не противится лечению больного. Делай свое дело, а дальше не тебе решать.

Неси свой крест, никому крест сверх его силы не дается.

Вместо эпилога

Часто приходится слышать: «Он — хирург от Бога!» И размышлять на эту тему: «В самом деле, а что бы это могло значить?»

После содержательных бесед (считаю их беседами, несмотря на наше письменное общение) с Сергеем Дмитриевичем для меня все стало на свои места.

Вот он — Сергей Дмитриевич Каширин — и есть один из тех, про кого говорят: хирург от Бога. То есть человек, делающий свою работу честно, с вдохновением и талантом, не за страх, а за совесть, выполняя свое человеческое и профессиональное предназначение на земле. И не требуя за это особого поощрения.

Гиппократ утверждал, что медицина из всех наук — самая благородная.

Так и есть. А делают медицину благородной обычные люди. Хирурги, кардиологи, терапевты, эндокринологи, педиатры...

Врач — это человек, который живет во имя спасения другого человека.

А наука? А наука врачу в помощь.



Валентина СЕМЕНОВА

«Я ВСЕГДА БОГОТВОРИЛ КНИГУ...»

В. П. Трушкин

и Восточно-Сибирское книжное издательство

...Он был увлеченным, страстным читателем, известный историк литературы Сибири, доктор филологических наук и профессор Василий Прокопьевич Трушкин.

Каждого, кто прочитал его дневники в книге «Друзья мои», изданной несколько лет назад в Иркутске*, не могут не потрясть записи о том, как в голодные, на грани жизни и смерти 1920—1930-е и 1940-е военные годы юный Василий, отказывая себе в хлебе насущном, покупал книги. Они стали для него всем — он жил ими. И это в пору, когда в стране утверждалась идеология материализма, согласно которой бытие определяет сознание. Совсем наоборот! Можно сказать, Василий Трушкин изначально шел вразрез с официальной догмой, не подозревая об этом.

* * *

Две знаменательные даты совпали в 2021 году: 100-летие со дня рождения В. П. Трушкина и 90-летие со дня основания Восточно-Сибирского книжного издательства.

Совпадение, можно сказать, счастливое. Как будто высшие силы так распорядились, чтобы через десять лет после рождения в потомственной крестьянской семье мальчика-книгочея появилось Областное государственное издательство (ОГИЗ), в последующем Восточно-Сибирское книжное (ВСКИ), для публикации его будущих трудов.

Издательство было создано как раз для собирания культурных сил региона. Ему вменялось в обязанность публиковать местных писателей, фольклористов, краеведов, отражать достижения вузовских ученых и передовой опыт производителей. Сообразно этому были организованы соответствующие редакции. В том же 1931 году при издательстве, по благословению М. Горького, родил-

* Здесь и далее цитаты приводятся в основном из книги: Трушкин В. «Друзья мои...» (Из дневников 1937—1964 гг. Очерки и статьи. Из альбома «Нефтефлот литературы». Воспоминания о В. П. Трушкине) / Сост. А. В. Трушкина. Вступ. ст. Б. С. Ротенфельда. — Иркутск, Издатель Сапронов, 2001. — 448 с.

ся литературно-художественный журнал «Будущая Сибирь». Меня названия, долгие годы он был известен как альманах «Ангара» и, в отличие от издательства, дожил до наших дней при Иркутском региональном отделении Союза писателей России. Сегодня это журнал «Сибирь», в котором публикуются уже не только иркутские авторы.

Интересы исследователя литературы Сибири и задачи ВСКИ совпали стопроцентно. А самозабвенная любовь Василия Прокопьевича к книге не только вызывала уважение у издателей, но и влияла на них уже на ином, внеслужебном уровне.

* * *

Сотрудничество Трушкина с ВСКИ началось с 1950-х годов. Собственно, все его книги и книги, им составленные, вышли именно здесь — достаточно взглянуть на библиографию литературоведа.

Одним из первых стал томик лирики Сергея Есенина, составленный молодым кандидатом наук, с его вступительной статьей о поэте, только что возвращенном из забвения (1958); в 1960-е вышли в свет «Литературные портреты» писателей-сибиряков, «Литературная Сибирь первых лет революции», которая была сразу замечена не только в Иркутске, но и Новосибирске, Омске, Москве.

С особой тщательностью и сочувствием Трушкиным написано несколько работ о талантливом иркутском прозаике П. П. Петрове — одном из первых членов образованного в 1934 году Союза советских писателей, безвинно арестованном и расстрелянном в годы репрессий. Очерк «Сибирский партизан и писатель П. П. Петров», изданный отдельной книжкой в 1965 году, получил высокую оценку известного сибирского литературоведа и критика Э. Шика как «единственное исследование жизни и творчества писателя-сибиряка» в те годы. Отзыв был опубликован в альманахе «Ангара» (1966, № 1).

Многие другие труды ученого подробно охватили историю литературы Сибири от начала XIX века до начала века XX, а также имена поэтов и прозаиков, открытых в следующие десятилетия и введенных в научный оборот в сопровождении его вступительных статей и комментариев.

О том, как работало издательство со своим трудолюбивым и перспективным автором, доктором филологических наук и профессором, могли бы рассказать мои старшие коллеги-редакторы — Вероника Григорьевна Волкова и Людмила Афанасьевна Васильева. В. П. Трушкин и В. Г. Волкова были даже соавторами-составителями двух томов библиографического словаря «Литературная Сибирь» (1986, 1988). Мне же запомнилось одно: с этим сложным историко-литературным текстом, насыщенном именами, датами, названиями, хватило хлопот всем. И редактору Л. А. Васильевой, которая подключилась еще на этапе составления (так было принято), и техреду (сложная двухколоночная верстка с фотографиями, подбор шрифтов и проч.), и худреду, и корректорам, — все надо было сверить не на один раз. А еще проследить прохождение через типографию — то был напряженный труд целого коллектива. Надо ли говорить, что плод труда — книга — и внешне и внутренне сильно отличался от того, что поступало в издательство в папке от автора. В нынешнюю компьютерную эпоху книгоиздатели такого и представить себе не могут.

К великому сожалению, тех редакторов, кто мог бы поделиться воспоминаниями, как работалось с нашим уважаемым профессором, уже нет. Светлая им память! Также очень жаль, что третий том «Литературной Сибири», уже составленный и ожидавший доработки, после крушения издательства в середине 1990-х исчез с редакционной полки неизвестно куда, оставшись лишь в памяти тех, кто о нем знал.

* * *

Прежде чем продолжить издательскую тему, остановлюсь на литературной обстановке, которую я застала, придя в ВСКИ в 1972 году. Это важно, потому что издательство выдавало конечный продукт, а создавался он писателями и учеными, историками и краеведами, библиотекарями, художниками-оформителями годами и десятилетиями. В автобиографическом очерке «Временем поверяя себя» Трушкин напишет о том, как, занимаясь историей литературы, был включен в живой литературный процесс. Могу подтвердить: в Иркутске действительно такой процесс бурлил, и весьма ошутимо.

Все начиналось в местном отделении Союза писателей, в Доме литераторов, с 1982 года носящем имя П. П. Петрова. Там проходили горячие обсуждения рукописей как членов союза, так и первых опытов новичков. Новичкам до обсуждения еще надо было дорасти, для многих дело ограничивалось отзывом литконсультанта.

Следующий этап — книжное издательство. Оно подхватывало автора и помогало ему дотянуть будущую книгу до планки, ниже которой ей быть нельзя. Планку определял Госкомиздат РСФСР — издательства подчинялись ему. Он мог затребовать любую рукопись на контрольное рецензирование, привлекая столичных специалистов. Рецензии присылались на места, и все это время редакторы трепетали в ожидании утверждения «Тематического плана», главного документа. Когда книга выходила в свет, на нее, как правило, отзывалась местная критика. И ее оценка также много значила и для автора, и для издательства.

Еще одна деталь, забытая сегодня. Критики, как правило, приходили из вузовской науки. И это оправданно: сначала получи литературоведческую базу, потом окунайся в практику литературного дела. Два факультета — филологический госуниверситета и факультет русского языка и литературы пединститута — поставляли критиков, и они были в курсе не только литературной, но и театральной жизни.

О единстве культурного пространства, в котором только и может развиваться творчество, свидетельствуют шуточные лирические автографы из домашнего альбома Трушкина «Нефтефлот литературы». Где, например, Иннокентий Луговской называет владельца альбома «братаном по перу». «Хоть и не родной брат поэтам, а все же “братан”, то бишь брат двоюродный, свой человек в литературе, в поэзии. А это уже много и бесконечно дорого для меня», — растроганно вспоминал Василий Прокопьевич то время.

Сегодня мы наблюдаем, увы, иную картину. Возможность выпустить в виде книги все, что выходит из-под клавиш компьютера любого сочинителя, делает невозможным в массе незрелых опусов увидеть по-настоящему талантливое произведение. Без кропотливой издательской подготовки выдается первозданный вариант рукописи, часто с припиской «в авторской редакции». Хотя время



уже показало: свобода самовыражения — это хорошо, но обязательна еще одна линия, направленная на развитие талантов, выявление достижений, где критерий качества — основной. И здесь уже нужна государственная воля, действующая через государственные издательства. Они были поистине институтами сферы культуры, которые в 1990-е годы поспешили уничтожить, в то время как они вполне могли мирно уживаться с частными издательствами по линии оказания услуг населению.

Не могу утаить этой боли, поскольку и в советское время далеко не все понимали разницу между издательством и типографией, в которой на печатной машине воспроизводился книжный продукт, а вот как и кем он создавался, многие не ведали.

Не могу не коснуться и еще одного момента, на который часто делают упор критики советского прошлого. Это отношения с цензурой.

Должна сказать, в мое время (вторая половина 1970-х — начало 1990-х) этот ограничитель творческой свободы хотя и доставлял беспокойство редакторам и авторам, но уже и сам претерпевал ограничения своего вселия. Идеологические рамки в те годы раздвигались все шире, в том числе и благодаря писателям, которые представляли собой влиятельную силу в обществе и государстве.

Способы обойти препоны были разные. Что касается Трушкина, то его путь описан Б. Ротенфельдом в предисловии к книге «Друзья мои...». Василий Прокопьевич сопровождал свои очерки «обязательным советским орнаментом, ритуальными “присказками”, типа “под воздействием Октябрьской социалистической революции”, “правота и правомерность Советской власти”, при этом имея позицию, выходящую “из общеустановленных рамок”, и при острой необходимости выражая ее “негромко, но определенно”».

Всё так, и все об этом знали и понимали, что подобного рода ритуал исполнялся Трушкиным с целью ввести «непроходимое» имя писателя, чья судьба пришлось на противоречивую революционную пору, в ряд «проходимых» и вписать в историю литературы. Хотя — и это тоже очевидно — Трушкин, как и многие, верил тогда в правоту социалистического выбора, сделанного страной в 1917 году, и трагические факты советской реальности считал временным отклонением.

Во многом здесь, надо полагать, сказалась крестьянская натура ученого. Крестьянину всегда было не до политики: труд на земле поглощает все силы. Ему достаточно, чтобы власть не мешала этому труду. Борьба с нею не была первоочередной задачей. Василий Прокопьевич и прикрывался однажды своим происхождением. Когда ему предложили высказать свое отношение к неопубликованным произведениям Солженицына, он уклонился таким образом: «Я — человек крестьянский, прежде чем судить о какой-то вещи, я должен ее пощупать», т. е. прочитать.

В итоге он добился своего: «вспахал совсем не возделанное критикой поле», как справедливо отметила Н. С. Тендитник в очерке «Вдохновение», высоко оценив заслуги своего сверстника и коллеги по университету.

* * *

В. П. Трушкин вполне мог стать критиком — и в какой-то мере стал им, потому как имел чутье на подлинный талант. В альманахе «Ангара» он — один из постоянных авторов. Так, приветствуя появление романа Юрия Бондарева «Ти-

шина», он вступает в полемику с рецензентами романа из журналов «Октябрь» и «Звезда». Трушкину принадлежит одна из первых статей о Валентине Распутине, с очень точным названием «Поэзия прозы» («Ангара», 1968, № 1).

Он был первым рецензентом рукописи повести «Последний срок» В. Распутина (надо полагать, внутренней, издательской), заметил на конференции «Молодость. Творчество. Современность» в 1972 году самобытного поэта Анатолия Горбунова, первая книжка которого «Чудница» в тот же год вышла в Москве и Иркутске. Ну а о том, как преподаватель филфака приветил юного Вампилова в литкружке, которым руководил, в издательстве знали все, ведь в его стенах вышла в 1962 году первая книжка ранних рассказов будущего драматурга «Стечение обстоятельств»; редактором ее была В. Г. Волкова. Кстати, общеизвестный факт: среди студентов Василия Прокопьевича было несколько будущих писателей, как и, добавлю, несколько будущих редакторов.

Но он выбрал другую стезю, хотя в 1962 году вступил в Союз писателей СССР. Возможно, и потому, что критика требовала бойцовских качеств, а Василий Прокопьевич был миролюбив. Похоже, ему больше нравилось восхищаться и хвалить, чем возмущаться и ниспровергать. Но на издательских редсоветах и в частных беседах всегда можно было рассчитывать на его непредвзятое мнение по поводу любой спорной рукописи.

Его стезя потребовала другого напряжения — кропотливой работы в архивах и библиотеках, поиска редких изданий, биографических сведений о писателях, иные из которых лишь мелькнули на литературном небосклоне и исчезли, но оставили, по его убеждению, неповторимый след.

* * *

Мне достались на редактирование в основном переиздания В. П. Трушкина. В начале 1980-х его трилогия из 1970-х годов («Пути и судьбы», «Из пламени и света», «Восхождение») после доработки и исправлений была запланирована к переизданию, но уже в двух томах. Первый вышел под тем же названием в 1985 году с прибавлением шести глав из второй книги. «Восхождение» должно было присоединить к своим двенадцати оставшиеся четыре главы из «Из пламени и света».

Работа особых трудностей не вызывала, а моя небольшая стилистическая правка, помнится, принималась автором без возражений. После выхода первого тома, на титуле которого мне был оставлен теплый автограф, а последняя страница заканчивалась обещанием дальше повести разговор о поэтах-дальневосточниках, мы приступили ко второму. И тут мне больше всего запомнился один нерабочий эпизод. Василий Прокопьевич обратился ко мне с просьбой: во вторую книгу поставить посвящение — «Дочери Анечке». Кто-то в редакции не советовал ему этого делать. Я удивилась: почему? Автор волен в своих посвящениях. Если из-за того, что это переиздание, то ведь оно исправленное и доработанное, так отчего же не пойти навстречу любящему отцу? Тем более что всем была известна история профессора, пережившего трагическую гибель первой жены и во втором браке ставшего отцом в возрасте пятидесяти лет. Заминка, к его радости, была улажена, однако том с посвящением так и не вышел в свет.

Воссоздавая в памяти обстановку тех лет, могу объяснить причины срыва.

С одной стороны, к концу 1980-х издательские планы стали меняться под напором новых тем, с другой — ученому было непросто найти время и силы на доработку оставшейся половины: на филфаке ИГУ, где он продолжал преподавать, тоже начались разного рода перемены и потрясения. Издание было отложено, но вернуться к нему уже не удалось.

Наше прерванное сотрудничество возобновилось при подготовке однотомника поэзии и прозы Бориса Пастернака «Земной простор» (1990), в котором Василий Прокопьевич был составителем и автором предисловия, а я редактором.

Надо сказать, с середины 1970-х до начала 1990-х, при руководстве директора Ю. И. Бурькина, издательство было на подъеме. Оживились прежние и рождались новые книжные серии, которые пользовались популярностью у книголюбов и библиотек. По-прежнему постоянно издавались иркутские писатели. С конца 1980-х (на волне «гласности») годовые тематические планы расширялись, включая незаслуженно забытые имена. На одном из писательских собраний В. Распутин даже заметил: если раньше иркутянам приходилось с трудом пробиваться в план, то теперь издательство само выходит с инициативами, а мы не всегда можем их поддержать. Имелась в виду новая серия публицистики «Писатель и Сибирь», в которой сам он принимал активное участие.

Действительно, связи издателей и писателей крепили. Члены Союза писателей входили в состав редсовета, вместе с представителями книготорга и библиоколлектора участвовали в обсуждении планов. Что касается наиболее известных серий «Полярная звезда» и «Литературные памятники Сибири», то здесь первыми помощниками оставались М. Сергеев и В. Трушкин. Предисловия, научные комментарии, подсказки и советы Василия Прокопьевича — без них «Литературные памятники» не обходились.

Все складывалось одно к одному. В начале 1980-х ВСКИ переехало с ул. Горького на ул. Марата и оказалось в соседстве с квартирой профессора Трушкина — буквально в трех минутах ходьбы. И в соседстве с его богатейшей библиотекой, к которой при надобности обращался кто-нибудь из редакторов. Мне довелось побывать в ней лишь однажды, уже на излете издательских лет, когда к 60-летию Иркутской писательской организации готовился цикл телепередач. Мне было поручено взять интервью у наших корифеев. С Трушкиным оно было записано на фоне книжных стеллажей, занимавших все стены его кабинета. Возможно, в архиве ИГТРК эта запись сохранилась.

И сам Василий Прокопьевич частенько заглядывал в издательство по пути из книжного магазина, чтобы похвастаться новым приобретением. Звучали его вдохновенные монологи, связанные, как правило, с находками редких изданий или любимыми с юности именами. Здесь было важно все. Он говорил стоя (обычно торопился), устремляя взор куда-то ввысь, и мы, глядя на него, тоже невольно поднимали головы от своих столов. Он вроде бы отдалялся от нас, но его «Друзья мои!» звучало призывно, отменяя паузы. При этом он не мог оставаться неподвижным: ноги чуть пружинили в коленях, задавая ритм речи. Всегда удивляло, как много стихов он помнил! Так бывает, если строки входят не только в голову, но и в сердце, а память сердца, как известно, крепче.

Поскольку ученый и книголюб был в курсе подписных изданий, то вовремя подсказывал нам, на что подписаться. С тех пор у меня на полке стоят пять томов уникального словаря «Русские писатели. 1800—1917», к сожалению застрявшего после перестройки на буквах «П—С». Кстати, восемь статей Трушкина о сибирских писателях вошли в этот словарь.



В 2019 году наконец вышел шестой том (буквы «С—Ч»), где в списке основной справочной литературы указана «Литературная Сибирь», составленная Трушкиным и Волковой. Об этом мне сообщила московский литературовед Е. Тахо-Годи, выразив надежду, что не забудут о трудах нашего земляка и в заключительном, седьмом томе.

В. П. Трушкин издавался также в Новосибирске, Красноярске, Кемерове. Его труды были по достоинству оценены в Институте филологии, истории и философии СО РАН (Новосибирск), где на рубеже 1980 — 1990-х годов мне выпало принять участие в ежегодных конференциях Сектора русской литературы Сибири (организаторы — ученые Л. П. Якимова и Е. А. Куклина). Могу засвидетельствовать: имя профессора Трушкина всегда упоминалось с большим уважением.

* * *

...В последний раз мы встретились с Василием Прокопьевичем весной 1996 года. В конце 1995-го обрушилось Восточно-Сибирское книжное издательство, местом моей работы стал Дом литераторов им. П. П. Петрова на ул. Степана Разина, где я занималась организацией литературных вечеров и встреч с писателями.

В апреле месяце было решено отметить знаменательную дату — 110-летие со дня рождения поэта Николая Гумилева. Возник вопрос: кто сможет рассказать о нем? И я вспомнила, как любил Гумилева Василий Прокопьевич, как читал нам в издательстве его стихи. Позвонила ему, предложила выступить с лекцией. Он охотно согласился, хотя писатели к этому времени разошлись по разным организациям и он числился членом другой, чей Дом литераторов находился на ул. Дзержинского.

Лекция была по обыкновению содержательной, но звучала тяжеловато, не доставало той приподнятости, с которой когда-то профессор произносил свои монологи. А через четыре месяца Василия Прокопьевича не стало...

Оглядываясь на прошлое, удивляюсь созвучию календарных дат.

В 2021 году отмечалось 100-летие со дня гибели известного поэта Серебряного века Николая Гумилева и 100-летие, с разницей в днях, со дня рождения литературоведа-сибиряка Василия Трушкина, отдавшего дань его памяти незадолго до своего ухода из жизни в 1996 году.

И еще одно совпадение, печальное и знаковое для иркутян.

Жизнь Василия Прокопьевича оборвалась одновременно с жизнью Восточно-Сибирского книжного издательства. И утрата третьей книги «Литературной Сибири» после ухода редакторов — словно предвестие наступающей разрухи в нашем царстве-государстве. Вместо обновления и ускорения, на что все мы так надеялись!

Он успел это почувствовать на себе.

* * *

Но не хотелось бы на столь грустной — притом вдвойне — ноте ставить точку. Важнее другое: судьба наследия В. П. Трушкина. Оно не должно пропасть втуне для новых поколений историков литературы Сибири, а это уже зависит

от собравшихся в сентябре 2021 года на конференции, посвященной памятной дате.

Пока у меня на заметке не так много переключек изысканий профессора с новым, XXI веком.

В 2000 году в газете «Зеленая лампа» опубликована статья Анны Трушкиной, дочери ученого, кандидата филологических наук, «Скитальческий мой сон...» — о поэте и переводчике первых десятилетий XX века Дмитрие Глушкове (псевд. Олерон), отбывавшем ссылку на берегах Лены и Ангары, одном из героев очерков ее отца.

В 1999—2001 годах в Иркутске выходила серия книг «Барка поэтов». Название серии — из 1920-х годов, так именовала себя группа поэтов, читавшая свои стихи на барке, пришвартованной к причалу Ангары. И был отзыв на это издание в журнале «Сибирь». Автор отзыва — Анатолий Столяревский (1949—2013), бывший студент профессора Трушкина, по его приглашению едва не поступивший в аспирантуру. Начав со стихов, Столяревский раскрылся в 2000-х как вдумчивый, эрудированный критик. В рецензии на поэтические сборники современной «Барки» он уважительно сослался на мнение Трушкина о «барочниках» прошлого века.

В 2012 году работами Трушкина об Олероне заинтересовалась Елена Тахо-Годи — доктор филологических наук, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, заведующая научным отделом «Дома А. Ф. Лосева», племянница А. А. Тахо-Годи, наследницы философа.

Валентин Курбатов, известный критик и частый гость в нашем городе, попросил помощи у иркутян в сборе материала для ее исследования. Просьба была передана мне, и снимки текстов Д. Олерона из «Тутурского сборника», хранящегося в фонде редких книг и рукописей Научной библиотеки ИГУ, вместе с копиями страниц из книг В. П. Трушкина были мной отправлены в Москву.

Работая над очерком, я написала Елене Аркадьевне, с тем чтобы узнать, насколько помогли ей иркутские материалы и какие публикации вышли в итоге. В ответ получила письмо со списком из пяти работ, опубликованных в 2012—2019 годах. Среди них ее статья 2019 года «Между В. Брюсовым и Г. Адамовичем. Перевод “Трофеев” Эредиа Д. Олерона и литературные споры начала XX в. [2-я публ., испр. и доп.]», издание «Олимпийских сонетов» Д. Олерона с ее комментариями (2012). В письме также сказано, что книги В. П. Трушкина помогли не только материалом, собранным из редких источников по биографии поэта, но и тем, что в них «приведены и собственные свидетельства, почерпнутые из его личного общения со вдовой Глушкова — а этого ни в каких архивах и публикациях не найти».

В 2017 году вышел роман иркутского писателя Александра Лаптева «Бездна» — о страданиях и гибели П. П. Петрова на Колыме. По признанию автора на презентации книги, для него одним из основных источников сведений о герое романа стал очерк В. П. Трушкина «Как подобает истинным бойцам...». Петр Петров: судьба человека и художника» из сборника «Друзья мои...».

Таких переключек может быть больше. Залежи, поднятые В. П. Трушкиным, необходимы в осмыслении литературного процесса в Сибири как единого живого целого, к чему стремился увлеченный исследователь, и обращение к ним будет лучшим ему памятником.

Лариса ПОДИСТОВА

НОВИНКИ «БИБЛИОТЕКИ СИБИРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» И НЕ ТОЛЬКО

Год 2022 ознаменован сразу двумя значимыми для новосибирцев юбилеями. В марте мы отмечаем 100-летие журнала «Сибирские огни», а в сентябре исполнится 85 лет со дня образования Новосибирской области. Оба эти события не остались без внимания областного правительства. Среди проектов, финансируемых министерством культуры, есть и книги, изданные Новосибирской государственной областной научной библиотекой и Новосибирским библиотечным обществом в серии «Библиотека сибирской литературы». Серия эта издается с 2018 года в рамках реализации государственной региональной программы «Культура Новосибирской области», и в ней уже ранее вышли сборники произведений наших талантливых земляков: П. Дедова, А. Денисенко, Н. Самохина.

Как отмечает директор НГОНБ и президент Новосибирского библиотечного общества С. А. Тарасова, выпущенные в 2021 году, в преддверии двух юбилеев, книги серии нетипичны: у каждой свое оформление и свой формат, а кроме того — это и книги наших современников, а не только классиков сибирской литературы. В 2021 году серия пополнилась «Сказками» Ю. М. Магалифа, сборником прозы «На два голоса», куда включены повести лауреатов премии журнала «Сибирские огни», биографическим исследованием В. Н. Яранцева «Яновский: человек эпохи “Сибирских огней”» и сборником современной новосибирской поэзии «Парк». Ниже мы расскажем подробнее о каждой из этих книг, а также о некоторых других, изданных в прошлом году и привлечших наше внимание.

На два голоса. Повести новосибирских писателей: сборник. — Новосибирск: Новосибирское библиотечное общество, 2021. Новосибирский издательский дом. — 320 с. — Библиотека сибирской литературы.

В сибирской литературе жанр повести занимает особое место. Лучшие произведения В. Распутина, В. Астафьева, Н. Самохина и многих других писателей-сибиряков — это именно повести. С авторами, чьи тексты составляют этот сборник, читатели «Сибирских огней» уже знакомы по публикациям в журнале. Все они: Володя Злобин, Наталья Короткова, Леонид Полиновский и Виктор Сайдаков — в разное время стали лауреатами премии «Сибирских огней». У каждого писателя свой голос, своя манера, своя тема, они вообще люди разных поколений. Объединяет же их выбор жанра, причастность к нашему журналу и то, что все они наши земляки.

Магалиф Ю. М. Сказки. — Новосибирск: Изд-во «РЕСНОТА» ИП Фалалеева Л. А., 2021. — 188 с., ил.

Наверное, большинству людей, выросших в Новосибирске, не нужно объяснять, кто такие Типтик, Жаконя, клоун Жура, грузовичок Бибишка и ворон Воронуша. Герои сказок Юрия Магалифа были постоянными спутниками нашего детства, а теперь так же сопровождают наших детей и внуков. В новый сборник вошли как большие, хорошо знакомые всем истории про Типтика и Кота Коткина, так и менее известные сказки-притчи «Маленькое богатство», «Тусок», «Интересный мальчик» и «Неизвестно Что», адресованные не только детям, но и взрослому читателю. В книге использованы иллюстрации Спартака Калачева, Елены Огневой, Вероники Будылиной и Ольги Симоновой.

Парк: книга стихов / редактор-составитель А. С. Метельков. — Новосибирск: ГАУК НСО НГОНБ, 2021. — 247 с.: портр. — Библиотека сибирской литературы.

«Парк» — небольшая антология новосибирской поэзии рубежа XX—XXI веков, в которую вошли избранные стихотворения одиннадцати авторов, среди которых Е. Минияров, В. Светлосанов, А. Ахавьев, С. Самойленко и др. По словам составителя сборника А. Метелькова, «Парк» является своеобразным преемником легендарного сборника «Гнездо поэтов», вышедшего в Новосибирске в 1989 году, основу которого составили стихи участников ЛИТО Ильи Фонякова.

Авторские справки в нынешней антологии лишены привычного официоза («родился... учился... печатался...») — они, напротив, подчеркнута произвольны: «Сказано — не дай вам бог жить в эпоху перемен. Как жить, если он дал, — не сказано...», «На улице то жара стоит, то грозы, а я уже две недели безвылазно сижу дома, пишу трактат об Анаксагоре и Демокрите...», «С этого момента жизнь его поменялась. Все больше укреплялся он в мысли об этом и еще больше укрепился, узнав о Петрушке, лекаре, пекаре и аптекаре...» Столь же необычны и атмосферны черно-белые портреты авторов (фотографы — Владислав Ковалевич и Кристина Кармалита). Дизайн книги — Валерии Яковлевой.

Яранцев В. Н. Яновский: человек эпохи «Сибирских огней». — Новосибирск: ООО «Свинья и сыновья», 2021. — 592 с., ил. — Библиотека сибирской литературы.

Новое исследование известного новосибирского литературоведа посвящено судьбе одного из самых ярких сибирских критиков и историков сибирской литературы Н. Н. Яновского. В числе его наиболее известных трудов — монографии о Лидии Сейфулиной, Сергее Залыгине, Всеволоде Иванове, Викторе Астафьеве и др., несколько сборников статей и очерков о сибирской литературе. По инициативе Яновского вышло восьмитомное издание «Литературного наследия Сибири», где он был составителем и главным редактором. К сожалению, смерть не дала ему закончить этот гигантский труд. И словаря «Русские писатели Сибири XX века», вышедшего в 1997 году, к которому Николай Николаевич много лет собирал материалы, он тоже уже не увидел.

В книге В. Н. Яранцева впервые сделана попытка в подробностях воссоздать биографию этого незаурядного человека, показать его творческий путь как литератора и критика, чьими усилиями читателю были возвращены имена многих забытых сибирских писателей. Автор приводит малоизвестные публикации и архивные документы, фрагменты переписки Н. Н. Яновского с В. Астафьевым, И. Золотусским и другими известными участниками

литературного процесса в СССР второй половины XX века. Особое внимание уделено работе Яновского в журнале «Сибирские огни», где он с 1950 года был литературным консультантом и заведующим отделом поэзии, а в 1964—1972 годах — заместителем главного редактора. В книге показан непростой период, когда хрущевская оттепель сменялась ужесточением цензуры, но который тем не менее заслуженно считается золотым веком сибирской литературы.

И век как день: 100 стихотворений поэтов журнала «Сибирские огни». — Новосибирск: ООО «Полиграфическая студия», 2021. — 160 с.

Юбилеи, тем более столь значительный — вековой, всегда располагают обернуться, окинуть взглядом и оценить пройденный путь, подвести некие итоги, порадоваться тому хорошему и важному, что случилось за прошедшие годы. Разумеется, за сто лет в «Сибирских огнях» публиковалось гораздо больше поэтов и намного больше замечательных стихов. Но редакция попала под обаяние круглого числа и после долгих, горячих споров выбрала, как признаются в предисловии составители, «просто сто коротких лирических всплесков, промелькнувших, как окна поезда, мчащегося из года 1922 в год 2022 и далее — в будущее». Осуществить этот памятный проект позволила поддержка бизнес-группы «NORDАЗИЯ» — наших друзей, с которыми мы плодотворно сотрудничаем уже много лет.

Алые сугробы. Сибирские рассказы: сборник / Сост. Михаил Щукин. — М.: Вече, 2022. — 432 с. — Сибириада.

В сборник вошли произведения двенадцати авторов. В их рассказах перед читателем предстает Сибирь царского времени и первых лет после революции. Это первый из трех сборников сибирских рассказов, подготовленных к печати редакцией журнала «Сибирские огни» при содействии Новосибирской государственной областной научной библиотеки, издание которых приурочено к 100-летию юбилею «Сибирских огней». Многие авторы, чьи тексты вошли в сборник, печатались на страницах журнала, а некоторые даже лично стояли у его истоков: Лидия Сейфуллина, Владимир Зазубрин, Максимилиан Кравков, Исаак Гольдберг. Название книге дал рассказ Вячеслава Шишкова о том, как два друга-сибиряка искали волшебную страну изобилия и счастья Беловодье. Сочный язык, самобытные характеры, захватывающие сюжеты — вот что найдет читатель на страницах сборника «Алые сугробы». В дальнейшем планируется издание еще двух томов, куда войдут произведения авторов советского периода и наших современников.

Прашкевич Г. М. Портрет писателя в молодости: письма знаменитых современников автору с его комментариями. — М.: Изд-во «Т8 RUGRAM», 2021. — 396 с., ил.

В 2021 году московское издательство «Т8 RUGRAM» выпустило целых четыре книги Г. М. Прашкевича — писателя, поэта, переводчика, историка литературы, давнего друга и постоянного автора «Сибирских огней». «Портрет писателя в молодости» занимает в их ряду особое место. Это сборник писем автору от писателей, поэтов, ученых, философов, с которыми его связывали дружеские и творческие отношения: И. А. Ефремова, Аркадия и Бориса Стругацких, В. П. Катаева, В. П. Астафьева, Г. И. Гуревича, В. С. Пикуля и многих других, кого вряд ли нужно подробно представлять читателям. С некоторыми из них Геннадий Мартович переписывался десятилетиями, в целом же представленные в книге эпистолярные тексты охватывают период около пятидесяти

лет — с 1957 по 2005 год. В них мы видим отголоски не только литературных, но и исторических событий, находим размышления о смысле жизни и творчества и, конечно, чувствуем тепло человеческих отношений, которое, кажется, утрачено в современной электронной переписке, требующей краткости и заменяющей словесное выражение эмоций смайликами.

Г. М. Прашкевич считает выход этой книги очень важным для себя событием и рассматривает ее как своеобразный жизненный итог. «Разумеется, письма пишут и сейчас, — говорит он в послесловии. — Но редко. А вот архивы забыты письмами. В основном — из двадцатого века. Воспринимаются письма — как молодость. Потому я и назвал свою книгу “Портрет писателя в молодости”».

Прашкевич Г. М. Война миров: роман-биография. — М.: Изд-во «Т8 RUGRAM», 2021. — 416 с.

Герберт Джордж Уэллс — знаменитый писатель, мыслитель, общественный деятель, книги которого, полные неожиданных идей, юмора и трагизма, продолжают волновать людей даже в нашем технически искушенном, чтобы не сказать пресыщенном, веке. Биография Уэллса, написанная Г. М. Прашкевичем, читается как добротный роман, где есть место и творчеству, и любви, и путешествиям, и успеху, и разочарованиям. «Человек творческого труда — это не обычное существо, он не может и не испытывает ни малейшего желания жить как все нормальные люди. Он хочет вести жизнь необычную», — так писал сам Уэллс в своей книге «Опыт автобиографии» (1934). Жизнь его была богата на события, как и вообще то время. И кто может лучше понять писателя, жившего в эпоху фундаментальных научных открытий, как не другой писатель, также увлеченный наукой и живущий в не менее щедрое на открытия время, пусть и много десятилетий спустя, — понять и с уважением рассказать о нем?

Впервые книга увидела свет в 2010 году в серии «Великие исторические персоны» издательства «Вече». На сегодняшний день она отмечена рядом литературных премий, в том числе АБС-премией, которую автору вручал Б. Н. Стругацкий.

Прашкевич Г. М. Я был отцом Хама: сборник повестей и рассказов. — М.: Изд-во «Т8 RUGRAM», 2021. — 336 с.

В книге собраны фантастические повести и рассказы автора, написанные в разные годы. Необычная идея, приключения и тайна — необходимые составляющие любого хорошего фантастического произведения. Кроме них, в произведениях Г. М. Прашкевича всегда присутствуют размышления о разуме и его месте во Вселенной.

Прашкевич Г. М. Я видел снежного человека: сборник повестей и рассказов. — М.: Изд-во «Т8 RUGRAM», 2021. — 292 с., ил.

Сборник включает рассказы и повести, посвященные северным народам Сибири и Дальнего Востока. «Одиноким северным народам близки мне, — признается автор. — Юкагиры, долганы, шоромбойские мужики, чюхчи, ламуты, кереки, олюбеньцы, камчадалы и прочая, прочая. Зимой — зеленоватые отцветы северного сияния, летом — бескрайние облака задавного гнуса. Бесконечные кочевки. Отсутствие времени». Может быть, поэтому сказки жителей тундры не уступают по размаху древнегреческим мифам.

Иллюстрации к вошедшим в книгу произведениям создали Александр Шуриц («Сендушные сказки»), Эдуард Гороховский («Я видел снежного человека») и Нурия Равилова («Белый мамонт»).

АВТОРЫ НОМЕРА

Иванов Дмитрий Александрович родился в 1961 г. в Томске. Окончил отделение журналистики филологического факультета Томского государственного университета. Работает обозревателем журнала «Недра и ТЭК Сибири». Член Союза журналистов России. Публиковался в журналах «Сибирские Афины», «Начало века» и др. Автор двух сборников — художественной прозы и публицистики. Живет в Томске.

Кекова Светлана Васильевна родилась в 1951 г. на Сахалине. Окончила филологический факультет Саратовского государственного университета. Доктор филологических наук. Автор более десяти книг стихотворений, литературоведческих книг и статей, посвященных творчеству Н. Заболоцкого, А. Тарковского, В. Ходасевича, В. Набокова, Ф. Достоевского, философов Ф. Степуна и С. Франка, поэтов-обэриутов и др. Стихи Кековой переведены на все европейские языки. Лауреат многих литературных премий. Член Союза российских писателей. Живет в Саратове.

Копнинов Валерий Павлович родился в 1963 г. в Барнауле. Окончил Алтайский институт культуры и ГИТИС. Автор книг «Сукины дети», «Двенадцать затмений луны», «День чистой воды». Публиковался в журналах «Север», «Огни Кузбасса», «Сибирские огни». Работает режиссером телевидения. Член Союза писателей России и Союза театральных деятелей РФ. Живет в Барнауле.

Ливинский Станислав родился в 1972 г. в Ставрополе. По образованию фотограф. Работал фотокорреспондентом, видеооператором и звукорежиссером. Публиковался в «Литературной газете», журналах «Юность», «Знамя», «Дружба народов», «Сибирские огни» и др. Лауреат Международного литературного Волошинского конкурса. Автор книги стихов «А где здесь наши?» (2013). Живет в Ставрополе.

Мельников Дмитрий Петрович родился в 1967 г. в Ташкенте. Окончил филологический факультет Ташкентского государственного университета. Работал литературным редактором, верстальщиком, художником-дизайнером. В настоящее время работает дизайнером-полиграфистом. Публиковался в журналах «Знамя», «Звезда Востока», «Новый журнал» и др. Лауреат премии журнала «Сибирские огни». Автор трех книг стихотворений. Живет в Москве.

Мамедова Лейла Раджабовна родилась в 1983 г. в Воркуте. Выросла в Баку, окончила экономический университет, получила степень магистра в Будапеште, обучалась сценарному искусству в Барселоне. Работала главным редактором на телевидении. Победитель ряда литературных и драматургических конкурсов. Публиковалась в журналах «Урал», «Литература», «Контрабанда» и др. Живет в Барселоне.

Подистова Лариса Николаевна родилась в 1967 г. в Алма-Ате. Окончила Новосибирский государственный университет, филолог. Много лет преподавала русский язык и литературу, а также иностранный язык в школе. Стихи и проза публиковались в журналах «Новосибирск», «Невский альманах», «Дальний Восток», «Север» и др. Член Союза писателей России.

Попов Александр Владимирович родился в 1953 г. во Владимирской области. Окончил редакторский факультет Московского полиграфического института. Работал корреспондентом «Комсомольской правды», «Огонька», заместителем главного редактора историко-публицистического журнала «Родина», шеф-редактором журнала «Союзное государство» и др. Автор повестей «Одиннадцатая заповедь», «Взрыв», романа «Поселение». Публиковался в журналах «Наш современник», «Роман-газета», «Юность». Лауреат ряда литературных премий. Живет в Москве.

Свиридова Татьяна родилась в Бердске. Работает режиссером видеокomпании «Студия 21», ведет кинохронику старого Бердска. Является одним из инициаторов переноса старых захоронений с затопленной территории. По совместительству работает заводделом кинохроники Бердского историко-художественного музея, занимается восстановлением киноархива г. Бердска советской эпохи. Живет в Бердске.

Семенова Валентина Андреевна — критик и публицист, член Союза писателей России. Автор книг «Благодаря — а не вопреки» (Иркутск, 2002), «Под небом родным и тревожным» (М., 2019), составитель-редактор справочников и антологий иркутских писателей разных лет. Автор публикаций в журналах «Сибирь», «Наш современник». В 1979—1995 гг. — редактор отдела художественной литературы Восточно-Сибирского книжного издательства. Живет в Иркутске.



МАГАЗИН

продает и покупает:

книги и подписные издания, газеты, журналы, почтовые открытки (до 1960 г.), старые фотографии, домашние архивы, коллекции почтовых марок, монеты, бумажные деньги;

статуэтки фарфоровые, бронзовые и чугунные, серебряные изделия, значки на винтах, портсигары и подстаканники, заводные игрушки и фарфоровые куклы, угольные самовары и патефоны, старинную мебель, старую военную форму и военную атрибутику и многое другое.

Работают отделы:

антиквариата, нумизматики, филателии и букинистической литературы.

Всегда в продаже журнал «Сибирские огни».

Работаем с 10 до 19 без перерыва, в воскресенье с 10 до 18

Адрес: ул. Романова, 26 (угол Советской и Романова)

☎ 227-18-37, 227-14-50

Сайт: www.gornitsa.ru E-mail: n_gornitsa@bk.ru

Частные лица и организации в Российской Федерации и в странах СНГ могут подписаться на журнал «СИБИРСКИЕ ОГНИ» в любом отделении связи — красный Объединенный каталог, подписной индекс — 46587.

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

Учредители:

Союз писателей России, Администрация Новосибирской области.

Журнал зарегистрирован в Государственном комитете Российской Федерации по печати.

Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г.

Адрес редакции и издателя:

630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 19, тел. (383) 223-10-15

E-mail: sibogni@sibogni.ru Сайт: сибирскиеогни.рф

Адрес типографии:



ООО «Новосибирский издательский дом»

630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104

<http://книгосибирск.рф>

Сдано в набор 16.02.2022. Дата выхода № 3 за 2022 г. в свет 18.03.2022.

Формат 70x108/16. Печать офсетная. Усл. п. л. 8,7. Тираж 1500 экз.

Во всех случаях полиграфического брака просим обращаться в типографию.